РОБЕРТ ДАРНТОН

ВЕЛИКОЕ КОШАЧЬЕ ПОБОИЩЕ

И ДРУГИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ROBERT DARNTON

THE GREAT CAT MASSACRE

AND OTHER EPISODES IN FRENCH CULTURAL HISTORY

РОБЕРТ ДАРНТОН

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

ВЕЛИКОЕ КОШАЧЬЕ ПОБОИЩЕ

И ДРУГИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА ♠ 2002

ББК 63.3(4Фра)51-7
УДК 994.2"17"
Д20

Художник *А. Бондаренко*

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.

Дарнтон Роберт

Д20 Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Перевод Т. Доброницкой (Введение, гл. 1—4), С. Кулланды (гл. 5—6, Заключение). М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 384 с.

Один из виднейших американских историков, профессор Принстонского университета, Роберт Дарнтон пишет о культуре крестьян, ремесленников, буржуа, чиновничества, культуре энциклопедистов и романтиков. Какое бы конкретное событие XVIII века он ни рассматривал, будь то истребление кошек парижскими печатниками или сбор материалов на писателей инспектором полиции, Дарнтон вскрывает его подоплеку и знакомит читателей не только с бытовыми подробностями, но и с психологией своих героев. Ни в чем не отступая от фактов и исторической правды, он пишет настолько увлекательно, что научный труд превращается едва ли не в художественное произведение, полное чисто французского изящества.

ISBN 5-86793-113-7

© Basic Books, Inc., 1984
First published in the United States by Basic Books,
A Subsidiary of Perseus Books L.L.C.
Впервые опубликовано в США издательством Basic Books,
дочерней компанией Perseus Books L.L.C.
© Т. Доброницкая, С. Кулланда, пер. с английского. 2002
© Художественное оформление. Новое литературное обозрение, 2002

Посвящается Николасу

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ЭТА КНИГА выросла из курса истории, который я читаю на старших курсах Принстонского университета с 1972 года. Курс был задуман как введение в историю *mentalités* (ментальностей), но постепенно превратился в семинар историко-антропологического характера. Таким изменением направленности он был обязан Клиффорду Гирцу, который в последние шесть лет вел его вместе со мной. У Клиффорда Гирца я приобрел почти все свои познания в области антропологии*, так что мне хочется выразить благодарность как ему, так и нашим студентам. Кроме того, я весьма признателен принстонскому Институту перспективных исследований, где я начал работать над этой книгой в рамках программы по изучению самосознания и исторического развития, которая осуществлялась при финансовой поддержке Фонда Эндрю У. Меллона. И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, стипендия которого позволила мне сделать перерыв в преподавании и завершить данный труд, первоначально казавшийся довольно-таки рискованным предприятием.

---

* Под антропологией — иногда с добавлением определения «социальная» или «культурная» — в современной науке понимается то, что у нас было принято называть этнографией или этнологией (традиционно русскоязычные авторы обозначали этим термином исключительно физическую антропологию). *(Здесь и далее подстрочные примечания переводчиков.)*

ВВЕДЕНИЕ

В ЭТОЙ КНИГЕ исследуются способы видения мира во Франции XVIII века, причем я стремился показать не только представления французов об окружающем мире, но и то, как именно они его интерпретировали, каким наделяли смыслом, какие в него вкладывали чувства. Вместо того чтобы идти по проторенной дороге интеллектуальной истории, наше исследование вторгается на неизведанную территорию, называемую во Франции *l'histoire des mentalités*. В английском языке пока нет подобного термина, но эту область науки можно просто-напросто назвать культурной историей, поскольку она изучает нашу цивилизацию, как антропологи изучают культуры других народов мира. Иными словами, это история с уклоном в этнографию.

Большинство склонно считать, что культурная история занимается исключительно высокой культурой, Культурой с большой буквы. И, хотя история культуры с маленькой буквы восходит к трудам Якоба Буркхардта, если не Геродота, она остается малоизвестной и полной неожиданностей, а потому читателю, возможно, потребуются некоторые разъяснения. Если историк идей прослеживает развитие формального мышления от одного философа к другому, то историк-этнограф исследует представления о мире простых людей, стремясь воссоздать их картину вселенной, продемонстрировать, как они раскладывали по полочкам действительность у себя в головах и как это отражалось на их поведении. Он не делает из так называемого «человека с улицы» философа, а пытается выявить диктовавшуюся улицей стратегию выживания. Улица научает простых людей особого рода сообразительности, и надо сказать, они зачастую проявляют не меньше здравого смысла, чем заправские философы. Просто вместо того, чтобы высказывать суждения в терминах логики, они опери-

руют материальными предметами или другими вещами, которые предоставляет им собственная культура, например обрядами или устными повествованиями.

В каких же категориях удобно думать? Двадцать пять лет тому назад Клод Леви-Строс задался этим вопросом в отношении тотемов и татуировок Амазонии. Почему бы не применить такой подход и к Франции XVIII века? Потому что французов XVIII века нельзя расспросить, ответит скептик и для пущей убедительности прибавит: никакие архивы не заменят полевой работы. Верно; однако, во-первых, архивы так называемого «старого порядка»*, отличаются необыкновенной полнотой, а во-вторых, всегда можно повернуть известный материал по-новому. К тому же не следует преуменьшать трудности, которые испытывает антрополог при работе со своими туземными информаторами: они ведь тоже иногда выражаются весьма туманно, кое о чем умалчивают, а ученому еще приходится истолковывать то, как туземец толкует мысли соплеменников. Изучать мыслительные процессы в полевых условиях едва ли легче, чем в библиотеке.

И все же по возвращении из научной экспедиции каждому ясно одно: представители других культур — другие, их способ мышления существенно отличается от нашего, и, если мы хотим разобраться в нем, следует прежде всего поставить перед собой задачу познания «инакости». На языке историков это может показаться банальным предупреждением против анахронизма, однако такое предупреждение не грех и повторить, поскольку нет ничего проще сползания к удобному тезису о том, что двести лет назад образ мыслей и чувств европейцев полностью соответствовал современному — разве что с небольшой поправкой на парики и сабо. Чтобы избавиться от ложного ощущения, будто мы хорошо знакомы с прошлым, нам необходима постоянная встряска, необходимы терапевтические дозы культурного шока.

На мой взгляд, нет лучшего средства, нежели перерывание архивов. Достаточно прочитать одно французское письмо предреволюционного периода, чтобы наткнуться на массу

* «Старым порядком» или «старым режимом» (от французского *Ancien Régime*) обычно именуется период абсолютной монархии XVI–XVIII вв. — до революции 1789 г.

сюрпризов — от повального страха перед зубной болью до сохранившегося в отдельных деревнях обычая украшать навозную кучу вензелями из фекалий. Откройте любой сборник пословиц XVIII века, и вы найдете что-нибудь вроде «Сопливый да прочистит свой нос». Если нам непонятен смысл поговорки, шутки, стишка или обычая, — это верный признак того, что мы обнаружили что-то интересное. Пытаясь разобраться в наиболее загадочных местах документа, мы можем распутать целую систему смыслов. Эта нить способна привести нас даже к пониманию удивительного, совершенно не похожего на наше мировоззрения.

В этой книге я исследую как раз такие — непривычные для нас — представления о мире, а отправной точкой для анализа послужили неожиданности, встреченные мною в довольно разнородных текстах: примитивном варианте сказки про Красную Шапочку, отчете о массовом убийстве кошек, своеобразном описании города, занятных досье инспектора полиции и т.п. — документах, которые нельзя назвать типичными для XVIII века, но которые помогают нам проникнуть в него изнутри. И если поначалу картина мира кажется довольно расплывчатой, то к концу исследования она предстает все четче и четче. В главе 1 рассматриваются образцы фольклора, известные в XVIII веке едва ли не каждому французу, однако в наибольшей степени характеризующие крестьянство. Глава 2 посвящена обычаям городских ремесленников, во всяком случае — одной из их групп. Глава 3, продвигаясь вверх по социальной лестнице, затрагивает жизнь в городе с точки зрения провинциального буржуа. После этого место действия перемещается в Париж, в среду интеллектуалов, которая сначала (глава 4) показана глазами полиции с ее особым подходом к познанию действительности, а затем (глава 5) — через ключевой текст эпохи Просвещения, а именно «Предварительное рассуждение» «Энциклопедии», в котором окружающий мир раскладывается по полочкам с гносеологической точки зрения. Наконец, в последней главе продемонстрировано, как разрыв Руссо с энциклопедистами открыл путь новому способу мышления и чувствования, оценить который в полной мере мы сумеем, лишь перечитав Руссо с точки зрения его современников.

Вообще идея чтения проходит через все главы, поскольку прочитать можно не только сказку или философский труд, но также обычай или город. Способ интерпретации может разниться, однако читаем мы в любом случае для извлечения смысла — смысла, который вкладывали современники в свое представление о мире, вернее, в доступные нам остатки этого представления. Вот почему я старался понять старый режим с помощью чтения и приложил к своему толкованию сами тексты — дабы читатель мог самостоятельно изучить их и не согласиться с моими доводами. Я не претендую ни на полноту исследования, ни на то, чтобы оставить последнее слово за собой. Здесь рассматриваются далеко не все идеи и точки зрения дореволюционной Франции, охвачены далеко не все слои общества или географические области. Не анализирую я и мировоззрение типичных представителей разных слоев, поскольку не верю в существование типичных крестьян или типичных буржуа. Вместо того чтобы выискивать типажи, я предпочел заняться вышеуказанными многообещающими текстами, хватаясь за предлагавшиеся в них ниточки подсказок и прослеживая, куда они ведут, — с обостренным интересом и в азарте прибавляя шагу, стоило мне натолкнуться на что-то удивительное. Вероятно, отклонение в сторону от торных дорог нельзя назвать полноценной методикой, однако благодаря такому способу можно познакомиться с нетривиальными взглядами, которые иногда оказываются самыми показательными. Мне непонятно, почему культурная история должна избегать эксцентричности и сосредоточивать свое внимание на среднем: значения и смыслы не сводимы к средним величинам, для символов и знаков нельзя найти общий знаменатель.

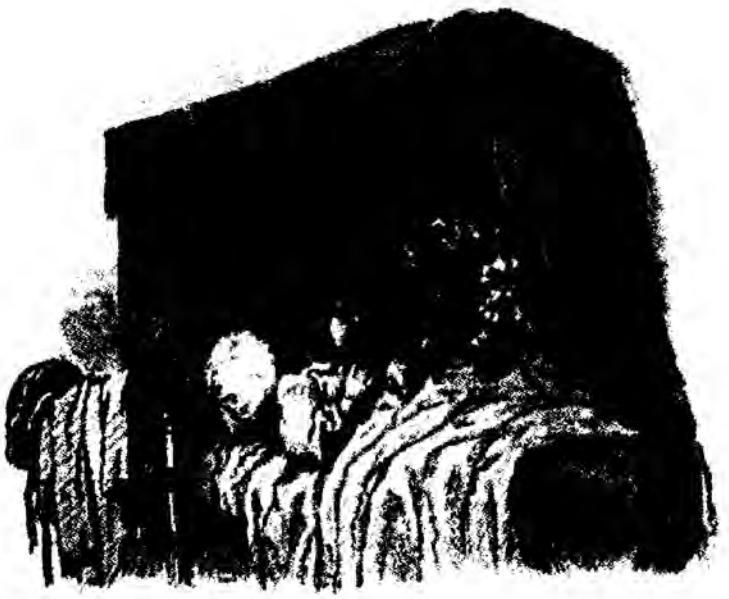
Такое признание в отсутствии систематичности не означает, что под соусом антропологии история культуры проглотит все что угодно. Хотя скептически настроенному социологу труды антропологов могут напоминать беллетристику, антропологическое направление в истории тоже придерживается определенных принципов, исходя, в частности, из того, что все проявления индивидуального не нарушают общепринятого, что мы учимся классифицировать ощущения и создавать для себя картину мира исключительно в рамках, заданных

современной культурой. Вот почему историк вполне может обнаруживать внутреннее содержание и социально значимые аспекты мысли в самых разных документах эпохи, связывая их с важными сторонами окружающей действительности, переходя от текста к контексту и обратно, пока не проберется сквозь дебри чуждой ему ментальности.

Подобная культурная история относится к интерпретационным областям науки. Она может показаться слишком близкой к литературе, чтобы получить эксклюзивное право числиться наукой, во всяком случае, тем, что в странах английского языка называется *science*, но она прекрасно соответствует тому, что известно во Франции как *sciences humaines*, т.е. «гуманитарные науки». Заниматься такими исследованиями непросто, и им поневоле свойственна неполнота, однако нельзя сказать, чтобы они были вовсе не возможны, даже в рамках англоязычной науки. Ведь все мы, французы и «англосаксы», педанты или пейзане, не только подчиняемся условностям родного языка, но и имеем дело с ограничениями, налагаемыми на нас культурой. Вот почему историкам необходимо понимать влияние культуры на видение мира каждым, в том числе величайшими из мыслителей. Поэт или философ может сколько угодно продвигать язык вперед, и все же рано или поздно он наткнется на предел, который ставится смыслом. Идти дальше означает безумие — такая судьба ждала Гельдерлина и Ницше, — но в пределах этой территории гении вправе экспериментировать с границами смысла. Отсюда вывод: в труде о ментальности французов XVIII века должно быть место и для Дидро с Руссо. Включив их в свою книгу наряду со сказителями-крестьянами и плебейскими истребителями кошек, я отбросил в сторону привычное разделение культуры на элитарную и народную и попробовал доказать, что интеллектуалы и простолюдины сталкивались с одними и теми же проблемами.

Я отдаю себе отчет в том, чем чревато отступление от традиционных методов исторической науки. Кому-то покажется, что на основе таких материалов невозможно судить о мироощущении крестьян, умерших двести с лишним лет тому назад. Других возмутит сама идея толкования кошачьего побоища в том же ключе, что и предисловия к «Энциклопедии», как,

впрочем, и вообще попытка интерпретации первого. Третьих оттолкнет то, что я избрал для познания духовной культуры XVIII века несколько довольно странных текстов, тогда как следовало бы скрупулезно прорабатывать стандартный набор классических материалов. Думаю, я нашел бы достойный ответ на такие упреки, однако мне не хочется превращать свои предварительные заметки в рассуждение о методе. Лучше я приглашу читателей обратиться к основному тексту книги. Возможно, он тоже не убедит их, но, надеюсь, они хотя бы получат удовольствие от этого путешествия.



[Красная Шапочка и волк]. — Ил. в кн.: Perrault Ch. Contes du temps passé. — Paris, 1843

ГЛАВА 1

КРЕСТЬЯНЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ: СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ «СКАЗОК МАТУШКИ ГУСЫНИ»

ОХОЖЕ, ЧТО духовный мир непросвещенного населения в эпоху Просвещения безвозвратно утрачен. Обнаружить простого человека в XVIII веке настолько трудно (если не сказать — невозможно), что кажется тем более бессмысленным доискиваться до его картины мира. Однако прежде чем отказываться от такой попытки, забудем хотя бы на время свои сомнения и рассмотрим одну историю. Эта история — вернее, сказка — хорошо известна любому из вас, хотя и не в том виде, в котором она долгими зимними вечерами рассказывалась у очага во французских крестьянских усадьбах XVIII века[1].

Однажды мать велела своей маленькой дочке отнести бабушке хлеба с молоком. В лесу к девочке подошел волк и спросил, куда она идет.

— К бабушке, — ответила та.

— А по какой тропинке ты пойдешь — по той, что с иголками, или той, что с колючками*?

— По той, что с иголками.

И тогда волк побежал по тропе с колючками и первым добрался до бабушкиного дома. Он убил бабушку, сцедил ее кровь в бутыль, а тело

---

* Во французском тексте эта фраза может быть понята как «с иголками или с булавками», но наш вариант, по-видимому, точнее, поскольку учитывает более старое значение второго слова.

разрезал на куски и разложил их на блюде. Потом он надел бабушкину ночную рубашку и залез ждать в кровать.

Тук-тук.

— Заходи, милая.

Здравствуйте, бабушка. Я вам принесла хлеба с молоком.

— Поешь и сама, милая. В кладовке стоит мясо и вино.

Пока девочка ела предложенное угощение, кошка сказала:

— Вот негодяйка! Ест плоть своей бабушки и пьет ее кровь!

Тогда волк сказал:

— Раздевайся и ложись рядом со мной.

— А куда мне деть фартук?

— Брось его в огонь, он тебе больше не понадобится.

Девочка задавала тот же вопрос обо всех своих одежках — о юбке, кофте, нижней юбке и чулках, — и волк каждый раз отвечал:

— Брось ее (или их) в огонь, они тебе больше не понадобятся.

Когда девочка залезла в постель, она сказала:

— Ой, бабушка! Какая вы волосатая!

— Это чтоб мне было теплее, дитя мое.

— Ой, бабушка! Какие у вас широкие плечи!

— Это чтоб было легче носить хворост, дитя мое.

— Ой, бабушка! Какие у вас длинные ногти!

— Это чтоб было удобнее чесаться, дитя мое.

— Ой, бабушка! Какие у вас большие зубы!

— Это чтоб поскорее съесть тебя, дитя мое!

И он взял и съел ее.

Какова мораль этой истории? Для девочек она ясна: держитесь подальше от волков. Историкам же она призвана сказать нечто важное о духовном мире крестьянства раннего Нового времени. Но что именно? С какой стороны следует подходить к интерпретации такого текста? Один из подходов предлагается психоанализом. Представители этого направления подвергли скрупулезному изучению множество сказок, выявляя в них скрытые символы, неосознанные мотивы и психические механизмы. Для примера достаточно рассмотреть комментарий к «Красной Шапочке» двух наиболее влиятельных психоаналитиков, Эриха Фромма и Бруно Беттельгейма.

Фромм толковал эту сказку как загадку о коллективном бессознательном в первобытном обществе, которую он «с легкостью» разрешал, дешифруя «язык символов». По версии

Фромма, речь в сказке идет о столкновении подростка с взрослой сексуальностью. Он показывает скрытый смысл истории через ее символизм, однако детали, на основе которых аналитик усматривает в своем варианте текста определенные знаки, отсутствовали в тех его версиях, что были известны крестьянам XVII–XVIII веков. Так, он придает особое значение (несуществующей) красной шапочке как символу менструации и (несуществующей) бутылке, которую несет девочка, — как символу девственности; отсюда и (несуществующее) материнское предупреждение: не отклоняться от тропы, не идти напрямик, чтобы без дороги ненароком не разбить бутылку. Волк — это насильник самец, а два (несуществующих) камня, которые кладутся ему в брюхо после того, как (несуществующий) охотник извлекает оттуда бабушку и внучку, означают стерильность мужчины, его наказание за нарушение сексуального табу. Благодаря поразительному вниманию к подробностям, отсутствовавшим в первоначальном тексте, психоаналитик вводит нас в духовный мир, который никогда не существовал — во всяком случае, до появления психоанализа[2].

Как можно было столь превратно истолковать текст? И дело тут не столько в профессиональном догматизме (психоаналитики умеют манипулировать символами едва ли не вольнее поэтов), сколько в непонимании историзма народных сказок.

Фромм не упоминает источника, но скорее всего он позаимствовал свой текст у братьев Гримм. Гриммы, в свою очередь, получили его — вместе с «Котом в сапогах», «Синей Бородой» и несколькими другими — от Жаннетты Хассенпфлуг, своей соседки по Касселю и близкого друга, которая узнала ее от матери, ведущей свое происхождение из семьи французских гугенотов. Спасаясь в Германии от преследований Людовика XIV, гугеноты привнесли туда собственный сказочный репертуар. Однако к ним эти сказки попали не прямо от народных сказителей. Французы познакомились с ними через книги Шарля Перро, Мари Катрин д'Онуа и других авторов, когда в светских парижских кругах распространилось увлечение народными сказками. Перро, главный знаток этого литературного жанра, действительно опирался на устное творчество простых людей (возможно, главным источником ма-

териала служила для него нянька сына). Но он подправлял первооснову, чтобы угодить вкусу салонных дам, *précieuses* (так называемых «прециозниц»), а также придворных, на которых было рассчитано вышедшее в 1697 году первое печатное издание «Сказок моей матушки Гусыни» («Contes de ma mère l'Oye»). Значит, сказки, дошедшие до братьев Гримм через семейство Хассенпфлугов, нельзя считать ни исконно немецкими, ни типичными для фольклорной традиции. Впрочем, Гриммы сами признавали их литературность и офранцуженность, а потому исключили из второго издания своих «Детских и семейных сказок» все такие произведения — за исключением «Красной Шапочки». Вероятно, она осталась в сборнике благодаря тому, что Жаннетта Хассенпфлуг присовокупила к ней счастливый конец, позаимствовав его из необыкновенно популярной в Германии сказки «Волк и семеро козлят» (в общепринятой классификации Антти Аарне и Стита Томпсона она числится под № 123*). Таким образом «Красная Шапочка» проникла в германскую, а затем и в английскую литературную традицию, не дав никому заметить свое французское происхождение. Она претерпела существенные изменения, пока переходила от французских крестьян в детскую Перро, оттуда в печать, затем на другой берег Рейна, где снова стала частью устной традиции, теперь уже гугенотской диаспоры, чтобы впоследствии опять попасть в книгу, на этот раз как произведение тевтонских лесов, а не деревенских очагов дореволюционной Франции[3].

Эти превращения текста нимало не волновали Фромма и множество других интерпретаторов-психоаналитиков, которые даже не знали о них, — прежде всего потому, что сказка более чем устраивала их в готовом виде. Ведь она начинается с пубертатного секса (красная шапочка, которая отсутствует во французской первооснове) и заканчивается победой Эго (спасенная девочка, которая во французских вариантах сказки обычно погибает) над Оно (или Ид — волком, которого там никто не убивает). Одним словом, все хорошо, что хорошо кончается.

---

* Далее номера сюжетов по указателю Аарне-Томпсона приводятся после аббревиатуры AT.

Концовка представляется особенно важной Бруно Беттельгейму, последнему в ряду психоаналитиков, которые занимались «Красной Шапочкой». По его версии, ключ к этой сказке (как и ко многим другим историям) — заложенная в развязке положительная идея. Счастливый конец народных сказок, утверждает он, позволяет детям смело встречать подсознательные желания и страхи и выходить из сходных положений без ущерба для личности — с одержавшим верх Эго и побежденным Оно. По версии Беттельгейма, главный злодей «Красной Шапочки» — Оно, т.е. прежде всего принцип удовольствия, который сбивает с верного пути девочку, когда она вырастает из стадии оральной фиксации (ее иллюстрирует «Гензель и Гретель»), но пока слишком мала для взрослого секса. Однако Ид — это еще и волк, он же отец, он же охотник, он же Эго и даже отчасти Супер-Эго. Направляя волка к бабушке, Красная Шапочка умудряется на манер Эдипа разделаться с собственной матерью (поскольку бабушки иногда заступают в душе место матери), а дома по обе стороны леса на самом деле один и тот же дом — как в «Гензель и Гретель», где они также представляют материнское тело. Столь искусное смешение символов дает Красной Шапочке возможность попасть в постель с собственным отцом (волком) и осуществить фантазии, связанные с эдиповым комплексом. В конце концов она остается в живых, возрождаясь на более высоком уровне существования, когда вновь появляется ее отец (в виде Эго/Супер-Эго/охотника) и вспарывает брюхо отца в образе волка-Оно, после чего все живут счастливо до самой смерти[4].

Хотя широкое понимание Беттельгеймом символики сказки ведет к менее механистическому ее толкованию, чем предлагаемое Фроммом понятие тайного кода, оно тоже основывается на некоторых произвольных допущениях в отношении текста. Беттельгейм упоминает многих комментаторов Гриммов и Перро, из чего можно сделать вывод о его знакомстве с фольклором на научном уровне, но его прочтение «Красной Шапочки» и других сказок остается внеисторическим. Он интерпретирует их как бы в плоскостном измерении, распростертыми, вроде больных на кушетке, в некоей бесконечной современности. Он не подвергает сомнению их происхождение и не беспокоится по поводу толкований, которые они

могли бы иметь в иных контекстах, потому что ему известна работа души, известно, как она функционирует и всегда функционировала. Сказки же — это исторические документы, изменявшиеся на протяжении веков, и в разных культурных традициях их эволюция протекала по-разному. Они отнюдь не отражают неизменные процессы во внутреннем мире человека; более того, подсказывают, что у людей изменился сам склад ума. Можно наглядно представить себе, насколько современная ментальность отличается от духовного мира наших предков, если подумать о том, сумеем ли мы убаюкать своего ребенка, рассказав ему перед сном примитивную крестьянскую версию «Красной Шапочки». Возможно, тогда мораль сей сказки будет: берегитесь психоаналитиков... и будьте осторожны при выборе источников. Похоже, мы вернулись к идее историзма[5].

Впрочем, это не совсем верно, поскольку в «Красной Шапочке» присутствует потрясающая иррациональность, которая кажется неоправданной в эпоху Просвещения. В области насилия и секса крестьянский вариант сказки едва ли не переплюнул ее психоаналитические толкования. (Опираясь на братьев Гримм и Перро, Фромм с Беттельгеймом не упоминают каннибализм в отношении бабушки или стриптиз, предшествующий пожиранию девочки.) Кому-кому, а крестьянам явно не требовался тайный шифр для разговора о табуированных вещах.

Другие истории из «Матушки Гусыни» французских крестьян отличаются не менее кошмарными подробностями. Например, в одном из ранних вариантов «Спящей красавицы» (AT 410) Прекрасный Принц, который оказывается уже женатым, насилует принцессу и она, не просыпаясь, рожает ему нескольких детей. В конце концов принцессу пробуждают от колдовского сна младенцы, когда она кормит их грудью и они кусают ее, после чего в сказке обыгрывается новая тема: великанша, теща принца, пытается съесть его незаконных отпрысков. «Синяя Борода» (AT 312) в своем первоначальном варианте повествует о том, как новобрачная поддается искушению открыть запретную дверь в доме своего чудаковатого мужа, который женится уже в седьмой раз. Войдя в темную комнату, она обнаруживает висящие на стене тела предыду-

щих жен. От ужаса она роняет запретный ключ на пол, в лужу крови, а потом не может оттереть его, так что Синяя Борода, проверяя ключи, обнаруживает ее непослушание. Пока он точит нож для своей седьмой жертвы, женщина удаляется в спальню, где надевает свадебный наряд. Но она нарочно медлит с переодеванием, чтобы ее успели спасти братья: получив весточку, принесенную сестриным голубем, они бросаются ей на выручку. В одном старинном сюжете из цикла сказок про Золушку (AT 510B) героиня нанимается в служанки, чтобы отец не принудил ее выйти за него замуж. В другом злая мачеха пытается запихнуть ее в печку, но по ошибке сжигает собственную дочь. В известном у французских крестьян варианте сказки «Гензель и Гретель» (AT 327) герой хитростью заставляет людоеда зарезать собственных детей. Среди сотен сказок, не вошедших в печатные издания «Матушки Гусыни», есть «La Belle et le monstre» («Красавица и чудовище», AT 433), в которой муж одну за другой съедает своих жен в первую брачную ночь. В еще более страшной сказке, «Les trois chiens» («Три собаки», AT 315), сестра убивает брата, подсовывая на его супружеское ложе гвозди. Наконец, в самой отвратительной истории, под названием «Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé» («Моя матушка меня убила, а батюшка съел», AT 720), мать приготавливает из сына тушеное мясо по-лионски, а дочь скармливает это блюдо отцу. И так далее и тому подобное, от изнасилований и содомии до инцеста и людоедства. Французские сказители XVIII века отнюдь не прятали свои идеи под символами, они без обиняков изображали мир, полный ужасной, неприкрытой жестокости.

* * *

Как же историку разобраться в этом мире? Он может обрести ориентиры в нравственном климате ранней «Матушки Гусыни», воспользовавшись плодами двух наук: антропологии и фольклористики. Антропологи много спорят о теоретических основах своей дисциплины, однако в экспедициях они применяют для понимания устного народного творчества методы, которые с некоторой оглядкой можно приложить и к западноевропейскому фольклору. За исключением отдельных структуралистов, ученые соотносят сказки и истории как

Согласно письменным источникам, эти сказки существовали задолго до появления такого понятия, как «фольклор», которое было предложено лишь в XIX веке [10]. К устному народному творчеству обращались еще средневековые проповедники, когда им требовалось подкрепить свои рассуждения о нравственности примером. В их поучениях, образцы которых с XII по XV век воспроизводились в «Назидательных историях» («Exempla»), есть ссылки на те же истории, которые в XIX веке собирали по крестьянским избам фольклористы. Несмотря на туманность происхождения рыцарских романов, героических поэм и фабльо, похоже, что средневековая литература чаще всего основывалась на произведениях устного народного творчества, а не наоборот. В XIV веке «Спящая красавица» появилась в романе артуровского цикла, а «Золушка» вдруг всплыла в 1547 году в книге Ноэля дю Фая «Сельские беседы» («Propos rustiques»), указавшей на крестьянское происхождение сказок и продемонстрировавшей их передачу из уст в уста. Дю Фай впервые описал такую важную французскую реалию, как *veillée*, или вечерние посиделки у очага, на которых мужчины чинили орудия труда, а женщины занимались рукоделием, одновременно слушая истории, которые спустя триста лет будут записывать фольклористы, но которым уже тогда было по многу веков [11]. Независимо от того, предназначались ли эти истории для развлечения взрослых или для устрашения детей (как было в случае с «Красной Шапочкой» и другими поучительными сказками), все они входили в столетиями сохранявшийся крестьянами — причем с удивительно малыми потерями — фонд народной культуры.

Таким образом, сделанные в конце XIX — начале XX века замечательные собрания сказок дают нам редкую возможность соприкоснуться с бесследно ушедшими в прошлое неграмотными народными массами. Отказываться от сказок на том основании, что для них, в отличие от прочих исторических документов, нельзя определить точную дату и место создания, значит лишать себя одного из немногих доступных нам способов проникнуть в духовный мир французского крестьянства при старом режиме. Однако попытки проникнуть в этот мир связаны с преодолением препятствий не менее устрашающих, чем те, с которыми столкнулся так называемый Жан де л'Урс,

Медвежий Жан, спасая трех испанских принцесс из загробного царства («Jean de l'Ours», AT 301), или малыш Парль (прозвище Парль значит «Говорун»), когда тот отправился добывать людоедовы сокровища (AT 328).

Самое главное препятствие — невозможность своими ушами услышать сказителей. Как бы скрупулезно ни были записаны тексты, записи не дают представления о побочных средствах, с помощью которых, вероятно, оживлялись эти сказки в XVIII веке, как то: многозначительных паузах, лукавых взглядах, движениях для передачи мизансцен (Белоснежка за прялкой или Золушка, выбирающая вшей у сводной сестры) и звуках для акцентировки действия — стук в дверь (нередко исполняемый постуком в лоб одного из слушателей), пуканье или удары дубинкой. Все эти средства подчеркивали смысл сказок, но все они недоступны для историка. Он не может быть уверен, что предлагаемый ему в печатном виде вялый, безжизненный текст точно передает спектакль, который разыгрывался в XVIII веке. Никто даже не может гарантировать ему, что этот текст соответствует вариантам сказки, существовавшим столетием ранее и не сохраненным в виде записи. Сколько бы доказательств существования данной сказки историк ни добыл, его все равно будет грызть червь сомнения: кто знает, какие трансформации она претерпела, прежде чем попасть к фольклористам Третьей республики?

Учитывая эту неопределенность, неразумно строить свою интерпретацию на единственном варианте одной-единственной сказки и тем более опасно основывать анализ символов на деталях вроде красных шапочек и охотников, которые могли отсутствовать в крестьянских версиях истории. Однако такие версии записаны в достаточных количествах (35 «Красных Шапочек», 90 «Мальчиков с пальчик», 105 «Золушек»), чтобы в общих чертах представить себе сказку в том виде, в каком она существовала в устной традиции. Ее можно изучать на уровне композиции — не сосредоточивая внимание на мелких подробностях, а отмечая способы развития сюжета и соединения различных мотивов. Можно также сравнить ее с другими историями. И, наконец, проанализировав все собранные фольклористами французские сказки, можно выявить их

общие характеристики, переходящие мотивы и преобладающие особенности стиля и тона [12].

Не мешает обратиться за помощью и утешением к специалистам по фольклору. В частности, Милман Пэрри и Элберт Лорд наглядно показали, как среди неграмотных югославских крестьян передаются от барда к барду эпосы размером не меньше «Илиады». Эти «песнопевцы» отнюдь не наделены особыми способностями к запоминанию, которыми, по мнению некоторых, обладают так называемые примитивные народы. Более того, они вообще запоминают крайне мало, создавая из различных клише, формул и отрезков повествования некое целое, которое они складывают на ходу, в зависимости от реакции слушателей. Несколько записей одного и того же эпоса в исполнении того же самого сказителя свидетельствуют об уникальности каждого «представления», однако записи, сделанные в 1950 году, в основе своей мало отличаются от тех, которые делались в 1934 году. В каждом случае исполнитель идет как бы проторенной тропой. Он может отклониться от нее в одном месте, чтобы «срезать путь» или сделать паузу в другом, чтобы полюбоваться открывающимся пейзажем, но он неизменно остается в знакомых местах — настолько знакомых, что ему кажется, будто он шаг за шагом шел привычным маршрутом. У него иные представления о повторе, нежели у человека грамотного, поскольку он не имеет понятия о том, что такое слова, строки, строфы. В отличие от читателей печатной страницы, текст не представляет для него неизменной данности. Сказитель сочиняет собственный текст, прокладывая новые пути в старых темах. Он может даже работать с материалом из печатных источников, поскольку эпос образует единое целое, которое гораздо значительнее суммы своих частей, а потому модификация подробностей едва ли в состоянии нарушить всю конструкцию [13].

Исследование Лорда подтверждает выводы Владимира Проппа, к которым тот пришел иным способом, а именно доказав, что варьирование деталей подчиняется четкой структуре русских народных сказок [14]. Ученые, изучавшие бесписьменные народы Полинезии, Африки, Северной и Южной Америк, также обнаружили невероятную устойчивость устных традиций, хотя существуют разные мнения по поводу того,

насколько надежны сведения об историческх событиях, которые можно почерпнуть из фольклорных источников. Роберт Лоуи, собиравший в начале XX века фольклор индейцев кроу, стоял на позициях крайнего скептицизма: «Я ни при каких обстоятельствах не склонен утверждать, что устное народное творчество обладает исторической ценностью» [15]. Под «исторической ценностью» Лоуи подразумевал точное следование фактам. (В 1910 году он записал рассказ кроу о сражении с дакотами; в 1934 году тот же сказитель, описывая эту битву, утверждал, что его соплеменники дрались с шайеннами.) Лоуи, однако, признавал, что сами по себе истории оставались логичными и последовательными: сюжеты следовали традиционному для кроу типу повествования. Таким образом, данные Лоуи подтверждают гипотезу о том, что у североамериканских индейцев, как и у югославских крестьян, устное народное повествование (при всем разнообразии деталей) по форме и стилю строго следует традиции [16]. Весьма впечатляющий пример этой тенденции обнаружил более ста лет тому назад Фрэнк Хэмилтон Кушинг среди индейцев племени зуньи. В 1886 году он работал переводчиком с делегацией зуньи, прибывшей на восточное побережье Соединенных Штатов. Однажды вечером, когда все по очереди рассказывали какие-нибудь истории, он внес свой вклад сказкой «Петух и мышь», вычитанной в сборнике итальянских народных сказок. Каково же было его удивление, когда через год он услышал эту сказку в исполнении одного из индейцев. Итальянские мотивы прослеживались достаточно четко, чтобы сказку можно было классифицировать по системе Аарне-Томпсона (AT 2032), однако все остальное — композиция, фигуры речи, аллюзии, стиль и общий тон — приобрело явно зуньийский характер. Вместо того чтобы воздействовать на местный фольклор в сторону его сближения с итальянским, сказка сама подверглась «зуньификации» [17].

Процесс передачи текста из одной культуры в другую, несомненно, происходит по-разному. Некоторые произведения фольклора сопротивляются подобному «осквернению», хотя могут весьма эффективно усваивать новый материал. Впрочем, устное творчество почти у всех бесписьменных народов отличается особой устойчивостью и долговечностью. Оно не

поддается даже при первом столкновении с печатным словом. Несмотря на утверждение Джека Гуди о том, что приход грамотности делит пополам всю историю, отграничивая устную культуру от «письменной», или «печатной», традиционное сказительство, по-видимому, во многих случаях живет еще весьма долго. Антропологи и фольклористы, изучавшие распространение сказок в сельской местности, не видят ничего удивительного в том, что французские крестьяне конца XIX века рассказывали их друг другу почти так же, как это делали их предки сто и более лет тому назад [18].

Сколь ни отрадно такое свидетельство профессионалов, оно не устраняет всех проблем интерпретации французских сказок. Сами тексты доступны: они лежат без движения в хранилищах вроде Музея народного искусства и традиционной культуры в Париже или в научных изданиях типа «Народная французская сказка» Поля Деларю и Мари-Луиз Тенез. Однако их нельзя просто вытащить оттуда и рассматривать, считая фотографическими изображениями дореволюционной Франции, сделанными чистым взором ушедшего в прошлое крестьянства. Все-таки это литература.

Подобно большинству фольклорных произведений, сказки развивают стандартные сюжеты на основе подхваченных там и сям традиционных мотивов. В них содержится удручающе мало конкретных сведений для исследователя, который хотел бы привязать их к определенному месту и времени действия. Реймонд Джеймисон проанализировал китайскую «Золушку» начиная с IX века: хрустальные туфельки ей дарит не фея, а волшебная рыбка, и теряет одну из них героиня сказки не на королевском балу, а на деревенском празднике, но во всем остальном она очень похожа на Золушку Перро [19]. Фольклористы находили свои сюжеты у Геродота и Гомера, на папирусах Древнего Египта и халдейских глиняных табличках; они записывали их по всему миру — в Скандинавии и Африке, среди индийцев на берегу Бенгальского залива и индейцев по берегам Миссури. Столь широкое распространение сюжетов привело некоторых ученых к гипотезе о существовании прототипов таких историй, составлявших общий индоевропейский набор мифов, легенд и сказок. На этой гипотезе построены глобальные теории Фрэзера, Юнга и Леви-Строса, однако она

не помогает нам разобраться в крестьянской ментальности во Франции начала Нового времени.

К счастью, в фольклористике существует и более приземленное направление, позволяющее вычленить особенности традиционных французских сказок. В сборнике Деларю и Тепез они распределены по группам в соответствии с классификацией Аарне-Томпсона, которая охватывает все виды индоевропейских народных сказок. Таким образом мы получаем основу для сравнительного анализа, и этот анализ подсказывает нам, как именно общие темы укоренялись и развивались на французской почве. Например, при сопоставлении сказки «Мальчик с пальчик» (AT 327) с ее германской родственницей под названием «Гензель и Гретель» в первой — как у Перро, так и в крестьянских вариантах — выявляется ее ярко выраженный французский колорит. В сказке братьев Гримм подчеркивается таинственность леса и наивность детей перед лицом непостижимого зла, в ней также больше затейливых поэтических подробностей (например, в описании чудесных птиц или хлебной избушки с крышей из пряников). Французские дети сталкиваются с гигантским Людоедом, зато дом у него представлен весьма реально. Людоед с женой обсуждают завтрашний обед так, как это могла бы делать любая супружеская чета, и придираются друг к другу в точности, как это делают родители Мальчика с пальчик. Эти две пары вообще трудно различимы. Обе простодушные жены выбрасывают на ветер главное достояние семьи, а мужья почти одинаково бранят их, разве только Людоед говорит, что жену следовало бы съесть за ее проступок и что он с удовольствием сделал бы это сам, если б она не была столь малоаппетитной *vieille bête* (старой каргой)[20]. В отличие от своих немецких сородичей, французские великаны и людоеды выступают в роли *le bourgeois de la maison* (добропорядочного главы семейства)[21] и ведут себя на манер богатых землевладельцев. Они играют на скрипке, ходят в гости к друзьям, довольно похрапывают в постели рядом с толстыми людоедшами[22], и, при всей своей грубости, каждый из них неизменно остается добропорядочным семьянином и хорошим добытчиком. Отсюда и радость великана из сказки «Пичен-Пичо», когда он вваливается в дом

с мешком на спине и кричит: «Катрин, ставь большой котел, Я поймал Пичена-Пичо» [53].

Если немецкие сказки склонны прибегать к игре воображения и нагнетать страх, то для французских сказок характерен тон более юмористический и домашний. Жар-птицы поселяются в курятниках. Эльфы, джинны, лесные духи — все разнообразие индоевропейского волшебного царства сводится во Франции к двум видам: волшебницы и великаны. Интересно, что эти рудиментарные его представители наделены чисто человеческими слабостями и по большей части предоставляют людям возможность самим разрешать свои проблемы — с помощью хитрости и так называемого «картезианства» (термин, которым французы в обиходе обозначают свое пристрастие к обману и интригам). Галльский дух заметен во многих сказках, которые Перро не перерабатывал для своего офранцуженного издания «Матушки Гусыни» 1697 года: достаточно взять, к примеру, воодушевление юного кузнеца в сказке «Le petit forgeron» («Маленький кузнец», AT 317), где он убивает великанов, совершая традиционный *tour de France* (т.е. идя по стопам странствующего ремесленника); или провинциальность бретонского крестьянина в «Жане-Дуралее» («Jean Bête», AT 675), которому предлагают исполнить любое его желание, а он просит «un bon péché de piquette et une écuelle de patates au lait» («побольше винца и миску картофельного пюре»); или профессиональную зависть садовника, который не умеет так хорошо подрезать виноградные лозы, как его помощник в «Шелудивом Жане» («Jean le Teigneux», AT 314); или смекалку дочери дьявола из сказки «Прекрасная Евлалия» («La Belle Eulalie», AT 313), которая бежит со своим возлюбленным, оставив вместо себя в кровати два говорящих пирожка. Если французские сказки невозможно связать с определенными событиями, то их нельзя и растворять во вневременной мировой мифологии. На самом деле их место где-то посередине: они принадлежат *la France moderne* (Франции Нового времени), т.е. Франции, какой она была с XV по XVIII век.

Такой отрезок времени может показаться слишком расплывчатым тем, кто ожидает от истории прежде всего точности. Но точность не всегда уместна, а зачастую и просто недостижима в культурной истории, поскольку она требует иных

методов, нежели более привычные отрасли науки вроде политической истории. Менталитет невозможно запротоколировать, как это можно сделать с политическими событиями, однако от этого он не утрачивает своей «реальности». Политические события не могут происходить без предшествующей духовной организации реального мира, с помощью которой создается представление о здравом смысле. Здравый смысл есть социальное конструирование действительности, и он видоизменяется от культуры к культуре. Не являясь случайным плодом коллективного воображения, он отражает основу, на которой зиждется опыт всех членов данного сообщества. Таким образом, чтобы воссоздать видение мира французскими крестьянами старого режима, следует начать с вопроса о том, какой опыт они приобретали в повседневной деревенской жизни.

* * *

Благодаря усилиям нескольких поколений ученых, посвятивших себя социальной истории, ответить на этот вопрос достаточно просто, хотя мы вынуждены учитывать различия в их квалификации, а также прибегать к некоторым упрощениям, поскольку французское королевство до самой революции, а то и позже, едва ли не до середины XIX века, оставалось не единым государством, а скорее конгломератом областей, условия жизни в которых существенно разнились. Пьер Губер, Эммануэль Ле Руа Ладюри, Пьер Сен-Жакоб, Поль Буа и многие другие вскрывали особенности крестьянского быта в каждом отдельном регионе и издавали монографию за монографией с подробными разъяснениями. Из-за обилия монографий социальная история Франции может показаться собранием исключений, сговорившихся опровергать все правила. Впрочем, они также предупреждают нас об опасностях излишнего профессионализма: если занять место в некотором удалении от подробностей, начинает вырисовываться более общая картина. Собственно говоря, усвоение материала уже происходит, о чем свидетельствуют, в частности, учебники типа «Экономической и социальной истории Франции» («Histoire économique et sociale de la France». Paris, 1970) и обобщающие труды вроде «Истории французской деревни» («Histoire

de la France rurale». Paris, 1975/76). В самых общих чертах картина складывается следующая [24].

Несмотря на войны, чуму и голод, общественное устройство французской деревни на протяжении раннего Нового времени оставалось на редкость неизменным. Крестьяне были относительно свободными — менее свободными, нежели английские йомены, превращавшиеся в безземельных работников, но более свободными, чем крепостные, к востоку от Эльбы опускавшиеся до положения рабов. И все же они вынуждены были существовать в рамках сеньориальной системы, которая не позволяла им иметь земельный надел, достаточный для обретения экономической независимости, и отнимала у них все производимые излишки. Мужчины трудились от зари до зари, вспахивая разбросанные там и сям клочки земли плугом ничуть не лучше тех, что были во времена Римской империи, а затем срезая злаки примитивным серпом, чтобы оставить на поле хорошую стерню для общинного выпаса скота. Женщины выходили замуж относительно поздно (в возрасте двадцати пяти — двадцати семи лет) и рожали не более пяти-шести детей, из коих лишь двое-трое достигали совершеннолетия. Огромные массы населения хронически недоедали, питаясь в основном варевом из хлеба и воды, в которое изредка добавлялись овощи со своего огорода. Мясо крестьяне ели несколько раз в году, по праздникам и после осеннего убоя скота — если им не хватало силоса, чтобы прокормить скотину зимой. Зачастую они не получали необходимых для поддержания здоровья двух фунтов хлеба в день (2 тыс. калорий), а потому мало что могли противопоставить дружному натиску голода и болезней. Население колебалось между пятнадцатью и двадцатью миллионами человек, то увеличиваясь до предела своих производительных возможностей (средняя плотность — сорок душ на квадратный километр, средняя годовая рождаемость — сорок человек на тысячу жителей), то подвергаясь уничтожению очередным демографическим кризисом. В течение четырехсот лет — от первых разрушительных набегов «черной смерти» в 1347 году до первого большого скачка в приросте населения и производительности в 30-х годах XVIII века — французское общество оставалось в тисках прежних учреждений и мальтузианского

перенасселения. Оно прошло через период стагнации, который Фернан Бродель и Эмманюэль Ле Руа Ладюри именовали *l'histoire immobile* (застывшей историей) [25].

Сегодня в этом чудится преувеличение, поскольку такой термин едва ли верно характеризует период религиозной розни, хлебных бунтов и восстаний против расширения государственной власти, нарушавших мерное течение сельской жизни позднего средневековья. Однако впервые примененное в 50-х годах XX века понятие «застывшей истории» (т.е. истории структурной преемственности на протяжении длительного отрезка времени, *la longue durée*) противостояло тенденции видеть в истории лишь череду политических событий. Событийная история, *histoire événementielle*, обычно протекала в недоступных для сельских жителей эмпиреях, в далеких от них Париже и Версале. Под смены министров и бушевавшие где-то сражения сельская жизнь текла своим чередом, как оно и было всегда, с незапамятных времен.

На уровне деревни история и впрямь казалась «застывшей», поскольку феодализм и натуральное хозяйство заставляли крестьян гнуть спину над пашней, а примитивные способы земледелия не давали им ни малейшей возможности разогнуться. Зерновые родились только сам-пят, что было весьма жалкой отдачей по сравнению с современными пятнадцатью или даже тридцатью зернами на каждое посаженное семя. Крестьянам не удавалось вырастить достаточно зерна для прокорма большого поголовья скота, поэтому они держали мало скотины и им не хватало навоза для того, чтобы как следует удобрить поле и поднять урожайность. Этот замкнутый круг вынуждал их придерживаться двух- или трехпольной системы хозяйствования, при которой значительная часть земли оставалась под паром. Они не могли перейти к засеванию парующих участков культурами типа клевера, которые бы восстановили в почве содержание азота, потому что, во-первых, жили в большой нужде и им было не до экспериментов, а во-вторых, никто из них слыхом не слыхал про азот. Тяга к экспериментам сдерживалась и коллективными методами сельскохозяйственного производства. Исключая некоторые районы, в которых небольшие поля и луга чередовались с

полосами леса и были огорожены, подобно бокажам на западе Франции, крестьяне работали в открытом поле. Они сеяли и убирали урожай вместе, чтобы потом можно было совместными усилиями подобрать колоски и выпустить в поле скотину. Общинные луга и леса по соседству с полем также использовались крестьянами — для содержания на подножном корму скота, для запасания хвороста, для сбора каштанов и ягод. Единственная территория, на которой они могли добиться успеха своими силами, ограничивалась *basse-cour*, т.е. задним двором, примыкавшим к их крестьянским наделам, мансам. Здесь они старались заложить высокие кучи навоза, собрать хороший урожай льна для прядения, вырастить побольше овощей и домашней птицы — чтобы хватило не только для собственного потребления, но и для продажи на базаре.

Задний двор с огородом и курятником нередко способствовал выживанию семей, которые не имели двадцати, тридцати или сорока акров, необходимых для экономической самостоятельности. Крестьянам требовалось много земли, потому что бóльшая часть урожая изымалась у них в счет уплаты феодальных податей, десятины, арендной платы за землю и прочих сборов. Почти по всей центральной и северной Франции зажиточные крестьяне подтасовывали собирание основной королевской подати, тальи, действуя по старинному принципу: обдирай бедняков. Не случайно сбор налогов приводил к раздорам среди деревенских жителей, а состояние задолженности усугубляло положение еще больше. Бедные крестьяне нередко влезали в долги к богатеям, т.е. к немногим относительно зажиточным *coqs du village* (влиятельным персонам), у которых имелось достаточно земли, чтобы продавать излишки хлеба на рынке, заводить стада и нанимать бедноту в батраки. Вполне вероятно, что из-за долговой кабалы имущих крестьян в деревне ненавидели не меньше, чем феодала или *décimateur* (сборщика церковной десятины). Крестьянскую общину нельзя было назвать счастливой и гармоничной *Gemeinschaft*: ее раздирали ненависть, зависть и противоборствующие интересы.

Для большинства крестьян жизнь была борьбой за выживание, а выживание означало прежде всего умение держать-

ся на плаву, не опускаясь ниже границы, отделявшей бедняка от нищего. В разных местах граница бедности проходила на разном уровне — в зависимости от количества земли, потребного для того, чтобы исправно платить налоги и подати, откладывать достаточно зерна для весеннего сева и кормить семью. В плохие годы беднякам приходилось закупать продукты и они терпели большой убыток из-за взвинченных цен, тогда как богатеи срывали куш. Таким образом, несколько неурожайных лет подряд могли поляризовать деревню, загоняя в нищету семьи, едва сводившие концы с концами, и позволяя зажиточным крестьянам богатеть. Перед лицом подобных трудностей бедняки (*petites gens*) должны были, чтобы выжить, крутиться, как могли. Они шли в батраки, занимались прядением и ткачеством дома, брались за любую временную работу и, наконец, уходили на ее поиски в другие места.

Многие из этих крестьян разорялись дотла. Тогда они становились бродягами, вливались в ряды кочующего по Франции отребья, так называемого *population flottante* (непостоянного населения), которое к 80-м годам XVIII века насчитывало несколько миллионов отчаявшихся душ. Для большинства (кроме немногих счастливцев-ремесленников и отдельных трупп бродячих актеров и фигляров) кочевая жизнь была сопряжена с нескончаемыми поисками пропитания. Скитальцы совершали налеты на курятники, доили оставленных без присмотра коров, воровали белье, развешенное для просушки на живых изгородях, отрезали лошадиные хвосты (их можно было выгодно продать обойщикам), а также терзали и уродовали свои тела, чтобы сойти за инвалидов в тех краях, где можно было рассчитывать на милостыню. Они шли на военную службу и дезертировали, выдавали себя за рекрутов и переходили из одного полка в другой. Они становились контрабандистами, разбойниками с большой дороги, карманниками, проститутками. И в конце концов, сдавшись, оказывались в *hôpitaux*, отвратительнейших приютах для бедноты, либо умирали, забравшись на сеновал или под куст... Так босяки протягивали свои босые ноги [26].

Впрочем, смерть столь же неминуемо настигала и семьи, которые оставались жить в родной деревне и ухитрялись не

опуститься ниже черты бедности. По свидетельству Пьера Губера, Луи Анри, Жака Дюпакье и других историков-демографов, во Франции начала Нового времени жизнь повсеместно была отчаянной борьбой за выживание. В XVII веке в нормандском Крюлэ умирало до достижения годовалого возраста 236 младенцев из каждой тысячи, тогда как теперь умирает двадцать. В XVIII веке около 45% французов не доживало до десяти лет. Мало кто из оставшихся не терял до достижения совершеннолетия хотя бы одного из родителей. И мало кто из родителей дотягивал до конца фертильного периода: большинство смерть настигала гораздо раньше, чем они утрачивали способность производить потомство. Браки, прерванные не разводом, а смертью, в среднем продолжались 15 лет, что в два раза меньше такого супружества в современной Франции. В Крюлэ каждый пятый мужчина, потеряв жену, вновь вступал в брак, отчего кругом кишмя кишели мачехи — их было гораздо больше отчимов, поскольку вдовы заново выходили замуж лишь в одном случае из десяти. Едва ли со всеми падчерицами обращались так же, как с Золушкой, но вполне вероятно, что отношения между сводными братьями и сестрами были напряженными. Дополнительный ребенок зачастую означал переход из категории бедняков в категорию нищих. Если даже он не опустошал до конца кладовую, он способствовал обнищанию следующего поколения, поскольку увеличивал число наследников, претендующих на дележ родительского участка [27].

С ростом населения земельные наделы уменьшались, что вело к пауперизации крестьянства. В некоторых районах этот процесс замедлялся правом первородства, однако наилучшим противоядием везде считалось откладывание женитьбы, что, вероятно, плохо сказывалось на эмоциональной жизни семей. Французские крестьяне XVIII века, в отличие, скажем, от современных индийцев, обычно женились и выходили замуж не раньше, чем обзаведутся собственным домом; они редко имели внебрачных детей, а после сорока лет вообще почти не рожали. Например, в Пор-ан-Бессене женщины в среднем выходили замуж в возрасте двадцати семи лет и переставали рожать около сорока. Демографы не обнаружили признаков

того, что до конца XVIII века французы прибегали к противозачаточным мерам или что у них было распространено рождение детей вне брака. В начале Нового времени мировоззрение мужчины не предусматривало возможности управлять своей жизнью, регулируя рождаемость. Женщина того же периода не могла и подумать о том, чтобы управлять природой и родами, поэтому она рожала столько детей, на сколько была Божья воля, как это делала мать Мальчика с пальчик. И все же позднее замужество, относительно короткий период фертильности и долгие месяцы вскармливания младенца грудью (во время которого риск зачатия значительно снижается) ограничивали размеры семьи. Самый жестокий, но и самый эффективный предел ставился смертью — либо матери, либо детей, умиравших во время родов и в первые годы жизни. Мертворожденных младенцев (их называли *chrissons*) иногда хоронили как бы между делом, в безымянных братских могилах. Случалось, что младенцев придавливали в постели сами родители, причем, видимо, довольно часто — судя по строгим епископским указам, запрещавшим родителям спать вместе с детьми, пока тем не исполнится хотя бы год. Обычно вся семья размещалась на одной-двух постелях, окружив себя скотом (прежде всего чтобы не мерзнуть), поэтому дети могли сызмальства наблюдать за сексуальной жизнью родителей. Никто не считал их «невинными созданиями», и никто не воспринимал само детство как особый жизненный период, который может отличаться от отрочества, юности и зрелости поведением и платьем. Дети начинали работать бок о бок с родителями, в буквальном смысле едва встав на ноги, а в двенадцать-тринадцать лет их уже считали взрослой рабочей силой и отдавали в батраки, слуги или в ученики к ремесленникам.

Французские крестьяне раннего Нового времени жили в мире сирот и мачех, в мире нескончаемого, неизбывного труда и животных чувств, иногда грубо выраженных, иногда подавляемых. С тех пор положение человека столь разительно изменилось, что нам трудно представить себе, каким его видели люди, чей век был не только короток, но тяжек и жесток. Вот почему нам следует заново обратиться к «Сказкам матушки Гусыни».

* * *

Давайте рассмотрим четыре из наиболее известных сказок Перро — «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Золушка» и «Потешные желания»* — в сравнении с крестьянскими историями на сходные темы.

В «Коте в сапогах» бедный мельник, умирая, оставляет старшему сыну мельницу, среднему — осла, а младшему — кота. «Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили все их небогатое наследство»**, — замечает Перро. Мы явно находимся во Франции, хотя варианты этого сюжета существуют в Азии, Африке и Латинской Америке. Французские крестьяне, как и дворяне, нередко придерживались порядка наследования, при котором преимущество отдавалось старшему сыну. Зато младшему сыну мельника достается кот, наделенный феноменальными способностями к бытовому интриганству. Видя вокруг себя тщеславие, глупость и ненасытность, наш «картезианский» кот играет на этих слабостях и в результате разных фокусов добивается завидной партии для своего хозяина и прекрасного замка для себя, хотя по одной из крестьянских версий сказки хозяин в конце концов надувает кота, который не носит никаких сапог и на самом деле оказывается лисом.

Сходным образом начинается сохранившаяся в записи народная сказка «Лиса» («La Renarde», AT 460B): «Жили-были два брата, которым перешло по наследству имущество отца. Старшему, Жозефу, досталась усадьба. Младший же, Батист, получил только пригоршню монет, а поскольку у него было пятеро детей и кормить их было почти что нечем, то впал он в крайнюю нужду»[38]. С отчаяния Батист просит у брата зерна. Жозеф велит младшему брату раздеться донага, постоять под дождем, а потом покататься по полу в амбаре, разрешая взять все зерно, которое прилипнет к его телу. Из любви к брату Батист соглашается проделать это, но прилипшего хлеба не хватает на прокорм семьи, и он отправляется скитаться по свету. В конце концов Батист встречает добрую

---

* Эта сказка в стихах остается менее известной русскоязычному читателю.

** «Кот в сапогах» цитируется по пересказу Т. Габбе.

[Кот в сапогах]. — Ил. в кн.: Perrault Ch. Contes du temps passé. — Paris, 1843

фею в образе Лисы, та помогает ему решить несколько загадок, и он обретает зарытый клад (горшок с золотом) и исполнение крестьянской мечты: у него появляются дом, поля, пастбище, лес, а «детишкам теперь каждый день достается по сдобной булке» [29].

«Мальчик с пальчик» («Le Petit Poucet», AT 327) представляет собой французский вариант «Гензеля и Гретель», хотя Перро взял заглавие от другой сказки (AT 700). Даже в приглаженной версии Перро перед нами предстает чисто мальтузианский мир: «Жил-был дровосек с женой; было у них семеро детей, все мальчики... Были они очень бедные, и с семерыми ребятами приходилось им туго, потому что никто из семерых еще не мог заработать себе на хлеб... Пришел однажды тяжелый год, и такой был страшный голод, что наши бедняки решили отделаться от своих детей»*. Спокойный тон повествования свидетельствует о том, насколько обыденным делом была во Франции раннего Нового времени смерть детей. Перро сочинял свою сказку в середине 90-х годов XVII века, в разгар тяжелейшего демографического кризиса столетия, когда голод и чума истребили каждого десятого жителя северной Франции, когда бедняки подъедали отходы кожевенного производства, которые выбрасывали на улицу дубильщики, а матери, будучи не в состоянии прокормить младенцев, выставляли их на мороз, чтобы они заболели и умерли. Бросая в лесу своих детей, родители Мальчика с пальчик пытались решить проблему, перед которой не раз оказывалось крестьянство на протяжении XVII–XVIII веков, — проблему выживания в период демографической катастрофы.

Тот же мотив в сочетании с прочими видами детоубийства и надругательства над детьми встречается в крестьянских вариантах как этой, так и других сказок. Иногда родители отправляют детей бродяжничать, перебиваться воровством и милостыней. Иногда взрослые сами сбегают из дома, оставляя детей попрошайничать. Иногда они продают детей дьяволу. Во французском варианте сказки «Ученик чародея», которая носит название «Апельсин» («La pomme d'orange», AT 325), у отца было «столько детей, сколько дыр в решете» [30], и эту

* Перевод под редакцией М. Петровского.

фразу, которая попадается в нескольких сказках, следует воспринимать не как свидетельство реальной численности семьи, а скорее как гиперболу, отражающую состояние перенаселения. Когда рождается очередной младенец, отец продает его дьяволу (в некоторых версиях — чародею), за что тот обещает ему полную кладовую на двенадцать лет вперед. По истечении этого срока отец получает сына обратно, но только благодаря изобретенной тем уловке (парнишка, оказывается, понабрался у чародея всяких фокусов, в том числе выучился превращаться в разных животных). Вскоре, однако, запасы продуктов истощились и семейство снова оказалось на грани голода. Тогда мальчик превратился в собаку, которую отец опять продал дьяволу, представшему на этот раз в образе охотника. Когда отец получил деньги, собака сбежала от покупателя и вернулась домой мальчишкой. Затем они опять прибегают к такой хитрости, только теперь сын превращается в коня. На этот раз дьявол оставляет себе и волшебную уздечку, так что конь не может обернуться человеком. Но работник отводит коня напиться к пруду, давая ему возможность сбежать в образе лягушки. Дьявол превращается в рыбу и того гляди проглотит лягушку, однако та оборачивается птицей. Дьявол гонится за ней в виде ястреба, однако птица залетает в опочивальню к умирающему королю и становится апельсином. Тогда дьявол приходит к королю под видом врача и требует апельсин в награду за излечение. Апельсин падает на пол и оборачивается горстью проса. Дьявол становится петухом и принимается клевать просо, но последнее зернышко преображается в лису, которая и выигрывает это состязание, съев петуха. Эта сказка не только служила развлечением. В ней отражалась борьба за скудные средства существования, в которой бедные противопоставлялись богатым, «маленькие люди» (*menu peuple, petites gens*) — «большим» (*les gros, les grands*). В некоторых вариантах сказки социальный комментарий не просто подразумевался, а подчеркивался — дьяволу со всей очевидностью отводилась роль «сеньора», и концовка гласила: «Вот как слуга съел своего господина» [31].

Есть или не есть — вот в чем заключался вопрос, с которым сталкивались крестьяне не только в фольклоре, но и в повседневной жизни. Он возникает во множестве сказок, нередко

рядом с мотивом злой мачехи, особенно актуальным для французских семей при старом режиме, поскольку демографическая ситуация отвела мачехам важное место в деревенском обществе. Отдав должное этой теме в «Золушке», Перро, однако, не уделил внимания связанному с ней мотиву голодания, который наглядно выступает в крестьянских вариантах сказки. В одном из них, весьма распространенном («Маленькая Аннетта», «La petite Annette», AT 511), злая мачеха даст бедняжке Аннетте только кусок черствого хлеба на день, заставляя при этом ее пасти овец, тогда как толстые и ленивые родные дочери бездельничают дома и питаются бараниной, да еще бросают немытой посуду в ожидании, когда Аннетта, вернувшись с пастбища, перемоет ее. Девочка едва не умирает от истощения, но тут появляется Дева Мария и дает ей волшебную палочку, которой Аннетте достаточно дотронуться до черного барана — и перед ней накроется стол с роскошной едой. Вскоре малышка перегоняет по толщине сводных сестер. Однако ее новообретенная краса (а во Франции того времени, как и во многих других примитивных обществах, упитанность приравнивалась к красоте) наводит мачеху на подозрения. Мачеха обманным путем разузнает про волшебного барана и, зарезав его, пытается скормить Аннетте баранью печень. Девочке удается тайком захоронить печень, и из нее вырастает дерево — такое высокое, что никто, кроме Аннетты, не может срывать с него плоды (к ней же дерево само склоняет свои ветви). Заезжему принцу (который, как и все население страны, мучится от голода) так захотелось отведать плодов, что он пообещал взять в жены девушку, которая сумеет сорвать их ему. Мачеха, в надежде выдать за него дочь, составляет из нескольких одну большую лестницу, но, попробовав залезть на нее, падает и сворачивает себе шею. Тогда Аннетта собирает плоды, выходит замуж за принца, и они живут счастливо до скончания веков.

Мотивы голодания и недостатка родительской заботы сочетаются в нескольких сказках, среди которых «Русалка и ястреб» («La sirène et l'épervier», AT 316) и «Брижитта, мать, которая меня не родила, но выкормила» («Brigitte, la maman qui m'a pas fait, mais m'a nourri», AT 713). Почти всегда в них идет речь о поисках пропитания — даже у Перро, где этот

мотив в пародийной форме обыгрывается в сказке «Потешные желания». В награду за благородный поступок бедному дровосеку предлагают исполнить три его любых желания. Пока дровосек обдумывает их, его одолевает аппетит, и он желает себе колбасы. Но, когда колбаса оказывается у него на тарелке, сварливая жена так бранит дровосека за потерянное напрасно желание, что он в сердцах желает, чтобы колбаса приклеилась ей к носу. Увидев перед собой обезображенную супругу, дровосек желает, чтобы та вновь обрела привычный вид, — и они продолжают влачить свое жалкое существование, как влачили его прежде.

В крестьянских вариантах сказок герои чаще всего желают именно еды, и это никогда не бывает смешно или глупо. В сказке «Дьявол и кузнец» («Le diable et le maréchal ferrant», AT 330) отпущенный с военной службы бездомный солдат Ла Раме (такой же типичный персонаж, как притесняемая падчерица) доведен до нищенства. Когда он делится последними грошами с другими бродягами, один из них оказывается переодетым святым Петром и обещает отплатить Ла Раме, исполнив любое его желание. Вместо того чтобы попроситься в рай, солдат желает либо просто «хорошенько поесть», либо, по другим версиям, «белого хлеба и курицу», «булку, колбасы и столько вина, сколько в него влезет», «табаку и еды, какую он видел в трактире», «всегда иметь корку хлеба» [32]. Стоит крестьянскому герою обзавестись волшебной палочкой, волшебным кольцом или помощником, как его первая мысль бывает о еде, причем он не проявляет в своем выборе ни малейшей изобретательности. Он берет, так сказать, *plat du jour* (дежурное блюдо), т.е. неизменно заказывает сытную крестьянскую пищу, которая может лишь изредка варьироваться в зависимости от области, в которой происходит действие (например, когда на корсиканском пиру подают «пироги и поджаренный хлеб с кусками сыра», *canistrelli e fritelli, pezzi di broccio*) [33]. Обычно сказитель-крестьянин не расписывает еду. Не имея понятия о гастрономии, он просто наваливает герою полную тарелку с верхом, а если ему хочется придать трапезе особый шик, добавляет: «Там даже были салфетки» [34].

И все же поистине шикарным застолье становится прежде всего благодаря другой детали: мясу. Для людей, *de facto*

бывших вегетарианцами, самым изысканным удовольствием было вгрызться зубами в хороший кусок баранины, свинины или говядины. На свадебном пире в сказке «Королевство вальдаров» («Royaume des Valdars», AT 400) фигурируют жареные поросята, которые бегают вокруг стола с воткнутыми в бока вилками, чтобы гости могли сами отрезать себе кусок мяса. Во французском варианте известной сказки про покойников, «Обжора» («La Goulue», AT 366), идет речь о крестьянской дочери, которая хочет каждый день есть мясо. Не в силах выполнить столь необычное требование, родители однажды скармливают ей ногу, отрезанную у только что захороненного трупа. На следующий день покойник является в кухне девочке и велит вымыть ему сначала правую, а потом левую ногу. Когда девочка обнаруживает, что левой ноги у того нет, покойник кричит: «Это ты ее съела!», после чего уволакивает девочку к себе в могилу и пожирает. В более поздних — английских — версиях сказки (в том числе в прославленной Марком Твеном «Золотой руке») развивается тот же сюжет, но без плотоядства, которое, по-видимому, особенно привлекало крестьян предреволюционной Франции. Впрочем, чем бы ни наедались герои французских сказок — кашей, похлебкой или мясом, — первейшим их желанием было набить себе брюхо. Даже крестьянская Золушка, которой достался принц, стремилась лишь к одному. «Стоило ей дотронуться волшебной палочкой до черного барана, как перед ней оказался уставленный яствами столик. Она могла есть все, что было угодно душе, и она наелась вволю»[35]. Есть вдосталь, есть, пока не утолишь голод (*manger à sa faim*)[36], было главным удовольствием, которое только могли вообразить крестьяне и которым им крайне редко удавалось насладиться в реальной жизни.

Они представляли себе и исполнение других мечтаний, в том числе привычный набор из замков и принцесс, но чаще всего их желания сосредоточивались на предметах повседневной жизни. Один герой получает «корову и кур», другому достается шкаф с постельным и столовым бельем. Третий удовлетворяется легкой работой, регулярной кормежкой и трубкой, которая всегда набита табаком. А четвертый, когда у него оказывается полный очаг золотых монет, покупает на них «продукты, платье, коня и участок земли»[37]. В большин-

стве сказок исполнение желаний превращается не в воображаемое бегство от действительности, а в программу выживания.

* * *

Итак, несмотря на некоторые фантастические элементы, сказки остаются привязаны к реальному миру. Действие их почти всегда происходит в одном из двух основных мест, отражающих раздвоение крестьянской жизни в дореволюционной Франции: с одной стороны, это дом и деревня, с другой — большая дорога. Противопоставление деревни и дороги проходит через все сказки, как оно проходило через жизнь французского крестьянина XVIII века[38].

Крестьянская семья могла выжить, только если трудились все ее члены, причем трудились сообща, образуя единое экономическое целое. В сказках постоянно упоминается, как родители работают в поле, а дети в это время собирают хворост, стерегут овец, носят воду, прядут шерсть или просят милостыню. Произведения фольклора не только не осуждают эксплуатацию детского труда, в них чувствуется возмущение, если такой эксплуатации не происходит. В сказке «Три пряхи» («Les trois fileuses», AT 501) отец решает отделаться от дочери, потому что «она только ела, но не работала»[39]. Он уверяет короля, что она может напрясть семь початков (*fusée*) льна (свыше 90 м) за ночь, тогда как на самом деле она съедает семь блинов (это не случайно: мы находимся в провинции Ангумуа). Король повелевает девушке совершить свои прядильные подвиги, обещая в случае успеха взять ее в жены. Справиться с заданием ей помогают три волшебницы-пряхи, одна страшнее другой, которые просят в награду только чтобы их пригласили на свадьбу. Когда они предстают перед королем, тот спрашивает, почему они, — такие уродливые. Надорвались от работы, объясняют они и прибавляют, что его невеста станет еще страшнее их, если он позволит ей и дальше заниматься прядением. Таким образом девушка избегает каторжного труда, ее отец избавляется от обжоры, а бедняки обводят вокруг пальца богачей (в некоторых вариантах сказки в роли короля выступает местный сеньор).

По тому же сценарию разыгрывается действие во французских версиях сказки «Румпельштильцхен» (AT 500 и некото-

рые варианты AT 425). Мать бьет дочь за леность. Когда проезжающий мимо король или местный феодал пытается выяснить, в чем дело, мать придумывает хитрость, которая позволит ей отделаться от семейной обузы. Она утверждает, будто девушка слишком работяща — дескать, она не может без работы и готова прясть пряжу даже из соломы, которой набиты матрасы. Учуяв выгоду, король забирает девушку с собой и поручает ей дела, требующие нечеловеческих сил: она должна то перепрясть целые стога сена в льняное полотно, то за один день нагрузить и разгрузить пятьдесят телег навоза, то очистить от мякины горы пшеницы. Хотя все эти задания, благодаря сверхъестественному вмешательству, неизменно оказываются выполнены, в них гиперболизированно выражается печальная судьба крестьян в реальной жизни: все они с раннего детства до гробовой доски вынуждены были трудиться без отдыха и срока.

Супружество не помогало избежать этой участи; напротив, оно налагало дополнительное бремя, вынуждая женщину не только обихаживать семью и заниматься сельскохозяйственными работами, но еще и включаться в «домашнее производство» (ремесленничество на дому). В сказках крестьянки неизменно сидят за прялкой — после целого дня ухода за скотом, таскания дров или сенокоса. Некоторые истории представляют их труд в виде гиперболизированных образов: женщины могут быть прикованы к плугу, доставать воду из колодца собственными волосами или чистить печки обнаженной грудью[40]. Но при том, что брак был сопряжен с принятием на себя нового груза забот и новых опасностей, связанных с деторождением, для вступления в него бедная девушка обязана была обзавестись приданым — если, конечно, она не соглашалась выйти замуж за лягушку, ворону или какого-нибудь отвратительного зверя. Животные отнюдь не всегда оборачивались принцами, хотя это была привычная форма эскапизма. В одном шуточном сюжете, где обыгрывается крестьянская стратегия заключения брака («Девушки выходят замуж за животных» — «Les filles mariée à des animaux», AT 552), родители выдают дочерей за волка, лиса, зайца и кабана. В ирландском и скандинавском вариантах этой сказки новобрачные проходят через ряд приключений, необходимых для того, чтобы

животные снова обернулись людьми. Во французской сказке просто рассказывается о том, чту подает на стол каждая пара, когда к ним в гости пожаловала мать: баранину, добытую волком, индейку, принесенную лисом, капусту, спроворенную зайцем, и отбросы, поставленные кабаном. Обретя хороших добытчиков (каждый из них старается на свой лад), дочери смиряются с выпавшей им долей, после чего все дружно продолжают заниматься привычным делом — добычей средств к существованию.

У сыновей оказывается в сказках несколько больше простора для маневра. Они исследуют второе измерение крестьянского бытия — скитания по белу свету. Юноши отправляются на поиски своей судьбы — и нередко находят ее благодаря помощи старух, которые просят у них корочку хлеба, а потом оказываются переодетыми феями. Несмотря на вмешательство сверхъестественных сил, герои бродят по вполне реальному миру, куда они обычно сбегают от домашней нужды и в надежде отыскать работу в иных, более благодатных, краях. Им отнюдь не всегда достаются принцессы. В сказке «Язык зверей» («Le langage des bêtes», AT 670) бедный парнишка, который нашел себе место пастуха, выручает из беды волшебную змею. Взамен она указывает ему, где спрятано золото. «Он набил себе полные карманы монет, а наутро погнал стадо обратно на усадьбу и попросил у хозяина руки его дочери. Это была самая красивая девушка в деревне, и он уже давно был влюблен в нее. Видя, как пастух разбогател, отец дал согласие. Спустя неделю они поженились, а родители девушки, которые были уже немолоды, объявили своего зятя единоличным хозяином усадьбы»[41]. Вот из чего были сотканы крестьянские сказочные сны.

Другие парни отправляются странствовать, потому что дома у них нет ни земли, ни работы, ни пропитания[42]. Они становятся батраками, слугами или, если очень повезет, подмастерьями — учениками кузнецов, портных, плотников, чародеев и дьявола. Герой «Медвежьего Жана» (AT 301B), прослужив пять лет у кузнеца, отправляется в путь с железным посохом, который получает в виде платы за труды. В своих скитаниях он подбирает странных попутчиков (их зовут Выворотн-Дуб и Рассеки-Гору), бросает вызов привидениям, по-

беждаст великанов, убивает чудовищ и в конце концов женится на испанской принцессе. Стандартный набор приключений, однако все они не выходят за пределы страны и напоминают типичный *tour de France*. По тому же образцу действует «Жан Бесстрашный» («Jean-sans-Peur», AT 326)* и многие другие любимые герои французских сказок[43]. Их подвиги происходили в обстановке, хорошо знакомой ремесленникам, которые провели юность в скитаниях по свету, и крестьянам, которые после сбора урожая каждый год покидали семьи и проходили сотни миль в виде пастухов, коробейников или кочующих с места на место работников.

В странствиях их везде подстерегала опасность: во Франции не было сколько-нибудь эффективной полиции, а на разделявших деревни пустошах шастали разбойники и волки, особенно на просторах Центрального массива, среди бокажей, а также в районах Юры, Вогезов и Ланд. По этим страшным местам приходилось передвигаться пешком, ночуя под стогами и кустами, если не было возможности попроситься на ночлег в дом или заплатить за место на постоялом дворе, где, кстати, тоже вполне можно было лишиться кошелька, а зачастую и жизни. Когда французские Мальчик с пальчик или Гензель и Гретель стучатся в двери таинственных домов, затерянных в лесной чащобе, потому что за ними по пятам гонятся волки, такие эпизоды отражают не полет фантазии, а реальную действительность. Пусть двери этим героям открывали ведьмы и людоеды, зато во многих других сказках (например, «Сын дровосечихи» — «Le garçon de chez la bûcheronne», AT 461) в домах оказывались шайки бандитов вроде знаменитых Мандрена и Картуша, из-за которых скитания по стране были весьма опасными. Некоторую защиту от разбоя обеспечивало передвижение по дорогам группами, однако доверять попутчикам тоже было нельзя. Иногда они спасали тебя от большой беды, как это происходит в сказках «Цыпленок Половинка» («Moitié Poulet», AT 563) и «Бесподобный корабль» («Le navire sans pareil», AT 283), а иногда накидывались на тебя, учуяв запах добычи, как в «Меднежьем Жанс» (AT 301B).

* У нас этот сюжет известен прежде всего по «Сказке о том, кто ходил страху учиться» из собрания братьев Гримм.

Отец маленького Луи из одноименной сказки («Petit Louis», AT 531) был прав, советуя мальчику никогда не брать в попутчики горбуна, хромого или *Cacous*, т.е. канатного мастера (представители этого ремесла считались париями). Все необычное было чревато опасностью, но ни один совет не годился на все случаи жизни и ни одна формула не помогала предугадать эту опасность.

Для большинства французов, запрудивших дороги страны, выражение «поиски счастья» эвфемистически заменяло слово «нищенство». В народных сказках полным-полно нищих, причем самых настоящих нищих, а не переодетых волшебников и фей. Когда вдову и ее сына из сказки «Браслет» («Le bracelet», AT 590) одолевает бедность, они отправляются в странствия, прихватив один-единственный мешок с пожитками. Путь их пролегает через грозный лес, они попадают к шайке разбойников, потом в дом призрения, но в конце концов их ждет избавление от напастей в виде волшебного браслета. В сказке «Два странника» («Les deux voyageurs», AT 613)* двое уволенных в отставку солдат тянут жребий, чтобы решить, кому из них следует выколоть глаза. Изголодавшиеся солдаты не могут придумать иного способа выживания, кроме как побираться вдвоем: слепец и его поводырь. В сказке «Норуа-Северяк» («Norouâs», AT 563) для крестьян с крохотным земельным наделом урожай или неурожай льна играет решающую роль в том, выживет семья либо совсем лишится средств к существованию. Урожай выдается отменный, но злой ветер Норуа уносит весь лен, который сушился на лугу. Крестьянин берет палку и отправляется на поиски ветра, чтобы забить того до смерти. Вскоре, однако, у него кончается запасенная еда, и он вынужден, как последний бродяга, выпрашивать корку хлеба и угол на конюшне. Рано или поздно он добирается до вершины горы, где обитает Норуа. «Верни мой лен! Верни мой лен!» — кричит он. Сжалившись над мужиком, ветер дает ему скатерть-самобранку. Крестьянин «наедается до отвала», после чего останавливается на постоялом дворе, хозяйка которого ночью похищает скатерть. Еще два раза побы-

* В русских сборниках французских сказок она носит название «Два старых солдата».

вав у Норуа, крестьянин получает волшебную дубинку, которая принимается лупить хозяйку и вынуждает ее отдать скатерть. Крестьянин живет счастливо (т.е. с полной кладовой) до скончания века, но важно не это, а то, как сказка иллюстрирует отчаяние людей, вынужденных балансировать между бедностью в деревне и нищенством на большой дороге [44].

Итак, перейдя от Перро к народным вариантам «Матушки Гусыни», мы обнаруживаем элементы реализма. Нельзя сказать, что сказки дают фотографически точное изображение деревенской жизни (у крестьян никогда не было столько детей, сколько дыр в решете, и они никогда не ели их), однако создающаяся на основе фольклора картина совпадает с той, которую составили по данным архивов социальные историки. Такое совпадение с действительностью крайне важно. Показывая будни как деревенского, так и бродячего существования, сказки способствовали лучшей ориентации крестьян в жизни: в них отражались общественные реалии и содержался намек на то, что от жестокого миропорядка не следует ожидать ничего, кроме жестокости.

Впрочем, продемонстрировав реалистическую основу, на которой зиждились фантазии и эскапистская развлекательность народных сказок, мы доказали слишком мало [45]. Крестьяне могли узнать о жестокости существования не только из «Красной Шапочки». Кроме того, жестокость присутствовала в фольклоре и в социальной истории по всему земному шару, от Индии до Ирландии, от Аляски до Африки. Если в своей интерпретации французских сказок мы хотим пойти дальше туманных обобщений, следует выяснить, было ли в них что-либо отличное от других, иными словами, необходимо провести хотя бы беглый сравнительный анализ.

* * *

Прежде всего обратимся к той «Матушке Гусыне» («Mother Goose»), которая наиболее известна носителям английского языка. Понятно, что разношерстное собрание колыбельных, считалок и непристойных песенок, с которыми это название стало ассоциироваться в Англии XVIII века, мало похоже на французские фольклорные источники XVII века, из которых Перро выбирал свои «Contes de ma mère l'Oye». Тем не менее

из английской «Матушки Гусыни» можно узнать не менее интересные вещи, чем из французской. К счастью, многие стишки можно еще и датировать, поскольку они были созданы на злобу дня: например, «Осада Бель-Иля» явно относится к Семилетней войне, «Янки Дудль» — к периоду американской Войны за независимость, а «Старый великий герцог Йоркский» — к революционным войнам во Франции. Впрочем, большинство стихотворений, видимо, относительно современного происхождения (т.е. созданы не раньше начала XVIII века), хотя их многократно пытались связать с именами и событиями более отдаленного прошлого. Такие авторитетные исследователи, как Айона и Питер Оупи, обнаружили весьма мало подтверждений тому, что Шалтай-Болтай — это Ричард III, Кудряшка (Curly Locks) — Карл II, крошка Вилли-Винки — Вильгельм III или что мисс Маффет была Марией Стюарт, а паук — Джоном Ноксом [46].

В любом случае историческое значение этих стихов заключается не столько в аллюзиях, сколько в их тоне. Они гораздо веселее и эксцентричнее как французских, так и немецких сказок — возможно, потому, что многие из них относятся к периоду после XVII века, когда Англия избавилась от ига «мальтузианства». И все же в некоторых более старых стихах звучит отголосок демографического отчаяния. Вот, например, как описывается английская мать семейства, похожая на матушку Мальчика с пальчик:

> Жила-была старушка, ей домом был башмак;
> В нем куча ребятишек — ей сладить с ними как?*

Подобно всем крестьянкам, она кормила их жиденькой похлебкой, но, будучи не в состоянии дать к ней кусок хлеба, срывала зло на детях — секла их. Другие дети из «Матушки Гусыни» питались немногим лучше:

> Вот горох вам в чугуне,
> Разогрейте на огне.
> В пятницу — из ле́дника,
> Стоял он с понедельника.

* Здесь и далее стихи из английской «Матушки Гусыни» цитируются в переводе Л. Вернского.

Всю неделю — ох-ох-ох! —
На столе один горох.

С одеждой у них тоже было плохо:

Я маленькая девочка
Всего семи годов,
На мне нет даже юбочки
Спасти от холодов.

А иногда они уходили странствовать по свету и пропадали навсегда, как явствует из стихотворения эпохи Тюдоров-Стюартов:

Сынки у старухи — к герою герой:
Джерри, и Джеймс, и Джон.
Первый был вздернут, утоплен второй.
А третий? Пропал и он.
Ни один не вернется к старухе домой —
Ни Джерри, ни Джеймс, ни Джон.

Жизнь в старинной «Матушке Гусыне» была тяжкой. Многие ее персонажи впадали в полную нищету, например:

Вжик-вжик, Марджери Пшик...
Утром продала кровать —
Знать, на стружках будет спать.

Правда, кое-кто проводил время в праздности, как это делала в георгианскую эпоху барменша Элси Марли (*alias* Нэнси Досон):

Поглядите: не кошмар ли
Эта леди Элси Марли?
Накормить свиней ей лень —
Дрыхнет целый Божий день!

Кудряшка объедалась клубникой с сахаром и сливками, однако эта девочка, похоже, относится уже к концу XVIII века. Матушке Хаббард (героине елизаветинского периода) приходилось иметь дело с пустым буфетом, а малышу Томми Таккеру — добывать себе ужин пением. Простофиля Саймон (кото-

рый, вероятно, принадлежит к XVII веку) сидел без гроша. А ведь он был безвредным деревенским дурачком — в отличие от далеко не безопасных бродяг и психов, действующих в более старых стишках:

Прислушайся: тс-сы!
Разгавкались псы —
В город хлынула нищая братия.
На том драный фрак,
А здесь лапсердак,
А вон и судейская мантия.

Нищета заставляла многих персонажей «Матушки Гусыни» воровать или побираться.

Рождество стучится в сени —
Гуси набрались жирку...
Добрые люди, бросьте хоть пенни
В шляпу несчастному старику!

Нередко они избирали своими жертвами беззащитных детей:

Ворвался нахал и обидел до слез:
Куклу схватил
И с собою унес.
Или своего же брата нищего:
К мужичку, у кого за душой ничего,
Влезли воры: эй ты, погоди!
Он от них в дымоход — как тут словишь его?
Только в доме шаром покати.

В старинных стишках много бессмыслицы и добродушных фантазий, но время от времени в них проскальзывает нотка отчаяния. Она присутствует, например, там, где идет речь о жестокой краткости чьей-то жизни, как в случае с Соломоном Гранди*, или о погрязании в нищете, как в случае с очередной анонимной старушкой:

* Этот герой, если верить стишку о нем, родился в понедельник, был крещен во вторник, женился в среду, а в субботу умер, так что в воскресенье его уже похоронили.

Жила себе старуха,
Давным-давно ку-ку.
Не жизнь – одна проруха,
Нет счастья на веку.
Нет никакой одежки,
Ни крошки на обед,
И даже нету ложки,
Семь бед – один ответ.
Жила себе без страха:
Ах, было б что терять!
В наследство горстку праха
Она могла лишь дать.

Нет, в «Матушке Гусыне» царит отнюдь не сплошное веселье. Более старые стихи принадлежат к более древнему миру нищеты, отчаяния и смерти.

Итак, у английских стишков есть кое-что общее с французскими сказками, однако сравнивать их было бы некорректно, поскольку они относятся к разным жанрам. Хотя французы пели своим детям колыбельные и кое-какие *contines* (считалки), у них не накопилось ничего похожего на собрание английских детских песенок и стишков (*nursery rhymes*), тогда как англичане не создали такого изобилия народных сказок, какое было во Франции. Тем не менее сказка была достаточно распространена в Англии, чтобы можно было позволить себе некоторые замечания сопоставительного характера, распространив их затем на Италию и Германию, где материал дает возможность для более систематического сравнения.

В английских сказках много игры воображения, юмора и причудливых подробностей, которые со всей очевидностью выступают и в детских стишках. Зачастую в них действуют одни и те же герои: Простофиля Саймон, доктор Фелл*, трое мудрецов из Готема**, Джек из «Дома, который построил

* Доктор Фелл из стихотворения Томаса Брауна (1663–1704), которое обычно включают в английские сборники без указания автора, считается реальным лицом – преподавателем Оксфордского университета.

** У нас они известны прежде всего по переводу С. Маршака:

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.

Джек», но в первую очередь — это мальчик с пальчик Том, герой народной сказки, имя которого вошло в название первого большого сборника детских песенок, изданного в Англии в 1744 году («Tommy Thumb's Pretty Song Book») [47]. Однако этот мальчик с пальчик мало похож на своего французского сородича. В английском варианте сказки подробно описываются его проказы и лилипутская затейливость его платья: «Феи облачили его в шляпу из дубового листа, рубашку из паутины, курточку из чертополоха и штаны из перышек. Чулки его были сделаны из яблочной кожуры и подвязаны материнской ресницей, башмаки же были сшиты из мышиной шкурки, мехом внутрь» [48]. Ничего подобного не скрашивало жизнь Мальчика с пальчик во Франции, поскольку тамошняя сказка про него (AT 700) не упоминает ни его одежды, ни помощи фей или каких-либо других сверхъестественных созданий. Напротив, она помещает героя в грубый мир крестьян и показывает, как он отбивается от разбойников, волков и деревенского священника — прежде всего благодаря своей сообразительности, единственному средству, которое было у «маленьких людей» для защиты от посягательств власть имущих.

При том, что в английских сказках встречается довольно много привидений и гоблинов, атмосфера этих сказок гораздо добродушнее. Даже убийство великанов происходит в некоей стране Грез. Вот с чего начинается один из устных вариантов «Джека — Победителя Великанов»:

«В незапамятные времена... доброе, кстати, было это время, когда свиньи были хрюшками, собак кормили плюшками, а обезьяны жевали табак, когда крыши крыли блинами, а улицы мостили пирогами, да еще по этим улицам бегали жареные поросята с вилками и ножами в боках, крича: "Подходи, народ, ешь меня!" Право, доброе это было время для странствующего люда» [49].

В другом случае Джек по-простецки отдает семейную корову за несколько штук бобов, после чего с помощью волшебных предметов — огромного бобового стебля, курицы, несущей золотые яйца, и говорящей арфы — достигает вершин богатства. Подобно многим Джекам и Джокам английских сказок, он, по сути дела, тот же Простофиля Саймон. Храбрый, но ленивый, добрый, но глуповатый, он вечно попадает впросак

и тем не менее в этом беспечном и веселом мире все для него кончается благополучно. Ни его изначальная нищета, ни грозные вопли великана («фи-фай, фо-фам») не нарушают этого ощущения благополучия. Преодолев очередную беду, Джек получает положенную награду и в конце концов едва ли не любуется собой, вроде маленького Джека Хорнера из известного стишка: «Ну что я за молодец!»

Французский Победитель Великанов — совершенно иного поля ягода. В зависимости от варианта одной и той же сказки (AT 328), его зовут то Крошка Жан, то Парль-Говорун, то Плут-Малыш. Крошка Жан малюсенького роста, однако он «невероятно смышленый... всегда живой и проворный»; вместе со старшими братьями он идет на военную службу, но зловредные братья уговаривают короля послать малыша на самоубийственный подвиг — похитить сокровище у великана-людоеда. Подобно большинству французских великанов, сей *bonhomme* (простак) живет не в какой-то воображаемой стране, куда можно долезть по бобовому стеблю. Это местный землевладелец, который играет на скрипке, бранится с женой и приглашает соседей попировать — закусить жареным мальчишкой. Крошка Жан не просто добывает сокровище и сбегает, он водит великана за нос, издевается над ним, пока тот спит, пересаливает его суп и хитростью добивается того, что его жена с дочерью запекают себя в печке. Наконец, король даст Крошке Жану вроде бы совершенно немыслимое поручение: захватить самого великана. Миниатюрный герой приезжает к великану под видом монарха, он правит колесницей, на которой стоит огромная железная клетка.

«— Господин король, для чего вам эта клетка? — спрашивает великан.

— Я пытаюсь поймать Крошку Жана, который столько раз дерзко обманывал меня, — отвечает Крошка Жан.

— Навряд ли он обходился с вами хуже, нежели со мной. Я его тоже ищу.

— Неужели, Великан, ты надеешься одолеть его в одиночку? Говорят, он ужасно силен. Я даже не уверен, что смогу держать его в этой клетке. Как бы он не сломал ее...

— Не беспокойтесь, господин король, я с ним справлюсь и так, безо всякой клетки. А вашу я, если хотите, могу испытать».

И великан забирается в клетку, а Крошка Жан запирает его там. Когда же великан устает биться в ней, пытаясь сломать прутья, Крошка Жан называется своим подлинным именем и отвозит бушующего от ярости людоеда к настоящему королю, который вознаграждает малыша, отдав ему в жены принцессу[50].

* * *

Если среди вариантов одной и той же сказки рассмотреть итальянскую версию, станет заметно, как изменяются ее характерные особенности: если у англичан доминирует игра воображения, а у французов — хитрость, то у итальянцев — комедийность. В английском варианте сказки, относящейся к типу 301 (главный мотив — спасение принцесс из заколдованного подземного царства), действует привычный Джек, во французском — привычный Жан. Джек освобождает принцесс, следуя указаниям карлика. Он спускается в яму, бежит за волшебным шаром и по очереди убивает великанов в медном, золотом и серебряном дворцах. Французскому Жану приходится действовать в куда более жестких условиях. Попутчики бросают его один на один с дьяволом, а потом перерезают веревку, по которой он после спасения принцесс пытается выбраться из ямы. Итальянский герой (придворный пекарь, которого изгоняют из города за флирт с королевской дочерью) проходит тем же путем и подвергается тем же испытаниям, однако делает это не только с оттенком бравады, но и в чисто шутовской манере. Когда дьявол внутри волшебного шара проникает через дымовую трубу в дом с привидениями и пытается повалить пекаря, проскальзывая у того между ног, герой хладнокровно становится на стул, потом на стол и, наконец, на стул, поставленный на стол, — не прекращая при этом ощипывать курицу, хотя дьявольский шар продолжает (впрочем, безуспешно) преследовать его. Не в силах ничего противопоставить этому цирковому номеру, дьявол вылезает из шара и предлагает помочь герою приготовить еду. Пекарь просит его подержать полено, пока он будет раскалывать его, — и ловко отрубает непрошеному помощнику голову. Он прибегает к такому же приему в подземной яме, где обезглавливает похитившего принцессу чародея. Так, нагромождая

трюк на трюк, он наконец завоевывает сердце возлюбленной. Сказка, сходная по сюжету с английской и французской, ведет нас не столько в волшебную страну, сколько через эскапады *commedia dell' arte*[51].

Буффонадная изобретательность итальянских сказок проступает еще более явственно при их сравнении с немецкими. В итальянском варианте «Сказки о том, кто ходил страху учиться» (Гримм 4) герой и дьявол препираются друг с другом, как Альфонс с Гастоном, в результате чего герою удается обмануть дьявола и заставить того первым пройти через ряд испытаний[52]. Итальянская Красная Шапочка обводит волка вокруг пальца, бросая ему пирожок с гвоздями, хотя потом он, как и во французских вариантах, вынуждает ее съесть собственную бабушку, чтобы затем самому съесть девочку[53]. Итальянский Кот в сапогах, как бывает во французских, но не бывает в немецких сказках (AT 545, Гримм 106), — это лис, который, пользуясь тщеславием и доверчивостью окружающих, добывает для своего хозяина замок и принцессу. А итальянская «Синяя Борода» и вовсе свидетельствует о том, насколько может измениться сказка, если, оставаясь той же по структуре, она сменяет акценты.

В Италии Синяя Борода — это дьявол, который залучает вереницу крестьянских девушек в ад, сначала нанимая их к себе в прачки, а потом соблазняя традиционным ключом от запертой двери. Дверь эта ведет в пекло, поэтому, когда они пытаются ее открыть, вспыхивает пламя и опаляет цветок, который дьявол воткнул им в волосы. Когда дьявол возвращается из странствий, опаленный цветок подсказывает ему, что девушки нарушили запрет, и он одну за другой бросает их в огонь... пока не наступает очередь Лючии. Она соглашается пойти к нему в услужение после того, как пропадают две ее старшие сестры. И она, подобно своим предшественницам, открывает запретную дверь, но только на миг, которого, впрочем, оказывается достаточно, чтобы она увидела горящих в огне сестер. Поскольку Лючия предусмотрительно оставила цветок в безопасном месте, дьявол не может наказать ее за неповиновение. Более того, она обретает власть над ним — во всяком случае, он обещает исполнить одно ее желание. Девушка просит перенести в родительский дом тюки с накопившим-

[Заколдованные собаки]. — Ил. в кн.: Hauber E. Bibliotheca acta et scripta magica... - - St. 27. — S. L, 1742

ся у дьявола грязным бельем. Дьявол берется за это поручение да еще хвастается своей силой, обещая за всю дорогу ни разу не опустить огромные тюки на землю. Лючия отвечает, что будет ловить его на слове, поскольку обладает даром видеть очень далеко. Потом она спасает сестер из геенны и прячет их в тюки с бельем. Вскоре дьявол собственными руками тащит их в безопасное место. Каждый раз, когда он собирается передохнуть, они кричат: «Я тебя вижу! Я тебя вижу!» В конце концов и Лючия освобождается с помощью той же уловки. В итоге все девушки оказываются спасены, причем руками самого дьявола, которого они одурачивают[54].

Немецкий вариант этой сказки (Гримм 46) прослеживает ту же сюжетную линию, однако там, где итальянская версия прибегает к юмору, здесь нагнетаются ужасы. Злодеем оказывается таинственный колдун, который уносит девушек в замок посреди дремучего леса. Запретная комната превращается в камеру пыток, убийство едва ли не смакуется: «Он бросил ее наземь и потащил туда за волосы; отрубил ей на плахе голову, всю ее изрубил на куски — и потекла кровь по полу. Кинул он ее потом в корыто, туда, где лежали и остальные»*[55]. Героиня избегает такой судьбы и даже обретает магическую власть над колдуном, сохранив ключик. Она воскрешает сестер, сложив по кускам их изуродованные тела. Затем прячет обеих в корзину, прикрывает сверху золотом и велит колдуну отнести корзину к ее родителям, пока сама она будет готовиться к свадьбе. Надев свадебные украшения и венок на череп, она выставляет его в окне. Потом, обмазавшись медом и вывалявшись в перьях, превращается в гигантскую птицу. Когда колдун на обратном пути встречает ее, то спрашивает о свадебных приготовлениях. Она отвечает (в стихах), что его невеста убрала дом и теперь сидит в ожидании у окошка. Колдун прибавляет шагу, но, как только он и его приятели собрались к праздничному столу, появляются родные девушки, которые запирают все двери и сжигают дом дотла со всеми его обитателями.

Как упоминалось выше, французские варианты сказки (AT 311 и 312), в том числе предлагаемый Перро, тоже содер-

---

* «Чудо-птица», перевод Г. Петникова.

жат страшные подробности, однако они не идут ни в какое сравнение с ужасами братьев Гримм. В некоторых из них делается акцент на хитрости, помогающей героине спастись, в большинстве же драматический эффект достигается прежде всего за счет тактики проволочек, к которой прибегает девушка, неторопливо облачаясь в свадебный наряд, пока злодей (дьявол, великан, «месье» с синей или зеленой бородой) точит нож, а братья героини мчатся ей на выручку. По сравнению с ними английская версия кажется едва ли не веселой. Сказка «Пирифул» («Peerifool») начинается на манер «Кролика Питера» Беатрисы Поттер — с воровства из огорода капусты, после чего переходит от эпизода к эпизоду, предлагая нашему вниманию загадки и гномов, но отнюдь не разрубленные на куски тела. Заканчивается она чистым и добропорядочным убийством великана (его окатывают кипятком)[56]. Хотя все версии сказки построены по одной схеме, у разных народов она производит совершенно разное впечатление: в итальянских вариантах она комична, в немецких — устрашающа, во французских — драматична, а в английских — забавна.

Разумеется, сказитель мог добиваться самого разного впечатления в зависимости от манеры, в которой преподносил сказку. Нам не дано знать, как двести лет тому назад отзывались на разные версии «Синей Бороды» слушатели в разных уголках Европы. Да если бы это и было известно, нелепо делать выводы о национальном характере, сравнивая разночтения одной-единственной сказки. Зато систематическое сопоставление нескольких сказок поможет нам выделить черты, присущие именно французскому фольклору. Наилучшие результаты дает сопоставление тех вариантов сказок, которые легче других поддаются сравнительному анализу, т.е. французских и немецких. Подробное исследование такого рода, вероятно, растянулось бы на несколько томов, включив в себя множество статистических данных и структурных схем, но выдвинуть некоторые предположения общего характера можно и в рамках одной главы.

Возьмем, к примеру, сказку «Смерть-кума» (AT 332). И французский («La Mort parrain»), и немецкий («Der Gevatter Tod», Гримм 44) ее варианты построены одинаково: а) бедняк выбирает в крестные сыну Смерть; б) Смерть помогает крест-

нику стать знаменитым врачом; в) сын пытается обмануть Смерть и умирает. И у французов, и у немцев отец отказывается от предложения Бога пойти к нему в кумы, объясняя это тем, что Бог отдает предпочтение богатым и влиятельным, тогда как перед Смертью все равны. Подобная непочтительность отрицается в версии братьев Гримм, у которых есть фраза: «Это он говорил потому, что не знал, как премудро распределяет Бог богатство и бедность между людьми»*[57]. Во французской сказке этот вопрос остается открытым, зато далее из нее явствует, что жить обманом очень даже неплохо. Доктор разбогател, поскольку благодаря Смерти умеет безошибочно предсказывать течение болезни: если Смерть стоит у изножья кровати, врач знает, что больной должен умереть; если Смерть появляется в головах, значит, больной выздоровеет и ему следует дать любое псевдолекарство. Однажды врач успешно предсказывает смерть сеньора, и довольные наследники дарят ему за это два крестьянских двора. В другой раз, увидев Смерть в ногах у принцессы, он переворачивает ее головой в другую сторону и таким образом обманывает Смерть. Принцесса выздоравливает, он женится на ней, и они живут счастливо до старости. Однако когда к подобной тактике прибегает немецкий врач, Смерть хватает его за горло и ведет в пещеру со множеством горящих свечей, каждая из которых представляет чью-то жизнь. Видя, что его свеча вот-вот догорит, врач просит надставить ее. Но Смерть гасит свечу, и доктор валится наземь мертвый. Французский герой рано или поздно приходит к тому же концу, но ему удается отсрочить его. По одной из версий, он получает разрешение прочитать «Отче наш» и, оставив молитву недочитанной, добивается того, что Смерть снова продлевает ему жизнь. В конечном счете Смерть настигает его, притворившись трупом, который валяется на обочине дороги, — зрелище, привычное для европейцев раннего Нового времени и вызвавшее привычный отклик: врач бормочет «Отче наш», и таким образом сказка подходит к не самому поучительному концу. Впрочем, она лишний раз доказывает, что никто не может провести смерть, во всяком случае, избегать ее вечно нельзя. И все же своим обманом француз кое-чего добивается.

---

* Перевод под редакцией П.Н. Полевого.

В сказке «Чумазый братец черта» («Le chauffeur du diable», AT 475, «Des Teufels rußiger Bruder», Гримм 100) содержится сходная идея. Она также одинаково построена как во французском, так и в немецком вариантах: а) бедный отставной солдат соглашается поработать на черта, поддерживая огонь под котлами в преисподней; б) ослушавшись повеления черта не заглядывать в котлы, он обнаруживает там своего бывшего офицера (по некоторым версиям — офицеров); в) он покидает ад с волшебным предметом, который, при всей своей неказистости, снабжает солдата достаточным количеством золота, чтобы тот мог безбедно существовать до самой смерти. В немецком варианте сюжет развивается довольно прямолинейно, зато в нем есть причудливые детали, отсутствующие у французов. Принимая солдата на службу, черт ставит ему условие: за все семь лет ни разу не подрезать себе ногти, не стричь волосы и не мыться. Обнаружив в котлах офицеров, солдат подкладывает большие поленья, т.е. разжигает пламя пуще прежнего, за что старый черт прощает ему неповиновение. Солдат без происшествий дослуживает свой срок, с каждым годом становясь все страшнее на вид. Из преисподней он выбирается похожим на *Struwwelpeter*'а* и называет себя, как велит господин, «Чумазым братцем черта». Его покорность вознаграждается, потому что сор, которым солдат набивает ранец в награду за труды, оборачивается золотом. Когда ранец похищает хозяин гостиницы, в дело вмешивается черт и помогает солдату вернуть золото. А в самом конце отмытый добела и разбогатевший солдат женится на принцессе и получает в наследство королевство.

Во французском варианте сказки в ход пускается обман. Черт завлекает солдата в преисподнюю, притворившись хозяином, который ищет работника на кухню. Увидев, что его бывший капитан варится в котле, солдат сначала подкладывает в огонь побольше дров. Но капитан останавливает его, объяснив, что они находятся в аду, и предлагает способ побега оттуда. Солдату следует притвориться, будто он не понимает своего положения, и потребовать у хозяина расчет на том

* На русском языке этот герой Генриха Гофмана более известен как «Степка-растрепка».

основании, что ему не нравится новая работа. Черт начнет сулить ему золото — обычная уловка для того, чтобы заставить его наклониться над сундуком с монетами, а потом обезглавить, захлопнув крышку. Вместо золота солдату нужно потребовать за труды пару старых чертовых штанов. Хитрость удается: на следующий день солдат уже добирается до постоялого двора и, пошарив в карманах, обнаруживает там полно золота. Однако, пока он спит, хозяйка похищает волшебные штаны да еще кричит, что солдат покушался на ее честь и жизнь, — очередная уловка, на этот раз имеющая целью завладеть золотом и отправить солдата на виселицу. Черт вовремя вмешивается в конфликт, спасая солдата и предъявляя свои права на штаны. Тем временем солдат уже добыл из карманов столько монет, что ему хватает для ухода на покой, а по некоторым версиям — даже для того, чтобы жениться на принцессе. Обводя вокруг пальца обманщиков, он добивается того же результата, какого его германский сородич достигал ценой тяжкого труда, послушания и деградации.

Сказка «Корзина со смоквами»* («Le panier de figues», AT 570, «Der Vogel Greiff»**, Гримм 165) представляет собой еще один пример того, насколько разные идеи могут выражаться одинаковыми по структуре произведениями. А строится эта сказка следующим образом: а) король обещает руку дочери тому, кто принесет самый изысканный фрукт; б) победа в этом состязании достается юному крестьянину, проявившему доброту к волшебному помощнику, с которым ранее плохо обошлись его старшие братья; в) король отказывается выдать за него принцессу и дает герою множество невыполнимых заданий; г) благодаря волшебному помощнику герой справляется с заданиями и, преодолев сопротивление короля, женится на принцессе. Героем немецкой сказки выступает добродушный простак, дурачина Ганс. Он выполняет задания в окружении сверхъестественных существ и удивительных предметов — тут и лодка, летающая по воздуху, и волшебный свисток, и отвратительный Гриф, и замки, и гномы, и попавшие в беду

* Один из вариантов этого сюжета переводился у нас под названием «Волшебный свисток и золотые яблоки».

** «Гриф-птица».

девицы. Хотя изредка у Ганса и появляются проблески разума, он спасается от погибели и завоевывает свою королевну только потому, что слушается волшебного помощника — и держит нос по ветру.

Соответствующий ему французский герой, Бенуа, живет собственным умом в бесцеремонном мире, в котором либо ты надуваешь других, либо они надувают тебя. Король защищает дочь, словно крестьянин, сражающийся за свою усадьбу, т.е. прибегая к одной хитрости за другой. Как и в немецкой сказке, он соглашается отдать принцессу в жены, только если герой сумеет пасти стадо зайцев, не давая им разбежаться; и Бенуа справляется с этим благодаря волшебному свистку, которым созывает зайцев вместе, как бы далеко они ни разбежались. Но король не посылает Бенуа за людоедом-грифоном, а пытается всячески отделить какого-нибудь зайца от стаи. Переодевшись крестьянином, он предлагает Бенуа хорошую цену за одного из них. Пастух разгадывает королевскую уловку и пользуется возможностью отыграться. Он объявляет, что продаст зайца при одном условии: чтобы король спустил штаны и подвергся порке. Тот соглашается, однако заяц сбегает от него, стоит только Бенуа свистнуть в свой свисток. Тогда к хитрости прибегает королева — и подвергается такому же обращению... хотя по другой версии ее заставляют ходить колесом, выставляя напоказ голую задницу. Потом наступает очередь принцессы, которой приходится поцеловать героя... или же, в некоторых случаях, поцеловать осла, да еще под хвост. Отбить зайца от стада не удается, и все же король не уступает. Он обещает расстаться с дочерью, если Бенуа наполнит ему три мешка правдой. Вокруг сгрудились придворные, и Бенуа *sotto voce** выкладывает свою первую правду: «Разве это не правда, сир, что я отхлестал вас по голому заду?» Король попался в ловушку. Будучи не в силах выслушивать следующие две правды, он наконец соглашается отдать принцессу. Волшебные предметы и помощники отброшены в сторону. Единоборство происходит на приземленном уровне, *terre à terre*, в реальном мире, где правят бал власть, коварство и спесь. И тут слабые добиваются победы единственным своим оружием:

* Вполголоса (*ит.*).

хитростью. Сказка стравливает одних ловкачей с другими, менее ловкими. Как выразился один народный сказитель, «на всякого хитреца найдется хитрый вдвойне» [58].

Эта формула едва ли отдает должное всему разнообразию мотивов, которое обнаруживается при более скрупулезном сравнении французских сказок с немецкими. Разумеется, у братьев Гримм тоже можно найти сообразительных бедняков и прочих обездоленных, а у Деларю и Тенез — волшебные мотивы, особенно в сказках из Бретани или Эльзас-Лотарингии. Некоторые французские сказки вообще почти не отличаются от своих собратьев из сборника Гриммов [59]. Но, с учетом всех исключений и сложностей сравнения, можно сказать, что различия между двумя устными традициями следуют определенным закономерностям. Крестьянские сказители брали одни и те же темы и поворачивали их по-своему, французы на один лад, немцы — на другой. Если французские сказки обычно реалистичны, приземлены, непристойны и смешны, то немецкие тяготеют к показу сверхъестественного, к поэтичности, экстравагантности и насилию. Естественно, культурные различия не могут быть сведены к формуле «французское хитроумие против германской жестокости», однако сравнение позволяет выявить отклонения, специфические для французов, а их способ устного повествования, в свою очередь, дает ключ к пониманию менталитета.

* * *

Обратимся к последнему сравнению. Как упоминалось выше, в сказке «Прекрасная Евлалия» (AT 313) дочь дьявола делает говорящие пироги и, чтобы прикрыть собственное бегство, прячет один под своей подушкой, а другой — под подушкой возлюбленного, отставного солдата, который нашел приют у них в доме. Заподозрив неладное, жена дьявола пристает к нему, чтобы он встал и проверил, на месте ли молодые люди. Но он лишь окликает их с кровати и принимается храпеть дальше, получив успокоительные ответы от пирогов, тогда как влюбленная пара продолжает мчаться прочь, к спасению. В соответствующей сказке братьев Гримм, «Милый Роланд» («Der liebste Roland», Гримм 56), ведьма, пытаясь однажды ночью отделаться от падчерицы, по ошибке обезг-

лавливает родную дочь. Падчерица капает кровью из отрубленной головы в нескольких местах дома, а затем убегает со своим возлюбленным. В этом случае на ведьмины вопросы отвечают капли крови.

Хорошая дочка из сказки «Волшебницы» («Les fées», AT 480), которая с готовностью выбирает вшей у встреченной возле колодца незнакомой женщины, находит у той в волосах золотой луидор и становится красавицей, а плохая дочь находит одних только вшей и делается уродиной. В «Госпоже Метелице» («Frau Holle», Гримм 24) хорошая дочь, прыгнув в колодец, попадает в волшебную страну, где поступает в работницы к такой же старухе. Когда девушка взбивает перину, на земле начинает идти снег. А когда она получает вознаграждение за труды, на нее проливается золотой дождь и все золото прилипает к девушке, отчего она делается еще пригожее. Плохая дочка исполняет работу небрежно, а потому на нее проливается черная смола.

Французская Рапунцель по имени Персинетта («Persinette», AT 310) спускает вниз волосы, чтобы по ним мог взобраться на башню принц. Она скрывает его от феи, которая держит ее взаперти, и придумывает гротескные способы для опровержения слов попугая, который раз за разом выдает влюбленных. (По одной из версий, Персинетта с принцем даже зашивают попугаю задницу, так что ему остается только кричать: «Попка зашита, попка зашита!» [60]) В конце концов влюбленной паре удается бежать, но фея наколдовывает Персинетте ослиный нос, чем сильно подрывает ее положение при дворе. Впрочем, потом, смилостивившись, она возвращает девушке былую красоту. В немецкой «Рапунцель» (Гримм 12) колдунья разлучает влюбленных, отрезав косы девушки и изгнав ее в лесную чащу, а королевича вынудив спрыгнуть с башни в кустарник, шипы которого ослепляют его. Несколько лет он блуждает по лесам и полям, пока не натыкается на Рапунцель: ее слезы, окропив ему глаза, помогают ему прозреть.

Поделившись едой с переодетой в нищенку феей, бедный мальчик-пастух из сказки «Три дара» («Les trois dons», AT 592) получает в награду исполнение трех желаний: теперь он может попасть из лука в любую птицу, заставить кого угодно плясать под свою дудку и отомстить злой мачехе, которая будет

пукать всякий раз, как он чихнет. И вот эта старуха начинает целыми днями пукать: дома, на вечерних посиделках в гостях и даже на воскресной службе в церкви. Священник вынужден прогнать ее из храма, иначе она не дает ему завершить проповедь. Впоследствии, когда женщина объясняет кюре свои трудности, тот пробует выведать у пастуха его секрет. Но мальчишка оказывается хитрее: он подбивает из лука птицу и просит кюре принести ее. Когда же тот хочет выхватить птицу из колючего куста, маленький пастух принимается играть на дудке. Кюре поневоле пускается в пляс и пляшет до тех пор, пока его сутана не рвется в клочья, а сам он не лишается сил. Придя в себя, священник задумывает отомстить мальчишке, обвинив его в колдовстве, но пастух заставляет и судейских так неистово плясать, что они отпускают его на все четыре стороны. Герой сказки «Еврей в терновнике» («Der Jude im Dorn», Гримм 110) — слуга, который отдает свое скудное жалованье карлику, получая взамен ружье, бьющее без промаха, скрипку, от звуков которой все пускаются в пляс, и возможность один раз высказать просьбу, в которой ему нельзя будет отказать. Однажды он встречает еврея, слушающего пение птички. Герой подстреливает птицу, велит еврею принести ее из куста терновника, а потом принимается так наяривать на своей скрипке, что еврей чуть не погибает от шипов и откупается только кошельком с золотыми монетами. Потом еврей добивается возмездия, обвинив слугу в разбойном нападении. Героя вот-вот повесят, но он просит исполнить его последнюю просьбу: дать ему скрипку. Вскоре все бешено танцуют вокруг виселицы. Измученный пляской судья освобождает слугу и вешает вместо него еврея.

Было бы некорректно использовать эту сказку как доказательство того, что во Франции господствовал антиклерикализм, а в Германии ему соответствовал антисемитизм[61]. Сравнение сказок не дает оснований для столь конкретных выводов, зато оно позволяет выявить специфический дух французских сказок. В отличие от немецких, в них присутствует некоторая «соленость». Они пахнут землей. Их действие происходит в сугубо человеческом обществе, где пуканье, выбирание вшей, валяние в сене и набрасывание навозной кучи выражают страсти, ценности, интересы и отноше-

ния ушедшего в прошлое крестьянского сообщества. Если такая гипотеза верна, вероятно, можно попытаться представить себе, какое значение имели народные сказки для самих сказителей и их слушателей. Я хотел бы выдвинуть два предположения: сказки объясняли крестьянам устройство мира и подсказывали способы выживания в нем.

* * *

Не пускаясь в проповеди и не читая морали, французские сказки демонстрируют жестокость и опасность окружающего мира. Хотя большинство их не предназначалось специально детям, сказки чаще всего предостерегают. Они обставляют поиски счастья предупредительными табличками типа «Осторожно!», «Не торопись!», «Впереди опасность!», «Стоп!». Впрочем, в некоторых из них содержится и положительный заряд. Они доказывают, что доброта, честность и мужество вознаграждаются. Но они не вселяют особых надежд на то, что столь же действенно проявлять любовь к врагам и подставлять другую щеку. Более того, они доказывают, что, как ни похвально бывает поделиться хлебом с нищими, не стоит доверять каждому встречному-поперечному. Если одни прохожие оборачиваются принцем или доброй феей, то другие могут оказаться волком или ведьмой, причем отличить их практически невозможно. Волшебные помощники, которых подбирает в своих странствиях Медвежий Жан (AT 301), наделены не менее сверхъестественными способностями, чем персонажи сказок «Колдун о трех кушаках» («Le sorcier aux trois ceintures», AT 329) или «Бесподобный корабль» (AT 513), но они пытаются убить главного героя в том месте сюжета, где последние приходят ему на выручку.

Как бы поучительны ни были в своих поступках герои сказок, они живут в мире, который кажется нам безнравственным и полным произвола. В «Двух горбунах» («Les deux bossus», AT 503) один горбун встречает ведьм, которые танцуют, напевая: «Понедельник, вторник и среда. Понедельник, вторник и среда». Присоединившись к их хору, горбун добавляет в песенку «и еще четверг». Обрадованные нововведением ведьмы вознаграждают горбуна тем, что освобождают его от уродства. Второй горбун прибегает к тому же приему, добав-

ляя «и еще пятница». «Нет, так дело не пойдет», — заявляет одна ведьма. «Ни в коем случае», — подхватывает другая. Ведьмы наказывают его, водрузив ему на спину горб, снятый с первого. Не вынеся бремени двойного увечья и насмешек односельчан, горбун вскоре умирает. В таком мире нет ни малейших закономерностей. Несчастье настигает человека чисто случайно. Как «черную смерть», его нельзя ни объяснить, ни предсказать, а следует просто терпеть. Свыше половины из 35 зафиксированных вариантов «Красной Шапочки» оканчиваются тем же, чем приведенный выше текст: волк съедает девочку. А ведь она ничем не заслужила подобную судьбу — в отличие от версий Перро или братьев Гримм, девочка не ослушалась матери и не закрыла глаза на нравственные требования, имплицитно существующие в окружающем мире. Она просто шагнула навстречу смерти. И трогательность сказкам придает именно непостижимость и неумолимость беды, а вовсе не счастливые концовки, которые им зачастую прибавляли после XVIII века.

Поскольку разглядеть в этом мире правящую им мораль не представляется возможным, хорошее поведение отнюдь не гарантирует успеха ни в деревенской жизни, ни в странствиях по дорогам — во всяком случае, во Франции, где место немецкого благочестия занимает хитроумие. Конечно, за хороший поступок герой часто получает в награду волшебного помощника, но принцессу он завоевывает собственным умом, причем иногда добивается этого весьма неэтичным образом. Герой сказки «Верный слуга» («Le fidèle serviteur», AT 516) сбегает вместе с принцессой только потому, что отказывает в помощи нищему, который тонет в озере. При этом в сказке «Человек, который не хотел умирать» («L'homme qui ne voulait pas mourir», AT 470B) Смерть настигает героя из-за того, что он останавливается помочь застрявшему в грязи возчику с фургоном. А в некоторых версиях «Чумазого братца черта» (AT 475) герой или героиня (иногда это бывает не отставной солдат, а служанка) избегают опасности до тех пор, пока умудряются нанизывать одну ложь на другую. Стоит им хоть раз сказать правду — и дело идет прахом. Сказки не отстаивают безнравственности, но они подрывают идею о том, что доб-

родетель будет вознаграждена, и подсказывают, что жизнь может строиться исключительно на недоверии ко всем и вся.

Судя по сказкам, деревенская жизнь отвратительна в первую очередь из-за этого. Соседи почти наверняка относятся к вам враждебно (AT 162) и могут оказаться ведьмами (AT 709). Они следят за вами и непременно залезают к вам в сад, как бы вы ни были бедны (AT 330). Нельзя обсуждать в их присутствии свои дела и тем более делиться с ними радостью, если на вас каким-либо магическим образом свалится богатство: они постараются стащить ваше приобретение, а в случае неудачи ославят вас вором (AT 563). В сказке «Кукла» («La poupée», AT 571C) бесхитростная девушка-сирота не соблюдает этих важных правил. Ей дарят волшебную куклу, которая испражняется золотом, стоит только сказать ей: «Ка-ка-ка, моя куколка». Вскоре девушка заводит корову и кур и приглашает в гости соседей. Один из гостей делает вид, будто уснул перед очагом, но стоит только героине лечь спать, как он сбегает, похитив куклу. Правда, когда он произносит волшебные слова, кукла уделывает его настоящим дерьмом, и он выбрасывает ее в навозную кучу. Однажды, когда он сам испражняется на той же куче, кукла поднимает голову и кусает его за зад. Он не может отодрать ее от своей *derrière*, пока не появляется сирота, которая забирает свою собственность и до самой смерти с недоверием относится к людям.

Если мир жесток, деревня отвратительна, а среди людей полно мошенников, как прикажете жить? Сказки не дают четкого ответа на этот вопрос, зато они прекрасно иллюстрируют старинную французскую поговорку «с волками жить, по-волчьи выть» [62]. Мошенничество проходит красной нитью по всем французским сказкам, хотя нередко оно принимает более мягкую и более приемлемую форму трикстерства. Разумеется, трикстеры встречаются в фольклоре повсеместно, в том числе у индейцев равнин и у американских рабов (в сказках про Братца Кролика) [63], но во французской традиции их особенно много. Как указывалось выше, если французская и немецкая сказки следуют одной схеме, то немецкая развивается в сторону сверхъестественного, мистики и насилия, а французская прямиком идет к деревне, где ее герой может применить свои способности для махинаций и козней. Естественно,

герой этот относится к столь распространенной в европейских народных сказках категории обездоленных. Герой (или героиня) непременно будет младшим сыном, падчерицей, брошенным ребенком, бедным пастухом, нищим батраком, притесняемым слугой, учеником чародея или Мальчиком с пальчик. Но эта общая одежка оказывается чисто французского покроя, особенно когда рассказчик облачает в нее любимых героев вроде Крошки Жана, подмастерья вздорного кузнеца, находчивого портного Кадьу или Ла Раме, упрямого и разочарованного солдата, который смелостью и обманом берет не один город во многих сказках. Не отстают от него и смышленый юный рекрут по имени Пипетта, и вереница других персонажей: маленький Луи, Шелудивый Жан, Фанш, Прекрасная Евлалия, Пичен-Пичо, Парль, дядюшка Злосчастье и другие. Иногда сами их имена подсказывают, благодаря каким качествам (обычно связанным с остроумием и коварством) герой успешно проходит через все испытания, отсюда Плут-Малыш (Le Petit Fûteux), Хитрун-Востpушка (Finon-Finette), Не-Мытьем-Так-Катаньем (Parlafine) и Ловкий Вор (Le Rusé Voleur). Оглядываясь на этих персонажей, можно сказать, что из них складывается типичный образ маленького человека, который добивается успеха, обдуривая тех, кто наделен могуществом и властью.

Герои-обманщики явно выигрывают на фоне отрицательного персонажа — глупца. В английских сказках Простофиля Саймон зачастую просто дает повод для невинного смеха. В немецких Ганс-Дурак — симпатичный обормот, который с неизменным добродушием выбирается из самых сложных положений: пусть сам он все безнадежно перепутает, у него непременно найдутся волшебные помощники. Французские сказки не проявляют сочувствия к глупости в любом ее проявлении: ни к деревенским дурачкам, ни к волкам и людоедам, если они не озаботились тем, чтобы съесть свою жертву на месте (AT 112D и AT 162). Глупцы представляют собой противоположность трикстерам; в них олицетворяется простодушие, которое считалось смертельным грехом, поскольку проявлять наивность и простодушие в мире мошенников значило напрашиваться на беду. Не случайно простаки во французских сказках лишь прикидываются таковыми, как, например, Мальчик с пальчик или

Крампуэ (AT 327 и 569), которым этот трюк помогает управляться с жестоким, но, по крайней мере, понятным миром. К такому же приему прибегает Красная Шапочка (та, что без шапочки) в тех вариантах французской сказки, где она ухитряется спастись. «Бабушка, мне нужно выйти оправиться», — говорит она волку, когда тот собирается схватить ее. «Оправляйся тут, милая, прямо в постели», — предлагает он. Но девочка настаивает на своем, и волк отпускает ее во двор, хотя и привязанной за ногу. Там девочка привязывает веревку к дереву, а сама убегает, оставляя волка дергать за нее, пока он, потеряв терпение, не кричит: «Да что ж ты так долго? Или из тебя лезет колбаса длиной с эту веревку?» [64] На самом деле в истинно галльской сказке речь идет прежде всего о воспитании трикстера. Переходя от чистой наивности к притворству, к изображению простодушия, Красная Шапочка попадает в компанию Мальчика с пальчик и Кота в сапогах.

Помимо хитроумия, этих героев объединяет слабость, тогда как их противники отличаются не только тупостью, но еще и силой. Трикстерство всегда выставляет маленьких против больших, бедных против богатых, бесправных против власть имущих. При таком построении сюжетов (даже без четких указаний социального характера) устное повествование подсказывало крестьянину дореволюционной Франции, как следует обращаться с врагами. Опять-таки необходимо подчеркнуть, что тема победы слабого над сильным не была новой или необычной. Она восходит, в частности, к противоборству Одиссея с циклопами и торжеству Давида над Голиафом, она же четко прослеживается в мотиве «умной девицы» немецких сказок [65]. Главное здесь не новизна темы, а ее значимость, то, какое место она занимает в сказке и как обыгрывается самим повествованием. Во французском фольклоре обездоленные побеждают сильных и влиятельных весьма практично и в сугубо земной обстановке. Они не убивают великанов в некоей фантастической стране, пусть даже до нее можно добраться по бобовому стеблю. Великан из сказки «Медвежий Жан» (AT 301) — типичный *le bourgois de la maison* [66], который живет в обычном доме, похожем на дом зажиточного крестьянина. Людоед из «Сказки о Парле» («Le conte de Parle», AT 328) — просто-напросто огромный *coq du village*, который при появле-

нии главного героя, прибывшего облапошить его, «ужинает с женой и дочерью»[67]. Великан в «Неверной сестре» («La soeur infidèle», AT 315) — противный мельник, великаны в «Ловком охотнике» («Le chasseur adroit», AT 304) — обыкновенные разбойники, а в «Дикаре» («L'homme sauvage», AT 502) и «Маленьком кузнеце» (AT 317) — деспоты-землевладельцы, с которыми герой вступает в спор о правах выпаса и которых затем сражает. Не требовалось особого полета воображения, чтобы представить их себе в виде реальных тиранов — разбойников, мельников, управляющих имениями или их владельцев, которые отравляли жизнь крестьянам.

Некоторые сказки не скрывают подобных ассоциаций. «Козерог» («Le capricorne», AT 571) берет тему «Золотого гуся» в том виде, в каком она встречается у братьев Гримм (№ 64), и трансформирует ее в бурлескный выпад против богатых и влиятельных людей деревни. Мало того, что бедному кузнецу наставляет рога кюре, его еще преследует местный сеньор. По наущению пастыря сеньор дает кузнецу невыполнимые поручения, чтобы тот не мешал святому отцу развлекаться с его женой. Благодаря помощи феи кузнец дважды справляется с поручениями, но в третий раз, когда феодал велит ему добыть «козерога», кузнец даже не представляет себе, что это такое. Фея подсказывает ему, что надо проделать дырку в полу чердака и крикнуть «Не отпускай!». Сначала он видит в дырку служанку, которая, зажав в зубах подол ночной рубахи, выбирает блох у себя на лобке. Крик кузнеца застает служанку в ту минуту, когда хозяйка велит ей притащить горшок, поскольку священнику понадобилось облегчиться. Чтобы скрыть свою наготу, девушка подает горшок хозяйке, идя задом наперед, и они вдвоем держат его перед кюре, когда второй вопль «Не отпускай!» склеивает вместе всех троих. На утро кузнец кнутом выгоняет троицу из дома, а на улице — с помощью хорошо рассчитанных новых криков — прилепляет к ней целый хвост деревенских жителей. Пригнав эту вереницу к усадьбе феодала, кузнец докладывает: «Вот вам ваш козерог, господин». Сеньор платит кузнецу за труды, после чего все отлипают друг от друга.

Якобинец вполне мог бы преподнести эту историю так, чтобы она запахла порохом. И все же, как ни мало в ней

уважения к привилегированным слоям общества, крестьянин мстит обидчикам лишь тем, что обводит их вокруг пальца. Герой довольствуется их унижением и не помышляет о революции. Выставив влиятельных людей деревни на посмешище, он отпускает их, позволяя занять прежние места, а сам возвращается на свое, как невыгодна для него ни была бы эта позиция. Вызов, который бросают власть имущим герои других французских сказок, ни в коем случае не идет дальше социального комментария. Когда Шелудивый Жан (AT 314) берет верх над королем и двумя заносчивыми принцами, он заставляет их съесть чисто крестьянский ужин — вареную картошку с черным хлебом; добившись принцессы, он занимает свое законное место наследника престола. Ла Раме завоевывает принцессу в состязании с другими, показав ей блошиный цирк и тем вынудив рассмеяться (AT 559). Король, которому невыносима мысль о нищем бродяге у него в зятьях, отступается от своего слова и хочет навязать дочери в мужья придворного. В конце концов дело предлагают решить самой невесте: она должна разделить постель с обоими претендентами, а потом выбрать из них более достойного. Ла Раме побеждает и в этом состязании, подсунув сопернику в задницу блоху.

Возможно, непристойные подробности сказок и вызывали у многих слушателей XVIII века утробный смех, однако внушали ли они крестьянину непоколебимую готовность к ниспровержению общественного строя? Едва ли. Есть все же некоторая дистанция между скабрезной шуткой и революцией, между крепким галльским словцом и Жакерией. В сказке «Как Жан Киот женился на Жаклин» (AT 593) — очередной вариации на извечную тему встречи обездоленного юноши с высокопоставленной девицей — бедного крестьянина по имени Жан Киот выгоняют из дома, когда он просит руки возлюбленной у ее отца, типичного *fermier*, т.е. зажиточного крестьянина, которые во Франции XVIII века помыкали бедняками (тем более в Пикардии, где в 1881 году и был записан этот сюжет). Жан Киот обращается за советом к местной колдунье, которая дает ему горсть волшебного козьего помета и велит закопать его в золу богатеевой печки. Пытаясь разжечь огонь,

дочь богача дует в печку — и вдруг оглушительно пукает. То же самое происходит с матерью, потом с отцом и, наконец, со священником, который издает целые рулады малопристойных звуков, кропя печку святой водой и бормоча латинские заклинания, чтобы изгнать беса. Все продолжают пукать до бесконечности, отчего жизнь в доме становится совершенно невыносимой... Можно себе представить, как фыркал через каждые несколько слов крестьянин-рассказчик, прерывая тем самым свой импровизированный диалог... Жан Киот обещает избавить семейство от напасти, если девушку отдадут ему в жены, и, потихоньку вынув из печки козий помет, добивается своей Жаклин.

Несомненно, крестьяне получали удовольствие, если им удавалось облапошить богатых и влиятельных в фантазиях, как они старались перехитрить их в повседневной жизни — возбуждая против них жалобы, обманывая с уплатой манориальных сборов и занимаясь браконьерством на их землях. Возможно, они одобрительно похохатывали, когда в «Трех пряхах» (AT 501) обездоленному собрату удавалось сбагрить свою никчёмную дочь королю, когда он подвергал короля порке в «Корзине со смоквами» (AT 570), когда заставлял его служить перевозчиком у черта, как в сказке «Сын дровосечихи»* (AT 461), или не спускал его с крыши замка, пока тот не согласится расстаться с принцессой, как в «Гигантском зубе» («La grande dent», AT 562). И все же не стоит искать в этих сюжетах заразу республиканства. Мечтать о том, чтобы огорошить короля женитьбой на его дочери, не значило бросать вызов основам монархического строя.

При анализе сказок как фантазий на тему обмена ролями прежде всего бросается в глаза мотив унижения. Умный «слабак» одурачивает сильного угнетателя, поднимая его на смех, чаще всего с помощью какого-либо непристойного приема — например, когда выставляет короля на посмешище с голой задницей. Но смех, даже раблезианский смех, имеет свои пределы. Когда он умолкает, все возвращается на круги своя: как в календаре за карнавалом неизменно следует Великий пост,

* У нас сходный сюжет известен по сказке братьев Гримм «Черт с тремя золотыми волосами».

так и здесь стороны снова меняются ролями и весельчаки вынуждены подчиниться заведенному порядку. Трикстерство напоминает операцию по захвату рубежа. Оно дает слабому шанс обрести временное преимущество, играя на тщеславии и глупости тех, кто стоит выше него. Но трикстер действует в рамках системы, обращая себе на пользу ее недостатки и таким образом в конечном счете подтверждая ее незыблемость. Более того, на его пути всегда может попасться еще более хитроумный человек, даже из богатых и вдиятельных. Обманутый трикстер свидетельствует о тщетности надежд на окончательную победу.

Значит, трикстерство выражало не столько латентный, подспудный радикализм, сколько ориентацию на общество. Оно подсказывало не формулу свержения существующего порядка, а способ выживания в жестоком мире. Обратимся к еще одной сказке из сборника Деларю и Тенез, «Дьявол и кузнец» (AT 330), одной из самых хитроумных во всем французском фольклоре. Кузнец не отказывает в еде и крове ни одному нищему, который стучится к нему в дверь, хотя им движут отнюдь не религиозные чувства, поскольку «веры у него было не больше, чем у собаки» [68]. Вскоре он сам вынужден пойти по миру, но выпутывается из положения, продав душу дьяволу и получив взамен семь лет безбедной жизни в кузне. Когда он снова начинает проявлять безудержную щедрость, его под видом нищих посещают Иисус Христос и святой Петр. Кузнец сытно кормит их, одевает в чистое и укладывает спать. В награду Иисус обещает ему исполнение трех желаний. Святой Петр советует кузнецу попроситься в рай, но тот желает самых дурацких вещей, которые варьируются в зависимости от разных версий сказки: он хочет сытной еды (в привычном наборе – сухари, колбаса и побольше вина), хочет, чтобы его колода карт всегда выигрывала, чтобы от звуков его скрипки все пускались в пляс, чтобы в мешке у него всегда появлялось загаданное им и, в большинстве вариантов, чтобы любой, кто сядет на его скамью, прилипал к ней. Когда по истечении семи лет за ним является посланец дьявола, кузнец по обыкновению проявляет себя хлебосольным хозяином, а потом держит посланца приклеенным к скамье до тех пор, пока тот

дочь богача дует в печку — и вдруг оглушительно пукает. То же самое происходит с матерью, потом с отцом и, наконец, со священником, который издает целые рулады малопристойных звуков, кропя печку святой водой и бормоча латинские заклинания, чтобы изгнать беса. Все продолжают пукать до бесконечности, отчего жизнь в доме становится совершенно невыносимой... Можно себе представить, как фыркал через каждые несколько слов крестьянин-рассказчик, прерывая тем самым свой импровизированный диалог... Жан Киот обещает избавить семейство от напасти, если девушку отдадут ему в жены, и, потихоньку вынув из печки козий помет, добивается своей Жаклин.

Несомненно, крестьяне получали удовольствие, если им удавалось облапошить богатых и влиятельных в фантазиях, как они старались перехитрить их в повседневной жизни — возбуждая против них жалобы, обманывая с уплатой манориальных сборов и занимаясь браконьерством на их землях. Возможно, они одобрительно похохатывали, когда в «Трех пряхах» (AT 501) обездоленному собрату удавалось сбагрить свою никчёмную дочь королю, когда он подвергал короля порке в «Корзине со смоквами» (AT 570), когда заставлял его служить перевозчиком у черта, как в сказке «Сын дровосечихи»* (AT 461), или не спускал его с крыши замка, пока тот не согласится расстаться с принцессой, как в «Гигантском зубе» («La grande dent», AT 562). И все же не стоит искать в этих сюжетах заразу республиканства. Мечтать о том, чтобы огорошить короля женитьбой на его дочери, не значило бросать вызов основам монархического строя.

При анализе сказок как фантазий на тему обмена ролями прежде всего бросается в глаза мотив унижения. Умный «слабак» одурачивает сильного угнетателя, поднимая его на смех, чаще всего с помощью какого-либо непристойного приема — например, когда выставляет короля на посмешище с голой задницей. Но смех, даже раблезианский смех, имеет свои пределы. Когда он умолкает, все возвращается на круги своя: как в календаре за карнавалом неизменно следует Великий пост,

* У нас сходный сюжет известен по сказке братьев Гримм «Черт с тремя золотыми волосами».

так и здесь стороны снова меняются ролями и весельчаки вынуждены подчиниться заведенному порядку. Трикстерство напоминает операцию по захвату рубежа. Оно дает слабому шанс обрести временное преимущество, играя на тщеславии и глупости тех, кто стоит выше него. Но трикстер действует в рамках системы, обращая себе на пользу ее недостатки и таким образом в конечном счете подтверждая ее незыблемость. Более того, на его пути всегда может попасться еще более хитроумный человек, даже из богатых и вдиятельных. Обманутый трикстер свидетельствует о тщетности надежд на окончательную победу.

Значит, трикстерство выражало не столько латентный, подспудный радикализм, сколько ориентацию на общество. Оно подсказывало не формулу свержения существующего порядка, а способ выживания в жестоком мире. Обратимся к еще одной сказке из сборника Деларю и Тенез, «Дьявол и кузнец» (AT 330), одной из самых хитроумных во всем французском фольклоре. Кузнец не отказывает в еде и крове ни одному нищему, который стучится к нему в дверь, хотя им движут отнюдь не религиозные чувства, поскольку «веры у него было не больше, чем у собаки» [68]. Вскоре он сам вынужден пойти по миру, но выпутывается из положения, продав душу дьяволу и получив взамен семь лет безбедной жизни в кузне. Когда он снова начинает проявлять безудержную щедрость, его под видом нищих посещают Иисус Христос и святой Петр. Кузнец сытно кормит их, одевает в чистое и укладывает спать. В награду Иисус обещает ему исполнение трех желаний. Святой Петр советует кузнецу попроситься в рай, но тот желает самых дурацких вещей, которые варьируются в зависимости от разных версий сказки: он хочет сытной еды (в привычном наборе — сухари, колбаса и побольше вина), хочет, чтобы его колода карт всегда выигрывала, чтобы от звуков его скрипки все пускались в пляс, чтобы в мешке у него всегда появлялось загаданное им и, в большинстве вариантов, чтобы любой, кто сядет на его скамью, прилипал к ней. Когда по истечении семи лет за ним является посланец дьявола, кузнец по обыкновению проявляет себя хлебосольным хозяином, а потом держит посланца приклеенным к скамье до тех пор, пока тот

не дает ему отсрочку еще на семь лет. По прошествии и этого срока кузнец загадывает, чтобы следующий гонец от дьявола очутился у него в мешке, и охаживает его на наковальне, пока не получает новой отсрочки. Наконец, еще через семь лет, кузнец соглашается пойти в ад, однако перепуганные черти отказываются впустить его или, согласно другим версиям, он обыгрывает их в карты и таким образом добивается свободы. И вот он, во главе других обреченных душ (которых он тоже выиграл в карты у чертей), предстает перед небесными вратами. Святой Петр не хочет иметь с кузнецом дела из-за его нечестивости, но тот берется за скрипку и заставляет апостола плясать, так что ему приходится сменить гнев на милость... или, по другим вариантам, перебрасывает мешок через ворота и загадывает желание очутиться в нем самому. Затем кузнец (в некоторых версиях сказки) играет в карты с ангелами и добивается для себя восхождения по лестнице небесной иерархии: сначала перемещается из угла залы поближе к огню, далее в кресло и, наконец, оказывается рядом с Богом Отцом. Разумеется, на небе царит такое же расслоение общества, как при дворе Людовика XIV, и туда, как и ко двору, можно просочиться обманным путем. Обман вообще служит прекрасной жизненной стратегией. Более того, это единственная стратегия, доступная «маленьким людям», которым приходится смиряться с существующим порядком вещей и по возможности использовать его. Лучше жить, как кузнец, и, по крайней мере, не страдать от голода, чем беспокоиться о спасении души и справедливости мироустройства. В отличие от немецкой версии сказки (Гримм 81), в которой полно набожности и почти нет хитроумных трюков, французская сказка воспевает трикстера как социальный тип и подсказывает желающему слышать, что трикстерство следует применять на практике, что в жестоком и непостижимом мире оно должно стать по меньшей мере образом жизни.

* * *

Мораль многих сказок стала во Франции провербиальной мудростью, и англосаксу чудится в этих поговорках нечто сугубо французское[69].

[Дьявол и ведьма]. — Ил. в кн.: Hauber E. Bibliotheca acta et scripta magica... — St. 32.– S.l., 1743

A rusé, rusé et demi. — На всякого хитреца найдется хитрый вдвойне*. (Нашел черт на дьявола.)

A bon chat, bon rat. — На умного кота и умная крыса найдется. (Нашла коса на камень.)

Au pauvre, la besace. — Бедняку — нищенскую суму.

On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. — Не разбивши яиц, яичницы не сделаешь. (Лес рубят — щепки летят.)

Ventre affamé n'a point d'oreilles. — У голодного брюха нет ушей. (Соловья баснями не кормят.)

La où la chèvre est attachée, it faut qu'elle broute. — Где козу привязали, там ей и пастись. (Всяк сверчок знай свой шесток.)

Ce n'est pas de sa faute, si les grenouilles n'ont pas de queue. — Он не виноват, что у лягушек нет хвостов.

Il faut que tout le monde vive, larrons et autres. — Всем надо жить, мошенникам тоже. (Живи сам и давай жить другим.)

Сказители-крестьяне не формулировали морали и не употребляли подобных выражений, они просто рассказывали сказки. Но эти сказки пополнили тот набор образов, пословиц и стереотипов, которые отличаются чисто французской спецификой. Понятие «французской специфики» (или «французскости», «французского духа») может показаться слишком расплывчатым. Оно действительно напоминает нечто сходное с *Volksgeist* (духом народа), понятием, которое стало дурно пахнуть с 30-х годов нашего века, когда этнография была заражена расизмом. Тем не менее эта идея, несмотря на свою расплывчатость и прошлые злоупотребления ею, имеет право на существование. «Французский дух» — отнюдь не выдумка. Даже некоторая неуклюжесть в переводах пословиц свидетельствует о своеобразном стиле этой культуры, которая отражает специфический взгляд на мир — ощущение трудности жизни, того, что лучше не питать надежд на бескорыстие сограждан, что для защиты той малости, какой ты можешь добиться от окружающего мира, необходимы трезвый ум и сообразительность и, наконец, что моральная чистоплотность никуда тебя не приведет. «Французскость» означает ироническое отстранение. Она тяготеет к отрицательности и к освобождению от

* Пословицы намеренно переведены близко к французскому оригиналу. Для некоторых из них в скобках даются русские выражения со сходным смыслом.

иллюзий. В отличие от ее англосаксонской противоположности, протестантской этики, она не предлагает формулы завоевания мира. Это защитная стратегия, которая как нельзя лучше подходит для покоренной страны или угнетенного крестьянства и которая до сих пор слышна в обиходной речи, например, когда люди обмениваются репликами типа: «Comment vas-tu?» («Как поживаешь?») — «Je me défends» (*букв.* «Защищаюсь»).

Как выкристаллизовывалось это общефранцузское наследие? Пример Перро совершенно очевидно свидетельствует о том, насколько это был сложный процесс[70]. Прежде всего сам Перро казался человеком, которого едва ли могут заинтересовать народные сказки. Придворный, сознательный предводитель группы так называемых «современных» писателей, творец авторитарной культурной политики Кольбера и Людовика XIV, он не питал симпатии ни к крестьянам, ни к их архаичной культуре. Однако же он выбирал фольклорные сюжеты и адаптировал их, подлаживаясь под вкус рафинированных завсегдатаев салонов. Из «Красной Шапочки» были безжалостно выкинуты бессмыслицы вроде тропинок «с иголками и булавками»*, а также каннибализм по отношению к бабушке. Тем не менее сказка в значительной степени сохранила свой первоначальный дух. В отличие от г-жи д'Онуа, г-жи де Мюрат и прочих из тех, кто задавал тон увлечению сказками в эпоху Людовика XIV, Перро не отклонялся от сюжетной линии оригинала и не искажал простоты и заземленности устного повествования «облагороженными» подробностями. Он выступал в роли *conteur doué* (талантливого рассказчика) для своей среды — только не сидя у костра в Амазонии или Новой Гвинее, а служа при королевском дворе. За две тысячи шестьсот лет до него, вероятно, так же обрабатывал свой материал Гомер, а двумя столетиями позже этим занимались Жид и Камю.

И все-таки, хотя у Перро было много общего с другими сочинителями, приспосабливавшими известные сюжеты к определенному читателю, он стоит особняком в истории французской литературы благодаря уникальному соприкос-

* См. подстрочное примеч. на с. 13.

новению, которое при его участии произошло между внешне разобщенными культурными мирами элиты и народа. Как именно случилось такое соприкосновение, остается невыясненным, но не исключено, что его обстоятельства напоминают сцену, изображенную на фронтисписе первого издания сказок Перро, где трое хорошо одетых детей, затаив дыхание, слушают старуху, которая, не прекращая работы, что-то рассказывает им (по-видимому, дело происходит на половине прислуги). Надпись над ее головой гласит «Сказки моей матушки Гусыни», в коем названии, вероятно, содержится намек на курино-гусиное гоготанье, которое напоминают все бабушкины сказки. По утверждению Марка Сориано, при подобных обстоятельствах со сказками познакомился сын Перро, а отец впоследствии обработал их. Однако в сходной обстановке их, возможно, слушали и сам Перро, и большинство людей его круга, ведь все благородное сословие росло с кормилицами и няньками, которые убаюкивали своих воспитанников народными песнями и развлекали их, когда они научатся говорить, «историями или сказками былых времен» (*histoires ou contes du temps passé*), как назвал их на титульном листе Перро, — иначе говоря, бабушкиными сказками. Если вечерние посиделки способствовали продолжению фольклорной традиции в деревне, то слуги и кормилицы были связующим звеном между культурой народа и культурой знати. Эти две культуры были взаимосвязаны даже в «великий век», когда, на первый взгляд, между ними было меньше всего общего: будущие зрители Расина и слушатели Люлли впитывали фольклор буквально с молоком.

Более того, сказки в версии Перро возвращались в народную культуру через так называемую «Голубую библиотеку», дешевые издания в бумажной обложке, которые в деревнях, если находился грамотный, читали вслух на посиделках. В этих небольших голубых книжицах можно было встретить не только Спящую красавицу или Красную Шапочку; там были и Гаргантюа, и Фортунат, и Роберт Дьявол, и Жан де Кале, и четыре сына Эма из одноименной героической поэмы*, и

* Такой перевод точнее общепринятого «Четыре сына Эмона». Этот эпос известен также под названием «Рено де Монтобан».

Волшебник Можис из того же эпоса, и многие другие фольклорные герои, которые не упоминаются у Перро. Было бы ошибочно отождествлять его жалкую «Матушку Гусыню» со всей сокровищницей устного народного творчества во Франции раннего Нового времени, однако их сопоставление демонстрирует, насколько неверно представлять себе культурный обмен в виде линейного процесса, в виде просачивания великих идей сверху вниз. Культурные течения перемешивались, направляясь и сверху вниз, и снизу вверх, они шли разными путями и связывали разные слои населения, в том числе столь далеко отстоящие друг от друга, как крестьянство и салонные интеллектуалы[71].

Нельзя сказать, чтобы эти слои жили в совершенно разных духовных мирах. У них было много общего — прежде всего, общая сокровищница сказок. Несмотря на социальные и географические различия, игравшие важную роль во французском обществе дореволюционного периода, в сказках отражались особенности характера, ценности, социальные установки и способы построения мировоззрения, характерные именно для французов. Настаивать на «французскости» сказок не значит впасть в романтическое восхваление национального духа, скорее это значит признать существование особого французского стиля культуры, который отличал французов (или, по крайней мере, большинство из них, поскольку следует делать поправку на черты, типичные для бретонцев, басков и других этнических групп) от прочих народов того времени, в частности немцев, англичан и итальянцев[72].

Этот тезис может показаться самоочевидным, а потому не стоившим стольких усилий для доказательства, однако он опровергает привычную в исторической науке практику рассечения прошлого на крошечные фрагменты и отгораживания их друг от друга стенами монографий, в которых эти частицы досконально изучаются и расставляются в некоем рациональном порядке. Крестьяне XVIII века не мыслили монографически. Они пытались составлять для себя картину мира — со всем его шумом, гамом и хаосом — из подручных материалов. В число этих материалов входило и обширное собрание старинного индоевропейского фольклора. Крестьяне-сказители считали эти истории не просто занимательными, страшными

или подходящими к случаю. Они считали сказки «удобными для думанья». Крестьяне переделывали их на свой лад, используя для того, чтобы составлять представление об окружающем мире, и демонстрируя, каким этот мир рисуется людям, стоящим на нижней ступени социальной иерархии. В процессе переработки они придавали сказкам новый смысл, теперь в основном утраченный, поскольку он воспринимался исключительно в том контексте и в том исполнении. И все же на более общем уровне кое-какие вещи до сих пор читаются в текстах между строк. Изучая весь корпус французских сказок и сравнивая их с соответствующими сказками других народов, можно вычленить некий смысл, выраженный в типичных повествовательных приемах — способах построения фабулы, тоне зачина, сочетании мотивов и побочных сюжетах. У французских сказок есть общий стиль, передающий общий способ усвоения опыта. В отличие от сказок Перро, в них не дается морали, и, в отличие от философских учений эпохи Просвещения, они не оперируют абстракциями. Они просто показывают устройство мира и способы выживания в нем. Мир, говорят они, состоит из дураков и плутов: лучше быть плутом, чем дураком.

Со временем эта идея вышла за пределы сказок и за пределы крестьянства. Она стала основной темой французской культуры в целом, от самых изысканных ее образцов до наиболее популярных. Возможно, она получила свое полное развитие еще в Коте в сапогах Перро, этом воплощении «картезианской» хитрости. Кот в сапогах — всего лишь один из нескончаемой вереницы обманщиков, в число которых входят, с одной стороны, изобретательные младшие сыновья, падчерицы, подмастерья, слуги и лисы из народных сказок, а с другой — ловкачи и продувные бестии из пьес и романов французских писателей: Скапен, Скарамуш, Криспен*, Жиль Блаз**, Фигаро, Сирано де Бержерак, Робер Макэр***. Эта

* Герой пьесы Алена Рене Лесажа (1668–1747) «Криспен, соперник своего господина».

** Герой романа того же автора «История Жиль Блаза из Сантильяны».

*** Персонаж, впервые появившийся в мелодраме «Гостиница Адре» (1823) и затем прославленный в сериях сатирических рисунков Оноре Домье (1808–1879).

тема до сих пор живет в фильмах вроде «Правил игры»* и сатирических газетах типа «Канар аншене» (*букв.* «Закованная утка»). Она продолжает существовать в разговорном языке, например, в принятом у французов употреблении слов *méchant* и *malin* в одобрительном смысле (оба означают одновременно «злой» и «умный»: во Франции быть плохим считается хорошо). От крестьян былых времен она перешла в повседневную жизнь каждого гражданина страны.

Разумеется, современный быт не похож на быт перенаселенной Франции XVIII века, поэтому сегодняшний трикстер следует новым сценариям: вместо того чтобы обманывать местного феодала, он старается недоплатить налоги и обвести вокруг пальца всемогущее государство. И все же каждым своим шагом он обязан предшественникам, Коту в сапогах и ижс с ним. Распространившись за пределы сословных и временных рамок, старые сказки обрели удивительную живучесть. Они меняются, не утрачивая своего духа. Даже влившись в основные потоки современной культуры, они продолжают свидетельствовать о цепкости былого мировосприятия. Ведомые провербиальной мудростью, французы все еще пытаются обмануть систему. *Plus ça change, plus c'est la même chose* («Чем больше перемен, тем больше все остается по-прежнему»).

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Два варианта одной сказки

Чтобы читатель сам имел возможность убедиться, насколько разнится трактовка одной и той же сказки в фольклоре Германии и Франции, я привожу текст «Еврея в терновнике» из собрания братьев Гримм (AT 592, Гримм 110) и соответствующую французскую сказку «Три дара» (перевод из издания: «Le conte populaire français», t. 2, Paris, 1977, p. 492–495).

---

* Трагикомедия Жана Ренуара (1894–1979), вышедшая на экраны в 1939 г.

Еврей в терновнике*

Жил однажды на белом свете богач, и у того богача бы
слуга, который служил ревностно и честно, вставал кажд
утро раньше всех и позже всех ложился вечером, и где бы
тяжелая работа, другим не по силам, там он всегда первый
нее принимался. При этом он ни на что не жаловался, бы
всегда доволен и всегда весел.

Когда окончился год его службы, господин его не дал е
никакого жалованья, подумав: «Этак-то лучше, и я на эт
сохраню кое-что, и он от меня не уйдет, а останется у меня
службе».

Слуга не сказал ему ни слова и во второй год исполнял
же работу, что и в первый. И даже тогда, когда и за второй г
он не получил никакого жалованья, примирился с этим и
тался по-прежнему на службе.

По прошествии и третьего года господин спохватилс
стал рыться в кармане, однако ничего из кармана не выну
Тогда наконец слуга заговорил: «Я, сударь, честно служил в
три года сряду, а потому будьте так добры, дайте мне то, ч
мне следует получить по праву; мне бы хотелось от вас уй
и повидать свет белый». А скряга и отвечал ему: «Да, миль
мой слуга, ты мне служил прекрасно и должен быть за это в
награжден надлежащим образом». Сунул он руку опять в ка
ман и геллер за геллером отсчитал ему три монетки... «В
тебе за каждый год по геллеру — это большая и щедрая плат
какую ты мог бы получить лишь у очень немногих господ»

Добряк-слуга немного смыслил в деньгах, спрятал сво
капитал в карман и подумал: «Ну, теперь у меня полнешен
карман денег — так о чем мне и тужить? Да ни к чему и за
руднять себя тяжелою работою!»

И пошел путем-дорогою по горам, по долам, весело прип
вая и припрыгивая на ходу.

Вот и случилось, что в то время, когда он проходил мим
чащи кустов, вышел к нему оттуда маленький человечек
спросил: «Куда путь держишь, веселая голова? Вижу я, что т

---

* Русский перевод под ред. П.Н. Полевого. Печ. по изданию: «Сказ
собранные братьями Гримм», СПб., 1895. Изд. «Алгоритм», 1998. ОСК Пал
1999.

ничем особенно не озабочен». — «А о чем же мне и печалиться? — отвечал парень. — Карман у меня полнешенек — в нем бренчит у меня жалованье, полученное за три года службы». — «А велика́ ли вся твоя казна?» — спросил человечек. «Велика ли? А целых три геллера звонкой монетой!» — «Послушай, — сказал человечек, — я бедный, нуждающийся человек, подари мне свои три геллера: я уж ни на какую работу не пригоден, а ты еще молод и легко можешь заработать свой хлеб».

Парень был добросердечный и притом почувствовал жалость к человечку; подал ему свои три монеты и сказал: «Прими Христову милостыньку, а я без хлеба не останусь». Тогда сказал человечек: «Видя твое доброе сердце, я разрешаю тебе высказать три желания — на каждый геллер по желанию — и все они будут исполнены!» — «Ага! — сказал парень. — Ты, видно, из тех, которые любят пыль в глаза пускать! Ну, да если уж на то пошло, то я прежде всего желаю получить такое ружье, которое бы постоянно попадало в намеченную цель; а во-вторых, желаю получить такую скрипку, на которой, чуть заиграю, так чтобы все кругом заплясало; а в-третьих, если к кому обращусь с просьбою, так чтобы мне в ней отказу не было». — «Все это я тебе даю», — сказал человечек, сунул руку в куст и — поди ж ты! — достал оттуда, словно по заказу, и ружье и скрипку.

Отдавая то и другое парню, он сказал: «Если ты кого попросишь о чем, то ни один человек на свете тебе не откажет». — «Вот у меня и есть все, чего душа желает!» — сказал сам себе парень.

Вскоре после того повстречался ему на пути еврей с длинной козлиной бородкой; он стоял и прислушивался к пению птички, сидевшей очень высоко, на самой вершине дерева. «Истинное чудо! — воскликнул он наконец. — У такой маленькой твари и такой голосище! Эх, кабы она была моею! Жаль, что ей никто не может на хвост соли насыпать!» — «Коли только за этим дело стало, — сказал парень, — так птицу мы оттуда сейчас спустим!» Приложился он и так ловко попал, что птица упала с дерева в терновник. «Ступай, плутяга, — сказал парень еврею, — вынимай оттуда свою птицу». — «Ну что же, я подберу свою птицу, коли уж вы в нее попали!» —

сказал еврей, лег на землю и давай пробираться внутрь терновника.

Когда он залез в самую середину кустарника, вздумалось парню подшутить — взялся он за скрипку и давай на ней наигрывать. Тотчас же начал и еврей поднимать ноги вверх и подскакивать, и чем более парень пилил на своей скрипке, тем шибче тот приплясывал. Но шипы терновника изодрали его ветхое платьишко, растеребили его козлиную бородку и перцарапали ему все тело. «Да что же это за музыка! — крикнул наконец еврей. — Что за музыка! Пусть господин перестанет играть, я вовсе не хочу плясать!» Но парень не очень его слушал и думал про себя: «Ты довольно людей дурачил, пусть-ка теперь тебя терновник поцарапает!» — и продолжал наигрывать, а еврей все выше и выше подскакивал, и лохмотья его одежды то и дело оставались на иглах терновника.

«Ай, вей! — взмолился он. — Лучше уж я дам господину, что он желает — дам целый кошелек с золотом, лишь бы он играть перестал!» — «О! Если ты такой щедрый, — сказал парень, — то я, пожалуй, и прекращу мою музыку; однако же должен тебя похвалить — ты под мою музыку отлично пляшешь!» Затем получил он от еврея кошелек и пошел своей дорогой.

Еврей же остался на том же месте и все смотрел вслед парню, пока тот совсем у него не скрылся из глаз; а тогда и начал кричать, что есть мочи: «Ах ты, музыкант грошовый! Ах ты, скрипач из пивной! Погоди ужо: дай мне с тобой глаз на глаз встретиться! Так я тебя пугну, что во все лопатки бежать от меня пустишься!» — и кричал, и ругался, сколько мог.

А когда он этою бранью немного пооблегчил себе душу, то побежал в город к судье. «Господин судья, — ай, вей! — извольте посмотреть, как на большой дороге какой-то злодей меня ограбил и что со мною сделал! Камень и тот должен был надо мною сжалиться! Извольте видеть: платье все в клочья изорвано! Тело исколото и исцарапано! И весь достаточек мой, вместе с кошельком, у меня отнят! А в кошельке-то все червонцы, один другого лучше! Ради Бога, прикажите злодея в тюрьму засадить!»

Судья спросил: «Да кто же это был? Солдат, что ли, тебя так саблей отделал?» — «Ни-ни! — сказал еврей. — Шпаги обна-

женной при нем не было, только ружье за спиной да скрипка под бородою; этого злодея немудрено узнать!»

Выслал судья свою команду, и его посланные легко отыскали парня, который преспокойно шел своею дорогой; да у него же и кошель с золотом нашли.

Призванный в суд, он сказал: «Я к еврею не прикасался и денег у него не брал, он сам по доброй воле мне деньги предложил, лишь бы только я перестал играть на скрипке, потому что он не мог выносить моей музыки». — «Никогда! Как можно! — закричал еврей. — Все-то он лжет, как мух ловит!»

Но судья и без того парню не поверил и сказал: «Плохое ты нашел себе оправдание — не может быть, чтобы еврей тебе по доброй воле деньги дал!» И присудил простодушного парня за грабеж на большой дороге к повешению.

Когда его повели на казнь, еврей не вытерпел, закричал ему: «А, живодер! А, собачий музыкант! Теперь небось получишь заслуженную награду!»

А парень преспокойно поднялся с палачом по лестнице на виселицу и, обернувшись на последней ступеньке ее, сказал судье: «Дозвольте мне обратиться к вам перед смертью с некоторою просьбою!» — «Ладно, — сказал судья, — дозволяю; не проси только о помиловании». — «Нет, прошу не о помиловании, — отвечал парень, — а о том, чтобы мне напоследок дозволено было еще раз сыграть на моей скрипке».

Еврей закричал благим матом: «Ради Бога, не дозволяйте ему!» Но судья сказал: «Почему бы мне этого не сделать? Пусть потешится перед смертью, а затем — и в петлю». Но он и не мог отказать ему вследствие особого дара, который был дан парню человечком... Еврей же стал кричать: «Ай, вей! Ай, вей! Вяжите, вяжите меня покрепче!»

Тогда добродушный парень снял свою скрипку с шеи, настроил ее, и, чуть только первый раз провел по ней, все стали шаркать ногами и раскачиваться — и судья, и писцы его, и судейские, и даже веревка выпала из рук того, что собирался скрутить еврея. При втором ударе смычка все подняли ноги, а палач выпустил добродушного парня из рук и приготовился к пляске... При третьем ударе все подпрыгнули на месте и принялись танцевать — и судья с евреем впереди всех, и выплясывали лучше всех.

Вскоре и все кругом заплясало, все, что сбежалось на базарную площадь из любопытства, — старые и малые, толстяки и худощавые; даже собаки и те стали на задние лапы и стали прыгать вместе со всеми. И чем долее играл он, тем выше прыгали плясуны, так что даже головами стали друг с другом стукаться, и напоследок все подняли жалобный вой.

Наконец судья, совсем выбившись из сил, закричал парню: «Дарю тебе жизнь, только перестань же играть!»

Добродушный парень внял его голосу, отложил скрипку в сторону, опять повесил ее себе на шею и сошел с лестницы. Тогда подошел он к еврею, который лежал врастяжку на земле, не будучи в силах перевести дыхание, и сказал ему: «Ну, годяй! Теперь сознайся, откуда у тебя деньги — не то сниму скрипку и опять стану на ней играть». — «Украл я, украл деньги! — закричал еврей в отчаянии. — А ты честно их заработал».

Услышав это, судья приказал вести еврея на виселицу и повесить, как вора.

Три дара*

Жил-был маленький мальчик, который потерял мать почти что при рождении, а его отец, человек еще молодой, вскоре женился снова. Но вторая его жена, вместо того чтобы заботиться о мужнином ребенке, ненавидела его всем сердцем и обращалась с ним жестоко. Она посылала его пасти овец по обочинам дорог, и он целыми днями бродил по любой погоде в своем изношенном и латаном-перелатаном платьишке. А на обед она ему давала малюсенький ломтик хлеба с таким маленьким кусочком масла, что, как мальчонка ни старался его размазать, на весь ломтик все равно едва хватало.

Сидел он однажды у обочины и ел свой жалкий обед, не спуская глаз со стада, как вдруг увидел, что по дороге идет, опираясь на палку, бедно одетая старуха. С виду она была точь-в-точь нищенка, но на самом деле то была переодетая фея — в прежние времена такое случалось. Подошла она к мальчику и сказала:

---

* Перевод с французского С. Кулланды.

– Я очень голодна. Не дашь ли ты мне кусочек хлеба?

– Увы, мне и самому-то еле хватит. Мачеха у меня такая скряга, что каждый день дает мне хлеба все меньше и меньше, а завтра небось еще тоньше отрежет.

– Сжалься над бедной старухой, мальчуган, поделись со мной обедом.

Сердце у мальчика было доброе, и он согласился разделить хлеб с нищенкой. Она и на следующий день пришла, когда он принимался за еду, и воззвала к его жалости. И, хотя хлеба было еще меньше, чем накануне, он отрезал ей ломтик.

На третий день ломоть был не шире ладони, но старухе и от него достался кусочек.

Поела она и говорит:

– Ты был добр к женщине, которую считал побирушкой, но я фея, и в моей власти вознаградить тебя тремя дарами. Придумай три вещи, которых тебе больше всего хочется.

Пастушок взглянул на свой лук и пожелал, чтобы стрелы из него попадали без промаха даже в самых маленьких птичек и чтобы его дудочка заставляла всех пускаться в пляс, даже помимо их воли.

Насчет третьего дара ему стало немного неловко, но, вспомнив, чего он натерпелся от мачехи, он решил ей отомстить и пожелал, чтобы всякий раз, как он чихнет, она бы испускала громкий пук.

– Твои желания будут исполнены, мальчик мой, – сказала фея, чьи лохмотья превратились в прекрасный наряд, а лицо стало юным и свежим.

Когда настал вечер, мальчик собрал свое стадо и, входя в дом, чихнул. В ту же секунду мачеха его, что, хлопоча по хозяйству, пекла гречишные лепешки, звучно, раскатисто пукнула. И всякий раз в ответ на мальчиково «Апчхи!» старуха издавала такой ядреный звук, что сама не знала, куда со стыда деваться. Вечером, на посиделках, мальчик забавлялся чиханьем и делал это так часто, что все выговаривали его мачехе за неопрятность.

На другой день было воскресенье. Мачеха повела мальчика к обедне, и они вдвоем уселись у самой кафедры. Начало службы прошло без всяких происшествий, но едва священник начал проповедь, мальчик принялся чихать, а его мачеха, как ни старалась она удержаться, пустила в ход свою нижнюю

артиллерию. Все взгляды устремились на нее, и она, покрасневшая как рак, мечтала провалиться на сто локтей сквозь землю. Видя, что неприличный шум никак не смолкает, священник велел церковному сторожу вывести старуху, проявлявшую столь мало уважению к святому месту.

Назавтра священник явился на ферму и отчитал женщину за поведение в церкви, до того непристойное, что все прихожане возмутились.

— Я не виновата, — оправдывалась та. — Всякий раз, как мой пасынок чихает, я не могу удержаться от пуканья. Мне это и самой куда как досадно.

И впрямь, малец, выгонявший стадо, пару раз чихнул, и мачеха ему тут же ответила.

Священник вышел из дому и последовал за мальчиком, пытаясь упреками вырвать у того его тайну, но смекалистый малец ни в чем не признался. Когда они проходили мимо куста, где на ветках сидело много птичек, мальчик спустил тетиву и попросил священника сходить за убитой птицей. Тот согласился, но когда он подошел туда, где птица упала, — а место то заросло терновником и было сплошь утыкано колючками, — мальчик заиграл на дудочке, и священник, сам того не желая, начал кружиться и приплясывать, да так быстро, что сутана его, цеплявшаяся за колючки, в одну минуту расползлась в клочья.

Когда музыка прекратилась, священник наконец остановился, еле переводя дух.

Он потащил мальчика к мировому и обвинил в порче сутаны.

— Это злой колдун, — сказал священник, — его надо наказать.

Достал мальчик свою дудочку, которую предусмотрительно сунул в карман, и не успел поднести ее к губам, как стоявший священник пустился в пляс, секретарь завертелся на стуле, сам мировой судья начал раскачиваться в кресле и все служители задрыгали ногами, так что зал суда стал похож на танцевальный.

Вскоре все устали от этого невольного занятия и пообещали мальчику оставить его в покое, если он согласится перестать играть.

ГЛАВА 2

РАБОЧИЕ БУНТУЮТ: ВЕЛИКОЕ КОШАЧЬЕ ПОБОИЩЕ НА УЛИЦЕ СЕН-СЕВРЕН

О СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОЧЕВИДЦА, за всю историю книгопечатни Жака Венсана там не случалось ничего более уморительного, чем великое кошачье побоище. Этим очевидцем был один из печатников, Никола́ Конта́, который поведал сию историю, рассказывая о том, как в конце 30-х годов XVIII века обучался ремеслу на улице Сен-Севрен[1]. Ученикам, объясняет он, приходилось тяжко. В типографии их было двое: Жером (несколько беллетризованный образ самого Конта) и Левейе. Спали они в отвратительной холодной комнатенке, вставали до свету, целыми днями были на побегушках, обижаемые подмастерьями и шпыняемые хозяином, а кормили их из рук вон плохо. Больше всего их раздражала такая кормежка. Учеников и близко не подпускали к хозяйскому столу, они обедали в кухне, подъедая остатки с тарелок. Более того, кухарка втайне приторговывала этими объедками, а ребятам подсовывала кошачью еду — полусгнившие опметки мяса, которыми подростки давились и которые перекидывали кошкам, причем животные тоже воротили нос от подобного угощения.

Последняя несправедливость и позволила Конта обратиться к теме кошек. Надо сказать, что они играют особую роль в его повествовании — не менее важную, чем играли в доме на рю Сен-Севрен. Жена хозяина просто обожала их, особенно

Первая ступень жестокости. — Репродукция гравюры В. Хогарта в кн.: Die Werke von William Hogarth... — Brünn und Wien, 1878

la grise (серенькую), которая была ее любимицей. Похоже, что среди книгопечатников любовь к кошкам была в то время повальной, во всяком случае, на уровне хозяев-мастеров, или, как их называли рабочие, *bourgeois*. Один «буржуа», например, держал целых 25 кошек. Он кормил их жареной дичью и заказывал художникам их портреты. Ученики между тем не знали, куда деваться от бродячих котов, заполонивших всю округу и отравлявших им жизнь. Ночи напролет коты орали на крыше у них над головами, отчего Жером и Левейе вечно недосыпали. Поскольку в четыре-пять утра им уже приходилось вскакивать и пускать в дом первых подмастерьев, день ученики начинали в полном изнеможении, тогда как хозяева спали допоздна. Владелец печатни не только не ел вместе с подмастерьями, но и не работал с ними. Всеми делами там заведовал старшина, хозяин же появлялся лишь изредка, да и то в основном чтобы сорвать на ком-нибудь злость, чаще всего на учениках.

Однажды ночью мальчишки решили поквитаться за свои обиды. Обладавший недюжинными способностями к подражанию Левейе подполз по крыше к той части дома, где располагалась спальня мастера, и принялся столь истошно вопить и мяукать, что хозяин с хозяйкой не могли сомкнуть глаз. Так продолжалось несколько ночей подряд, и господа уже думали, что кто-то пытается навести на них порчу. Но вместо того, чтобы позвать на помощь кюре (сам мастер был весьма набожен, а его супруга — весьма привязана к своему духовнику), они велели ученикам покончить с котами. Распорядилась об этом хозяйка, приказавшая ни в коем случае не напугать ее «серенькую».

Жером и Левейе призвали на подмогу подмастерьев и радостно взялись за дело. Вооружившись метловищами, штангами из печатной машины и прочими орудиями своего ремесла, они принялись истреблять одну за другой самых разных кошек — и в первую очередь, разумеется, отыскали *la grise*. Левейе перебил «серенькой» хребет железным прутом, а Жером прикончил ее. Тело хозяйкиной любимицы они спрятали в сточной канаве, подмастерья же тем временем гоняли других кошек по крышам, прибивая тех, что попадались им под руку, и залавливая пытавшихся сбежать в коварно рас-

ставленные там и сям мешки. Этих чуть живых кошек они вы-
валивали из мешков во дворе, где затем собрались все рабо-
ники печатни, устроившие животным шутовское судилище —
со стражей, исповедником и палачом. Вынеся кошке приго-
вор, ее соборовали, а затем вздергивали на импровизирован-
ной виселице. На взрывы смеха явилась хозяйка, которая не-
вольно закричала при виде болтающейся в петле окровавлен-
ной жертвы. И вдруг мадам осенило, что это может быть «ос-
тренькая». Работники горячо разубеждали ее: при их уважени-
к хозяевам они бы никогда не позволили себе такого. Т
явился и владелец типографии. Его привело в ярость всеоб-
щее прекращение работы, хотя жена пыталась втолковать ем
что налицо, вероятно, куда более серьезная провинность. Н
конец хозяин с хозяйкой удалились, оставив печатников на
себя от «радости», «кутерьмы» и «смеха»[2].

Смех затянулся надолго. В последующие дни, когда типог-
рафским рабочим хотелось повеселиться, Левейе снова и сно-
ва мимически воспроизводил всю сцену и делал это по кра-
ней мере раз двадцать. Пародийное разыгрывание эпизодо
из жизни мастерской, которое на жаргоне печатников назы-
валось *copies* (карикатуры), было для них едва ли не главны
развлечением. Лицедеи глумились над кем-нибудь из работни-
ков, выставляя в смешном свете присущие ему черты харак-
тера. Удачная «карикатура» должна была привести объек
издевательств в бешенство (у печатников это именовалось
prendre la chèvre — *букв.* «брать козу), а товарищи еще донима-
ли его «несусветным грохотом». Они, словно палкой по за-
бору, проводили верстатками по наборным кассам, колотили
деревянными молотками по рамам для печатных форм, ба-
рабанили по шкафам и блеяли по-козлиному. Блеянье (на их
жаргоне — *bais*) и было главным издевательством, которому
подвергали жертв. В английском языке существует сходная
идиома с козой — *to get someone's goat*, т.е. «привести человека
в крайнее раздражение». Конта подчеркивает, что Левейе
представлял самые уморительные *copies* и вызывал самый
большой грохот. Избиение кошек, дополненное «карикатура-
ми», запомнилось Жерому как наиболее веселый эпизод из
всей его типографской карьеры.

Однако в глазах современного читателя эпизод этот отнюдь не смешон, скорее даже омерзителен. Что забавного во взрослых мужчинах, которые блеют по-козлиному и колотят обо что попало орудиями своего труда, пока мальчишка изображает ритуальное убийство беззащитного животного? Наша неспособность воспринять подобную шутку свидетельствует о том, какая огромная дистанция отделяет нас от тружеников доиндустриальной Европы. Осознание этой дистанции может послужить отправной точкой исследования, так как, по наблюдению антропологов, проникновение в чужую культуру бывает наиболее удачным именно там, где она кажется наиболее непонятной. Обнаружив, что вы не в состоянии постичь, скажем, шутку, пословицу или обряд, исполненные глубокого смысла для носителей определенной культуры, вы узнаёте, с какого бока лучше зайти к незнакомой системе символов, чтобы разгадать ее. Поняв, чем было смешно кошачье побоище, мы, возможно, разберемся в том, что составляло основу ремесленной культуры во Франции старого режима.

* * *

Прежде всего следует пояснить, что мы не можем самолично присутствовать при избиении кошек и вынуждены изучать его в изложении Конта, который описал эти события по прошествии двадцати лет. У нас нет сомнений в подлинности псевдохудожественной автобиографии Конта, что было продемонстрировано Джайлзом Барбером в его безукоризненном издании этого текста. Произведение Конта относится к тому ряду автобиографических сочинений печатников, который был начат Томасом Платтером и который затем продолжили Томас Джент, Бенджамин Франклин, Никола Ретиф де ла Бретонн и Чарлз Мэнби Смит. Поскольку типографы — во всяком случае, наборщики — не могли бы работать, не будучи более или менее грамотными, они вошли в число немногих ремесленников, оставивших личные свидетельства о жизни трудящихся классов два, три, даже четыре столетия тому назад. При всех допущенных им ошибках в правописании и грамматике, сочинение Конта, вероятно, можно назвать самым ценным из таких свидетельств. И все же в нем нельзя видеть зеркальное отражение происходивших событий, его

следует читать как версию Конта, как его попытку рассказать историю. Подобно любой излагаемой истории, данное повествование помещает событие в некую систему координат, предполагает наличие у читателя/слушателя определенного набора ассоциаций и ожидает с его стороны определенных реакций, а также облекает сырой материал опыта в преднамеренно выразительную форму. Впрочем, коль скоро мы пытаемся прежде всего докопаться до смысла истории, не будем обращать внимание на ее искусственность, сфабрикованность. Напротив, рассматривая это повествование как художественный текст (или результат преднамеренной фабрикации), мы можем использовать его для этнологического *explication de texte* (анализа текста).

* * *

Не исключено, что большинство читателей усмотрит в кошачьей резне завуалированный выпад против мастера и его супруги. Конта поместил это событие в контекст рассуждений о неравенстве рабочих и «буржуа», сказывающемся на самых элементарных условиях существования: работе, еде и сне. Несправедливость была особенно вопиюща в отношении учеников, с которыми обращались хуже, чем с животными, при том, что животных — через головы подростков — возвысили до положенного ученикам места за хозяйским столом. Хотя наиболее притесняемы были вроде бы ученики, из текста явствует, что в избиении кошек проявилась ненависть к буржуа всех работников: «Мастера обожают кошек; следовательно, [рабочим. — *Р.Д.*] положено их ненавидеть». Тайный зачинщик бойни — Левейс — прослыл в типографии героем, потому что «рабочие всегда находятся в сговоре против хозяев. Достаточно сказать о них дурное слово, чтобы заслужить уважение всего сообщества печатников»[3].

До сих пор историки были склонны считать эпоху ремесленного производства предшествовавшим индустриализации идиллическим периодом. Кое-кто даже изображает цех или мастерскую этакой большой семьей, в которой хозяин и подмастерья трудились наравне друг с другом, ели за одним столом, а зачастую и спали под одной крышей[4]. Может быть, к

1740 году произошли какие-то события, испортившие обстановку в парижских книгопечатнях?

Во второй половине XVII века крупные типографии при поддержке властей ликвидировали едва ли не все мелкие печатни и контроль над этим производством захватила олигархия мастеров[5]. Одновременно ухудшилось и положение подмастерьев. Хотя статистические данные разнятся между собой и крайне ненадежны, похоже, что число подмастерьев оставалось прежним: в 1666 году их было примерно 335 человек, в 1701-м — 339, а спустя 20 лет — 340. Число же хозяев-мастеров за это время уменьшилось более чем вдвое, с 85 до 36, причем нижний предел был оговорен эдиктом от 1686 года. Это означало меньшее количество типографий с бóльшим числом работников, что подтверждается данными об имеющихся печатных машинах: в 1644 году в Париже было 75 типографий со 180 печатными станами, а в 1701-м — уже 55 типографий и 195 станов. Такая тенденция практически исключала для подмастерьев возможность дорасти до мастера. Едва ли не единственный способ подняться в своем ремесле был жениться на хозяйской вдове, поскольку звание мастера превратилось в наследственную привилегию, передававшуюся как от отца к сыну, так и от мужа к жене.

Угроза подмастерьям исходила и снизу, поскольку хозяева были все более склонны нанимать *alloués*, т.е. неквалифицированных печатников, не прошедших через ученичество, которое только и позволяло подмастерью в принципе подняться до мастера. Эти *alloués* служили лишь источником дешевой рабочей силы, они не могли войти в круг более привилегированных собратьев по профессии, и их низший статус был закреплен эдиктом от 1723 года. Столь незавидное положение отражалось и в их наименовании: они не считались ровней мастеру, его *compagnons* (подмастерьями), а были предназначены *à louer* (для найма). В этих работниках воплощалась тенденция к превращению труда из совместного предприятия в товар. Итак, Конта проходил период ученичества и писал свои воспоминания в трудные для печатников-подмастерьев времена, в период, когда работники типографии на улице Сен-Северн оказались между двух огней: с одной стороны, им грозила опасность никогда не достичь высшего ранга в своем

ремесле, с другой — они рисковали поддаться давлению снизу и вообще оказаться не у дел.

О том, как эта тенденция проявлялась на уровне конкретного цеха, свидетельствуют документы Типографического товарищества Невшателя (Société typographique de Neuchâtel). Конечно, Невшатель находится в Швейцарии, а товарищество это приступило к работе через семь лет после завершения Конта своих мемуаров (1762), однако в XVIII веке книгопечатное дело везде велось примерно одинаково. Архивы ТТН во множестве деталей подтверждают рассказ Конта о пережитом им самим. (Там даже упоминается один и тот же цеховой старшина, Колá, который одно время начальствовал над Жеромом в Королевской типографии, а в 1779 году недолго возглавлял цех ТТН.) Еще в этих архивах содержится единственное из дошедших до нас описание того, как мастера раннего Нового времени нанимали печатников, как руководили их работой и как увольняли их.

Из книги записей жалованья явствует, что обычно работники не задерживались в печатне больше нескольких месяцев [6]. Они уходили потому, что поссорились с хозяином, ввязались в драку, хотели попытать счастья в следующей по счету типографии или же им просто не хватало работы. Наборщиков нанимали для определенной книги, «изделия», которое на языке типографов называлось *labeur* или *ouvrage*. По окончании этой работы им нередко отказывали от места, причем одновременно рассчитывали и несколько человек с печатной машины, чтобы соблюсти равновесие между двумя частями типографии, наборщицкой его половиной, *casse*, и собственно печатной, *presse* (чаще всего двое наборщиков занимали работой двоих печатников). При получении новых заказов мастер брал и новых людей, причем наем и освобождение работников происходили в таком темпе, что число их редко оставалось неизменным от недели к неделе. Похоже, товарищи Жерома по печатне на улице Сен-Северен также постоянно сменялись. Их нанимали для конкретных *labeurs*, а иногда они уходили сами, повздорив с хозяином. Последнее считалось настолько в порядке вещей, что Конта даже включил специальное выражение в свой словарик, поясняющий типографский жаргон: *emporter son Saint Jean* значило «уносить свой

Типография. Ил. в кн.: Коменский Я.А. Зрелище вселенныя... — Санктпетербург, 1788

набор инструментов», т.е. «увольняться». Человека называ
ancien (ветераном), если он пробыл в печатне всего год. Д
гие жаргонные выражения подсказывают нам, в какой с
становке происходила работа: *une chèvre capitale* (приступ
шенства), *se donner la gratte* (ввязаться в драку), *prendre la ba*
(напиться), *faire la dévoute* (ползать в кабаке по полу), *prom*
sa chape (бросать работу), *faire des loups* (накапливать долги)

Склонность к бузотерству, пьянству и прогулам подтвер
дается сведениями о производительности труда и доход
которые можно извлечь из книги записей жалованья в ТТ
Типографы работали приступами: за одну неделю дела
столько-то, за другую — в два раза больше; рабочая нед
могла продолжаться от четырех до шести дней, рабочий де
мог начинаться в четыре утра, а мог — около полудня. Чтоб
эти отклонения не выходили за определенные рамки, мас
ра выискивали работников, обладавших двумя отменны
качествами: прилежанием и трезвостью. Если печатники о
зывались еще и квалифицированными, тем лучше. Один
посредников, который вербовал рабочую силу в Женеве,
комендовал наборщика, согласного отправиться в Невшат
следующей привычной формулировкой: «Он умеет трудит
и справится с любым порученным ему делом, прилежен в
боте и отнюдь не пьяница»[8].

ТТН вынуждено было полагаться на вербовщиков, пото
что рынок труда в Невшателе был недостаточен, а поток
чатников, обходивших страну в поисках работы по специа
ности (т.е. совершавших свой *tour de France*), зачастую иссяк
В письмах, которыми обменивались вербовщики с работ
дателями, выявляется типичный набор представлений о р
месленниках XVIII века: они были ленивы, взбалмошны, бе
путны и ненадежны. Поскольку доверять им было нельз
вербовщику не следовало ссужать их деньгами на проезд,
хозяин мог придержать пожитки работников в виде залога
на случай, если те вздумают сбежать после получения жало
нья. В результате подмастерьев могли уволить без малейше
сожаления независимо от того, насколько старательно они р
ботали, нужно ли им было содержать семью и не были ли о
больны. ТТН заказывало новых работников «в ассортимент
как заказывало бумагу и шрифты. Оно сетовало: вербовщик

Лиона «прислал нам двоих в столь плачевном состоянии, что мы вынуждены были отправить их обратно»[9]. И выговаривало агенту, который не удосужился проверить качество товара: «Двое из тех людей, которых вы нам послали, благополучно прибыли, но настолько больные, что от них могли заразиться остальные, из-за чего мы не сумели принять их на работу. В городе не нашлось никого, кто дал бы им кров. Посему они снова отбыли, направляясь в Безансон, чтобы залечь там в *hôpital* [больницу]»[10]. Лионский книгопродавец рекомендовал в период типографского затишья увольнять большинство работников, дабы пополнить рынок труда в восточной Франции и «обрести хоть какую-то власть над этим диким и безалаберным племенем, с которым мы не в силах управляться»[11]. Возможно, подмастерья и жили одной дружной семьей с мастерами, но это было либо в другую эпоху, либо в других местах Европы, только не во французских и швейцарских типографиях XVIII века.

Даже Конта считал, что такая идиллия не была выдумкой. Свое описание Жеромова ученичества он начинает с обращения к золотому веку книгопечатания, когда его только что изобрели и типографы были свободными и равноправными членами своеобразной «республики», руководимой собственными законами и обычаями в духе братского «союза и товарищества»[12]. По его утверждению, такая республика продолжала существовать в виде *chapelle*, т.е. гильдии, профессиональной корпорации каждого цеха, но большие гильдии были разогнаны властями, ряды печатников разбавлены *alloués*, подмастерья оказались отрезанными от разряда мастеров, а мастера удалились в собственный мир *haute cuisine* (изысканной кухни) и *grasses matinées* (позднего вставания по утрам). Владелец типографии на рю Сен-Северн иначе питался, вставал и ложился в другие часы, говорил другим языком. Его жена и дочери заигрывали с не чуждыми мирской жизни аббатами и держали домашних животных. Буржуа совершенно очевидно принадлежал к другой субкультуре — той, которая означала прежде всего, что он не работает. Во введении к истории кошачьего побоища Конта словесно выразил тот контраст между миром работника и миром мастера, который красной нитью проходит через его повествование: «...и учени-

ки, и подмастерья — все уже взялись за дело. Только хозяин с хозяйкой видят сладкие сны. Жерома с Левейе берут завидки. Они не хотят страдать в одиночку, пускай-ка хозяева тоже помучаются, станут их сотоварищами (*associés*)»[13]. Иначе говоря, подростки хотели возврата к мифическому прошлому, когда мастера и работники по-товарищески трудились бок о бок друг с другом. Вероятно, они также имели в виду сравнительно недавнее исчезновение малых книгопечатен. И тогда они принялись истреблять кошек.

Но почему кошек? И почему их убийство казалось столь забавным? Эти вопросы уводят нас от рассмотрения трудовых отношений раннего Нового времени и заставляют обратиться к довольно туманной проблеме народных обычаев и их символики.

* * *

Благодаря фольклористам историки познакомились с циклами календарных обрядов, на которые разделялся год для человека в самом начале Нового времени[14]. Главным из них был цикл карнавала и Великого поста — период разгула с последующим периодом воздержания. Во время карнавала простой люд отменял для себя нормы поведения и ритуально пересматривал общественное устройство, ставя его с ног на голову, например, в безудержно шумных процессиях. На карнавале было раздолье для потехи и фиглярства молодежи, особенно учеников, которые разбивались на так называемые «аббатства» во главе с шутовским «настоятелем» или «королем» и устраивали *charivaris* («шаривари», гротескные шествия с какофонией), издеваясь над рогоносцами, мужьями, которых бьют жены, невестами, вышедшими замуж не за сверстников, а за юнцов, и всеми теми, кто олицетворял нарушение традиционных норм. Карнавал был порой бурного веселья, чувственности, безумств молодежи — временем, когда она испытывала на прочность общественные устои всплесками аномального поведения, чтобы, перебесившись, вернуться в мир порядка, смирения и великопостной серьезности. Завершался он в масленичный вторник (*mardi gras*), когда подвергалось ритуальному суду и казни соломенное чучело — Король

Карнавал, или Карамантран. В некоторых из шаривари немаловажная роль отводилась кошкам. Например, в Бургундии толпа включала в свою какофонию издевательство над кошкой: глумясь над рогоносцем или другой жертвой, молодые люди передавали из рук в руки кошку, выдирая у нее при этом куски шерсти и провоцируя ее вопли. Юнцы называли это *faire le chat* (дурачиться, *букв.* «делать кошку»). В Германии шаривари именовались *Katzenmusik* (кошачьи концерты) — от воплей истязаемых животных [15].

Кошки участвовали и в обрядах, посвященных культу Иоанна Крестителя, день которого отмечался во время летнего солнцестояния, 24 июня. Народ разводил костры, прыгал через них, плясал вокруг и бросал в огонь предметы, наделенные магической силой, надеясь избежать несчастий и обрести везение на год вперед. Излюбленным предметом выступали и кошки — их запихивали в мешки, подвешивали на веревках или заживо сжигали. Парижане любили сжигать кошек мешками, тогда как в Сен-Шамоне местные «куримо» (*courimauds*, «гонители кошек», от *courà miaud*) предпочитали гонять охваченных пламенем животных по улицам. В некоторых районах Бургундии и Лотарингии толпа устраивала танцы вокруг горящего майского шеста с привязанной к нему кошкой. В окрестностях Меца жгли по десять–двенадцать кошек зараз — в корзине, которую водружали прямо на костер. Подобная церемония с большой помпой проводилась и в самом Меце, пока в 1765 году на нее не был наложен запрет. На площадь Гран-Сольси прибывала процессия именитых горожан, которые возжигали костер, и под ружейные залпы стрелков мецкого гарнизона вопящих кошек бросали в огонь. При всем разнообразии деталей в разных местах основные составляющие ритуала везде были одни и те же: *feu de joie* (костер), кошки и обстановка шумной охоты на ведьм [16].

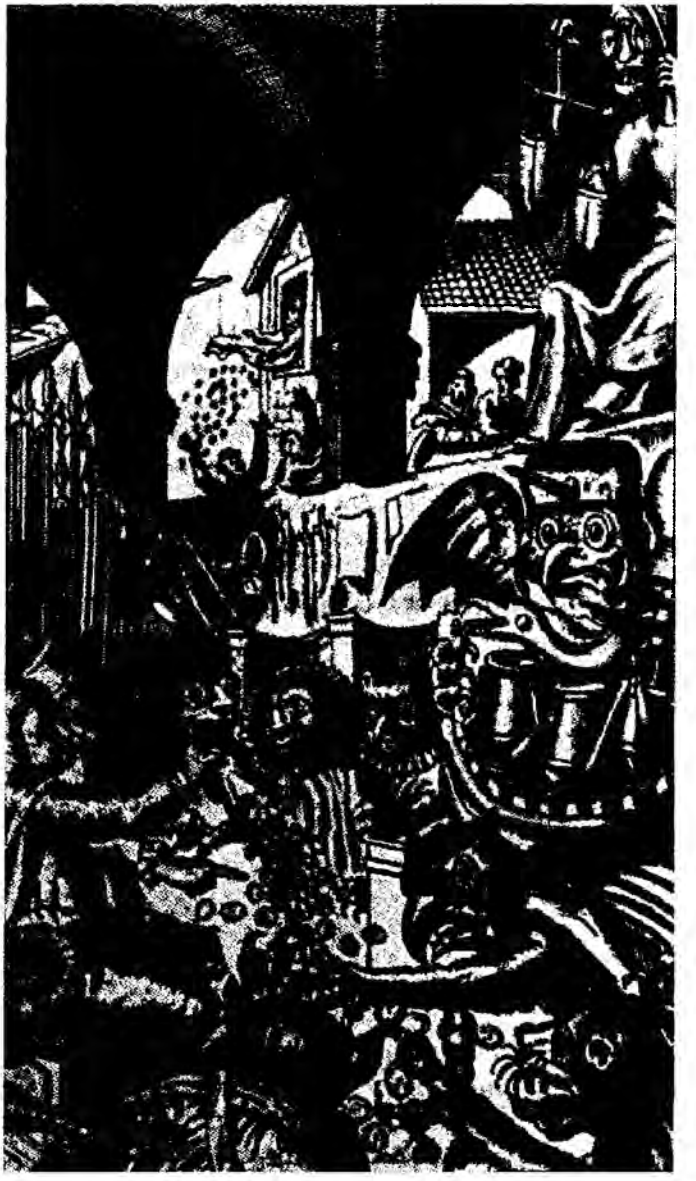
Помимо всеобщих обрядов, в отправлении которых участвовали жители целых городов, мастеровые соблюдали и обычаи, присущие их ремеслу. Печатники организовывали шествия и торжества в честь своего покровителя, Иоанна Богослова, — как в день этого святого, 27 декабря, так и в годовщину его мученичества, 6 мая, отмечая праздник освя-

щения храма Св. Иоанна у Латинских ворот*. К XVIII веку мастера исключили подмастерьев из братства этого святого, однако последние продолжали чествовать его в своих гильдиях печатников [17]. 11 ноября, в день св. Мартина, они устраивали комический судебный процесс, а затем пиршество. Конта объясняет, что гильдия печатников была своеобразной маленькой республикой, которая руководствовалась собственным сводом правил. Если кто-то нарушал этот свод, возглавлявший гильдию (но не заведовавший производством) старшина заносил в реестр штраф: непогашенная свеча — пять су, скандал с дракой — три ливра, ущерб репутации цеха — три ливра и т.д. В день св. Мартина старшина зачитывал список штрафов и взимал их. Иногда работники обжаловали решения старшины в шутовском суде, состоявшем из цеховых «ветеранов», но им все равно приходилось расплачиваться — опять-таки под блеяние, стук инструментов и гомерический хохот. Штрафы шли на еду и напитки в излюбленном печатниками кабаке, где они продолжали буйствовать до глубокой ночи [18].

Сотрапезничество и взимание пошлин были характерны также для всех прочих обрядов в гильдии. Особыми взносами и пиршествами отмечали вступление работника в цех (*bienvenue*), его уход оттуда (*conduite*), даже его женитьбу (*droit de chevet*). Более того, они были вехами на профессиональном пути юного ремесленника от ученика к подмастерью. Конта описывает четыре таких ритуала, наиболее значимыми из которых были первый, облачение в передник, и последний — посвящение Жерома в полноправные подмастерья.

Облачение в передник (*la prise de tablier*, *букв.* «принятие передника») происходило вскоре после поступления Жерома в типографию. Ему пришлось внести шесть ливров (что равнялось трехдневному жалованью подмастерья) в общую кассу, которую остальные работники дополнили собственными небольшими взносами (это называлось *faire la reconnaissance*, «выражать признательность»). Затем печатники отправились в

* Базилика Иоанна Богослова была построена у Латинских ворот в Риме в память о том, как этот святой вышел невредимым из котла с кипящим маслом.



[Папург и Пушистые Коты]. — Ил. в кн.: Rabelais F. Oeuvres de maître François Rabelais. — Т. 3. — Paris, 1797.
«Порок у них именуется добродетелью, злоба переименована в доброту, измена зовется верностью, кража — щедростью...»

облюбованную ими таверну «Цветочная корзина», что на рю де-ля Юшетт. Отрядили посланцев за провизией, и вскоре те вернулись с хлебом и мясом, предварительно разъяснив окрестным лавочникам, каких скидок достойны печатники, а какие следует приберечь для сапожников. В отдельной комнате на втором этаже таверны подмастерья молча, со стаканами в руках, обступили Жерома. Неся передник, к ученику подошел помощник старшины в сопровождении двух «ветеранов», представляющих оба подразделения типографии — наборщицкую (*casse*) и печатню (*presse*). Он протянул новенький фартук из плотного холста старшине, который, взяв Жерома за руку, вывел его на середину комнаты (помощник и «ветераны» шли следом). Старшина произнес краткую речь, после чего надел передник через голову Жерома и завязал сзади тесемки, и все присутствующие выпили за здоровье новоиспеченного типографа. Затем Жерома вместе с наиболее уважаемыми членами цеха усадили во главе стола, а прочие работники, заняв по возможности лучшие из оставшихся мест, накинулись на еду и напитки. Они с жадностью поглощали угощение и громко требовали добавки. После того как печатники на манер Гаргантюа уплели по нескольку порций, они завели профессиональную беседу, в которую Конта посвящает и нас:

> «Правда ведь, — говорит один из них, — что печатники понимают толк в еде? Да я голову даю на отсечение, если б нам кто-нибудь подарил жареного барана... вот такого большого... мы бы и его умяли за милую душу...» Разговор их не затрагивает ни богословия, ни философии, ни тем более политики. Каждый говорит о своем деле: один о *casse*, другой о *presse*, третий о декеле, четвертый о валике для нанесения краски. Все ведут речь одновременно, нимало не заботясь о том, слушают ли их.

Наконец, уже за полночь, после многочасовых возлияний и горлопанства типографы расстаются — хмельные, но не забывающие и тут соблюсти ритуал: «Bonsoir, Monsieur notre prote» («Доброй ночи, господин старшина»); «Bonsoir, Messieurs les compositeurs» («Доброй ночи, господа наборщики»); «Bonsoir, Messieurs les imprimeurs» («Доброй ночи, господа печатники»); «Bonsoir, Jerôme» («Доброй ночи, Жером»). В тексте поясняется, что к Жерому будут обращаться просто по имени, пока его не примут в подмастерья [9].

Этот миг наступил для него спустя четыре года, после двух промежуточных церемоний — *admission à l'ouvrage* (допуск к изделию) и *admission à la banque* (допуск к печатному стану), — а также множества унижений. Товарищи не только изводили Жерома, смеясь над его невежеством, посылая его принести то, не знаю что, злобно разыгрывая его, наваливая на него самую противную работу, — они отказывались чему-либо учить парня. Им вовсе не хотелось иметь на переполненном рынке труда еще одного подмастерья, а потому Жерому приходилось самостоятельно овладевать азами ремесла. От такой работы и кормежки, от такого жилья и недосыпа мальчишке впору было сойти с ума — или, по крайней мере, сбежать из типографии. Однако подобное обращение было в порядке вещей, и его не следует принимать слишком всерьез. Конта перечисляет Жеромовы напасти в столь веселой манере, что наводит на мысль об избитом комическом жанре «ученических страданий» (*misère des apprentis*) [20]. «Страдания» в фарсовой форме (написанные сквернымн стишатами или сплошной бранью) представляли жизненный этап, хорошо знакомый всему ремесленному сословию — и смешной для него. Это был временный этап, знаменовавший собой переход от детства к взрослости. Подростку нужно было с потом и кровью пробиться через него, чтобы заплатить положенное, когда дело дойдет до полноправного членства в цехе. Мало того, что печатники глумились над учениками, они требовали от них вступительных взносов, носивших название *bienvenues* или *quatre heures*. Пока юный ученик не достигал этой ступени, он пребывал в неустойчивом, пороговом состоянии, а потому сотрясал установленные взрослыми нормы, подвергая их проверке на прочность разными выходками. Старшие терпеливо сносили его проделки и насмешки (которые на языке печатников назывались *copies* или *joberies*), поскольку считали, что подростку надо дать пошалить и побуянить, а уж после он образумится. Образумившись, молодой человек усваивал обычаи своего ремесла и обретал новое лицо, что нередко воплощалось в смене имени [21].

Жером был принят в подмастерья, пройдя завершающий обряд, *compagnonnage*. Эта церемония, как и прежние, заключалась в пиршестве с едой и выпивкой, перед которой претен-

облюбованную ими таверну «Цветочная корзина», что на рю де-ля Юшетт. Отрядили посланцев за провизией, и вскоре те вернулись с хлебом и мясом, предварительно разъяснив окрестным лавочникам, каких скидок достойны печатники, а какие следует приберечь для сапожников. В отдельной комнате на втором этаже таверны подмастерья молча, со стаканами в руках, обступили Жерома. Неся передник, к ученику подошел помощник старшины в сопровождении двух «ветеранов», представляющих оба подразделения типографии — наборщицкую (*casse*) и печатню (*presse*). Он протянул новенький фартук из плотного холста старшине, который, взяв Жерома за руку, вывел его на середину комнаты (помощник и «ветераны» шли следом). Старшина произнес краткую речь, после чего надел передник через голову Жерома и завязал сзади тесемки, и все присутствующие выпили за здоровье новоиспеченного типографа. Затем Жерома вместе с наиболее уважаемыми членами цеха усадили во главе стола, а прочие работники, заняв по возможности лучшие из оставшихся мест, накинулись на еду и напитки. Они с жадностью поглощали угощение и громко требовали добавки. После того как печатники на манер Гаргантюа уплели по нескольку порций, они завели профессиональную беседу, в которую Конта посвящает и нас:

> «Правда ведь, — говорит один из них, — что печатники понимают толк в еде? Да я голову даю на отсечение, если б нам кто-нибудь подарил жарсного барана... вот такого большого... мы бы и его умяли за милую душу...» Разговор их не затрагивает ни богословия, ни философии, ни тем более политики. Каждый говорит о своем деле: один о *casse*, другой о *presse*, третий о декеле, четвертый о валике для нанесения краски. Все ведут речь одновременно, нимало не заботясь о том, слушают ли их.

Наконец, уже за полночь, после многочасовых возлияний и горлопанства типографы расстаются — хмельные, но не забывающие и тут соблюсти ритуал: «Bonsoir, Monsieur notre prote» («Доброй ночи, господин старшина»); «Bonsoir, Messieurs les compositeurs» («Доброй ночи, господа наборщики»); «Bonsoir, Messieurs les imprimeurs» («Доброй ночи, господа печатники»); «Bonsoir, Jerôme» («Доброй ночи, Жером»). В тексте поясняется, что к Жерому будут обращаться просто по имени, пока его не примут в подмастерья [19].

Этот миг наступил для него спустя четыре года, после двух промежуточных церемоний — *admission à l'ouvrage* (допуск к изделию) и *admission à la banque* (допуск к печатному стану), — а также множества унижений. Товарищи не только изводили Жерома, смеясь над его невежеством, посылая его принести то, не знаю что, злобно разыгрывая его, наваливая на него самую противную работу, — они отказывались чему-либо учить парня. Им вовсе не хотелось иметь на переполненном рынке труда еще одного подмастерья, а потому Жерому приходилось самостоятельно овладевать азами ремесла. От такой работы и кормежки, от такого жилья и недосыпа мальчишке впору было сойти с ума — или, по крайней мере, сбежать из типографии. Однако подобное обращение было в порядке вещей, и его не следует принимать слишком всерьез. Конта перечисляет Жеромовы напасти в столь веселой манере, что наводит на мысль об избитом комическом жанре «ученических страданий» (*misère des apprentis*) [20]. «Страдания» в фарсовой форме (написанные сквернымн стишатами или сплошной бранью) представляли жизненный этап, хорошо знакомый всему ремесленному сословию — и смешной для него. Это был временный этап, знаменовавший собой переход от детства к взрослости. Подростку нужно было с потом и кровью пробиться через него, чтобы заплатить положенное, когда дело дойдет до полноправного членства в цехе. Мало того, что печатники глумились над учениками, они требовали от них вступительных взносов, носивших название *bienvenues* или *quatre heures*. Пока юный ученик не достигал этой ступени, он пребывал в неустойчивом, пороговом состоянии, а потому сотрясал установленные взрослыми нормы, подвергая их проверке на прочность разными выходками. Старшие терпеливо сносили его проделки и насмешки (которые на языке печатников назывались *copies* или *joberies*), поскольку считали, что подростку надо дать пошалить и побуянить, а уж после он образумится. Образумившись, молодой человек усваивал обычаи своего ремесла и обретал новое лицо, что нередко воплощалось в смене имени [21].

Жером был принят в подмастерья, пройдя завершающий обряд, *compagnonnage*. Эта церемония, как и прежние, заключалась в пиршестве с едой и выпивкой, перед которой претен-

дент должен был заплатить за свое посвящение, а его товарищи — внести свою долю «признательности» (*reconnaissance*). На сей раз Конта излагает и речь старшины [28]:

> «Новичку внушают определенные мысли. Ему говорят, что он не должен предавать товарищей по работе и обязан поддерживать уровень жалованья. Если один из работников не соглашается на цену [предложенную за какое-то изделие. — *Р. Д.*] и покидает типографию, никто другой не имеет права взяться за работу с маленькой оплатой. Таковы законы среди печатников. Вступающему в цех рекомендуют быть верным и неподкупным. Любой работник, который предает других, если в типографии печатается что-то незаконное, *marron*, должен быть с позором исключен из цеха. Товарищи вносят его имя в черный список и с помощью циркулярных писем оповещают об этом все парижские и провинциальные мастерские... В остальном же дозволено что угодно: неумеренное питье почитается доблестью, волокитство и дебоши — подвигами юных, долги — признаком ума, а неверие в Бога — свидетельством искренности. У нас тут территория свободной республики, где все разрешается. Живи, как хочешь, только будь *honnête homme* [«честным человеком»], не лицемерь».

В дальнейшем повествовании лицемерие оказывается основной чертой буржуа — суеверного религиозного ханжи, жившего в отдельном мире фарисейской буржуазной морали. Рабочие отграничивали свою «республику» как от этого мира, так и от представителей других ремесел — сапожников, которые питались низшими сортами мяса, и каменщиков или плотников, которые рады были затеять ссору, когда по воскресеньям печатники, разделившись на «сословия» (*casse* и *presse*), пускались в загул по деревенским кабакам. Присоединившись к одному из «сословий», Жером воспринял его дух. Он отождествлял себя с определенным ремеслом и в качестве полноправного наборщика получил новое прозвание. Пройдя обряд инициации в полном — этнографическом — смысле слова, он стал «месье», т.е. «господином» [29].

* * *

Но довольно про обряды. Как там у нас с кошками? Следует с самого начала сказать, что в кошках есть нечто *je ne sais quoi* (неуловимое), нечто загадочное, что завораживало людей еще со времен древних египтян. В кошачьих глазах можно ус-

мотреть едва ли не человеческий разум. Ночью кошачий крик можно принять за человечий, словно он вырвался из самого нутра, из глубины нашей животной натуры. Кошки привлекали таких поэтов, как Бодлер, и таких художников, как Мане, стремившихся выразить человеческое в животных и животное в людях — особенно в женщинах[24].

В некоторых культурах эта неоднозначная онтологическая позиция, эта двойственность понятийных категорий наделяет определенных животных — свиней, собак, казуаров, а также кошек — магической силой, связанной с табу. Вот почему, объясняет Мэри Дуглас, евреи не едят свинину, а англичане, утверждает Эдмунд Лич, предпочитают обзывать друг друга «сукин сын», но не, предположим, «коровий сын»[25]. Некоторые животные очень подходят для обзывания, как другие, по знаменитой формулировке Леви-Строса, «подходят для думания». Я бы прибавил, что отдельные животные — в частности, кошки — очень подходят для участия в обрядах. Они имеют ритуальную ценность. Нельзя устроить шаривари с коровой, зато можно с кошкой: достаточно решить *faire le chat*, изобразить *Katzenmusik*.

Издевательства над животными были на заре Нового времени общепринятым развлечением по всей Европе. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на гравюру Уильяма Хогарта «Ступени жестокости», да и вообще мучение животных можно обнаружить в самых неожиданных местах. Убийство кошек составляло обычную тему художественной литературы, от «Дон Кихота» в Испании начала XVII века до «Жерминаля» во Франции конца XIX[26]. Жестокость по отношению к животным, с которой мы сталкиваемся в литературе, отнюдь не выражала садистские наклонности некоторых полубезумных писателей — в таких произведениях, как показал Михаил Бахтин в своем труде о творчестве Рабле, проявлялась одна из тенденций народной культуры[27]. Это мнение подтверждается и многочисленными сообщениями этнографов. В Семюре, например, в «факельное воскресенье» (*dimanche des brandons*) дети обычно привязывали кошек к столбу и сжигали их на кострах. В «игре с кошкой» (*jeu du chat*), популярной в Экс-ан-Провансе на праздник Тела Господня, животных подкидывали высоко в воздух и разбивали оземь.

Были в ходу выражения типа «терпелив, как кошка, которой вырывают когти» (или же «как кошка, которой поджаривают лапы»). Англичане проявляли не меньшую жестокость. В Лондоне периода Реформации толпа протестантов обрила кошку, чтобы сделать ее похожей на священника, напялила на нее шутовское облачение и вздернула на виселице у Чипсайдского рынка[28]. Подобных примеров можно было бы привести великое множество, однако суть дела ясна: в ритуальном убийстве кошек не было ничего необычного. Напротив, устроив судилище и повесив всех обнаруженных на рю Сен-Севрен кошек, Жером со товарищи опирались на привычный элемент своей культуры. Но какой смысл вкладывала эта культура в кошек?

Ответ на этот вопрос следует поискать в сборниках сказок, суеверий, пословиц и знахарских снадобий. Материала очень много, он интересен и разнообразен, только с ним крайне сложно работать. Хотя значительная его часть относится к средневековью, точная датировка в большинстве случаев невозможна. Материал в основном собирался фольклористами в конце XIX — начале XX века, когда устное народное творчество еще стойко противилось влиянию печатного слова. Однако на основе этих антологий невозможно делать выводы о том, существовал ли тот или иной обычай в парижских типографиях середины XVIII века. Можно лишь сказать, что печатники жили в обстановке традиционных порядков и представлений, что сам воздух, которым они дышали, был пропитан традицией. Она не была везде одинаковой — Франция еще до конца XIX века оставалась скорее лоскутным одеялом земель (*pays*), нежели единым государством, — но везде можно найти сходные мотивы. Самые распространенные были связаны с кошками. Французы раннего Нового времени использовали кошек в символических целях чаще остальных животных, причем использовали определенными способами, которые можно для нашего исследования сгруппировать, не принимая во внимание местные различия.

Прежде всего, кошка ассоциировалась со злыми чарами. Стоило наткнуться на нее ночью фактически в любом уголке Франции, и вам была обеспечена встреча с дьяволом, с кем-либо из его приспешников или с ведьмой. Белые кошки были

по своей причастности к колдовству ничуть не лучше черных, и день тут ничем не отличался от ночи. Типичный случай произошел с крестьянкой из Бигорра: ей встретилась заблудившаяся в поле очаровательная белая ручная кошечка. Крестьянка донесла ее в фартуке обратно до деревни, и возле дома женщины, которую подозревали в колдовстве, кошка выпрыгнула со словами: «Мерси, Жанна»[29]. Ведьмы превращались в кошек, чтобы околдовывать свои жертвы. Иногда, особенно на *mardi gras*, они собирались по ночам на отвратительные шабаши, где вопили, дрались и мерзко совокуплялись под руководством самого сатаны, принимавшего образ огромного кота. Обезопасить себя от колдовских чар кошки можно было лишь одним, классическим, способом: изувечив ее. Отрубите ей хвост, отрежьте уши, сломайте лапу, вырвите или сожгите шерсть — и вы разрушите ее злые чары. Изуродованная кошка не может участвовать в шабаше и бродить вокруг, околдовывая всех и вся. Бывало, что крестьяне огреют ночью дубиной кошку, которая перебежала им дорогу, а назавтра обнаруживают следы побоев у одной из женщин, подозреваемой в ведьмовстве, — так, во всяком случае, утверждает сельский фольклор. Деревенские жители рассказывали также об односельчанах, которые, найдя в хлеву бродячую кошку и желая предохранить свой скот, перебивали ей лапу. Наутро сломанная рука или нога неизменно обнаруживалась у какой-нибудь подозрительной женщины.

Кошки обладали волшебной силой и независимо от связи с ведьмами и чертом. В Анжу, если эти животные заходили в пекарню, переставало подниматься тесто для хлеба. В Бретани, если они перебегали дорогу рыбакам, у тех не было улова. В Беарне, если их живьем закапывали в землю, поле очищалось от сорняков. Они фигурировали в качестве основных ингредиентов во всевозможных народных снадобьях, не говоря уже о ведьмовских зельях. Чтобы оправиться от сильных ушибов, надо было пососать хвост, только что отрезанный у кота. Чтобы излечиться от воспаления легких, надо было выпить кровь из кошачьего уха, смешанную с красным вином. Чтобы избавиться от рези в животе, надо было добавить в вино кошачьи экскременты. Можно было даже сделаться не-

видимым (по крайней мере, в Бретани), съев мозги убитой кошки, — но только если тело еще не успело остыть.

Чудодейственная сила кошки проявлялась в совершенно определенной области, ограниченной домом и семьей, особенно наглядно — в отношении хозяина или хозяйки. В сказках типа «Кота в сапогах» подчеркивалось отождествление кота с его хозяином; об этом же свидетельствовали суеверия, в частности, обычай повязывать черную ленточку на шею кошке, у которой умерла хозяйка. Убить кошку означало навлечь несчастье на ее владельца и всю семью. Если кошка уходила из дома или переставала прыгать на постель к больной хозяйке или хозяину, больного ожидала смерть. При этом кошка, лежащая на кровати умирающего, могла быть чертом, который ждет, когда можно будет забрать его душу в ад. Как говорится в одной сказке XVI века, в Кентене жила девушка, которая за красивый наряд продала душу дьяволу. После ее смерти носильщики не сумели поднять гроб; когда они открыли крышку, оттуда выскочил черный кот... Кошки наносили дому самый разный ущерб. Нередко они душили младенцев. Они понимали разговоры и выбалтывали их содержание посторонним. Но их чары можно было ослабить либо обратить себе на пользу, если знать соответствующие приемы: например, при первом появлении кошки смазать ей лапы маслом или покалечить их. Для защиты нового дома французы замуровывали в него живых кошек — весьма старинный обычай, судя по кошачьим скелетам, которые были извлечены из стен средневековых зданий.

Наконец, кошачьи чары сосредоточивались на самом интимном аспекте семейной жизни, на сексуальной ее стороне. Жаргонные французские словечки *le chat, la chatte, le minet* означают то же самое, что по-английски слово *pussy*, и они веками употреблялись как неприличные[30]. Во французском фольклоре кошка играет особую роль в сексуальных метафорах и метонимии. Еще в XV веке для достижения успеха у женщин рекомендовалось гладить кошек. Житейская мудрость, выраженная в пословицах, отождествляла женщин с кошками, например: «Тому, кто хорошо ухаживает за кошками, достанется пригожая жена». Если мужчина любит кошек, он будет любить и женщин — и наоборот. «Как он любит кошку, так он

любит свою жену», — гласила еще одна пословица. Если же мужчина не обращал внимания на жену, про него говорили, что ему и без того есть чем заняться, или, буквально: «Для его хлыста есть другие кошечки»*. Женщина, стремившаяся завладеть мужчиной, ни в коем случае не должна была наступить кошке на хвост. Она могла отложить свадьбу на год, или, как в Кемпере, на семь лет, или, как в долине Луары, на столько лет, сколько раз промяукает кошка. Кошки повсюду ассоциировались с фертильностью и женской привлекательностью. Про девушек сплошь и рядом говорили, что они «влюблены как кошки»; а если молодая женщина забеременеет, значит, она «подпустила кота к сыру». Само поедание кошатины могло вызвать беременность. В некоторых сказках у девушек, отведавших кошачьего мяса, рождались котята. В северной Бретани благодаря кошкам могли заплодоносить больные яблони — если только животных закопать под ними определенным образом.

От сексуальности женщин всего один шаг до рогоносцев-мужчин. Разумеется, «кошачьи концерты» французских юнцов могли отталкиваться от сатанинских оргий, но могли и подражать воплям котов, которые вызывают друг друга на бой за пребывающих в течке самок. Впрочем, у юнцов вызов звучал иначе. Они начинали с имен своих хозяев, а также с сексуальных намеков про хозяек: «Reno! — François! — Où allez-vous? — Voir la femme à vous. — Voir la femme à moi! Rouah!» (Рено! — Франсуа! — Вы куда? — В гости к вашей жене. — В гости к моей жене?! Ну и ну!) И тут соперники налетали друг на друга, словно коты из Килке́нни**, и шабаш заканчивался потасовкой. Диалог варьировался в зависимости от воображения слушателей и звукоподражательных возможностей их диалекта, но упор неизменно делался на агрессивной сексуальности[31]. «Ночью все кошки серы», — гласит поговорка, а примечание к сборнику XVIII века расшифровывало содержащийся в ней сексуальный подтекст: «Иными словами, ночью все

---

* В данном случае автора ввело в заблуждение отсутствие категории рода в английском языке — во французской пословице речь идет о котах (*chats*), а не о кошках (*chattes*).

** Вошедшие в поговорку ирландские коты, которые дрались до тех пор, пока от них не остались одни хвосты.

дамы одинаково хороши»[32]. Достаточно хороши для чего? Ночные вопли котов во Франции Нового времени наводили на мысль о соблазнении, насилии над женщиной, смертоубийстве. Эти вопли вызвали к жизни *Katzenmusik*, и шаривари нередко принимали форму «кошачьих концертов» под окнами рогоносца в ночь на *mardi gras*, в самую пору для котовских шабашей.

Черная магия, сатанинские оргии, рогоносцы, кошачьи концерты и побоища... да мало ли какие еще ассоциации вызывали у французов XVIII века крики котов! Нельзя сказать, что́ именно слышали в них обитатели улицы Сен-Севрен. Можно лишь утверждать, что кошки играли важную символическую роль во французском фольклоре, а также что фольклор этот уходил корнями в древность, отличался разнообразием и был настолько широко распространен, что проник в типографии. Для того чтобы определить, действительно ли печатники опирались на доступные им источники обычаев и символов, нам следует еще раз обратиться к тексту Конта.

* * *

Конта изначально делает акцент на теме колдовства. Жером с Левейе не могли уснуть из-за «каких-то чертовых котов, у которых всю ночь был шабаш»[33]. Когда к этому кошачьему концерту добавил свои вопли Левейе, «все жившие по соседству переполошились. Коты не иначе как посланы колдуном, который хочет навести порчу, решила молва». Хозяин с хозяйкой подумывали уже призвать кюре для изгнания бесов. Если вместо священника господа остановились на кошачьей охоте, значит, они предпочли традиционное средство против злых чар: изувечить животных. Этот буржуа — суеверный кретин, находившийся под большим влиянием кюре, — воспринял все происходящее крайне серьезно. Для учеников же это была не более чем шутка. Главным шутником выступал Левейе; по терминологии Конта, он играл роль «колдуна», устраивающего «шабаш». Ученики и подмастерья не только воспользовались суеверием хозяина, чтобы побесчинствовать в свое удовольствие, — они направили свои бесчинства против его супруги. Прибив ее любимицу, *la grise*, они фактически обвинили хозяйку в ведьмовстве. И эта двойная шутка, несом-

ненно, была понятна всем, кто понимал традиционный язык «жестов».

Дополнительным поводом для развлечения, несомненно, стала тема шаривари. Хотя напрямую этого нигде не сказано, в тексте дается понять, что у хозяйки была любовная интрижка с ее духовником, «похотливым молодым человеком», который помнил наизусть неприличные отрывки из классических произведений порнографической литературы — Аретино или «Академии дам»* — и цитировал их ей, пока муж бубнил что-то свое на одну из двух излюбленных тем: либо про религию, либо про деньги. За обильным семейным обедом священник развивает мысль о том, «что измена супругу требует недюжинной смекалки и что наставлять мужу рога — не порок». В другой раз он проводит ночь наедине с хозяйкой в загородном доме. Все трое как нельзя лучше вписываются в типичный для печатных мастерских треугольник: плохо соображающий старый хозяин, хозяйка средних лет и ее молодой любовник[34]. Благодаря интрижке жены владелец типографии оказался в сугубо комической роли рогоносца, отчего буйство работников вылилось в форму шаривари. Устроенный учениками спектакль был, так сказать, «на грани фола»: они действовали в той узкой области, которая традиционно избирается младшими для насмешек над вышестоящими, а подмастерья не менее традиционно откликались на их проделки какофонией. Весь эпизод окрашен атмосферой безудержного веселья, Конта называет это действо «празднеством». По его словам, «Левейе и его товарищ Жером заправляли всем этим *fête*», как если бы сами они были королями карнавала, а избиение кошек соответствовало их мучительству на Масленицу или в день чествования Иоанна Крестителя.

Как во многих случаях на Масленицу, карнавал завершился шутовским судом и казнью. Пародия на судебный процесс вполне естественно пришла в голову типографским работникам, потому что они ежегодно устраивали собственные комические суды в день св. Мартина, когда гильдия печатников сводила счеты со своим главой, неизменно приводя его тем

---

* Полное название этой книги Никола Шорье (1612–1692) гласит: «Академия дам, или Философия в будуаре великого века: Эротические диалоги».

самым в крайнее раздражение. Типографы не могли в открытую осудить его, поскольку это означало бы прямое неповиновение начальству и грозило увольнением. (Во всех источниках, в том числе в документах ТТН, говорится о том, что мастера нередко выгоняли работников за дерзость и дурное поведение. Кстати, и Левайе был впоследствии уволен за шутку, чуть более откровенно высмеивающую хозяина.) Вот печатники и учинили суд над буржуа в его отсутствие, воспользовавшись для этого символом, который позволял догадаться об истинном «злодее», но не выдавал участников действа настолько, чтобы навлечь на них репрессии: они судили и вешали котов. Повесить «серенькую» под носом хозяина, когда им велели особо беречь ее, было бы уж слишком, зато они сделали семейную любимицу своей первой жертвой и таким образом, если верить связанным с кошками легендам, посягнули на саму семью. Когда хозяйка обвинила их в убийстве *la grise*, они с наигранным почтением отвечали, что «при их уважении ко всему семейству никто не осмелился бы на подобное зверство». Подвергая кошек казни по всем правилам искусства, они осуждали этот дом и эту семью, признавали буржуа виновным — виновным в том, что он изнурял работой и недокармливал своих учеников, в том, что роскошествовал за счет труда подмастерьев, в том, что вышел из гильдии и наводнил ее *alloués*, а не вкалывал и ел вместе с работниками, как это якобы делали мастера за одно-два поколения до него, в примитивной «республике», существовавшей на заре книгопечатного дела. Вынося приговор хозяину, они распространяли свое обвинение на его семью и на все общество. Возможно, когда типографы судили, причащали и вешали множество полудохлых кошек, они хотели высмеять систему правового и социального мироустройства.

Несомненно, они чувствовали себя униженными, и у них накопилось достаточно возмущения, чтобы оно вылилось в вакханалию убийства. Спустя полвека будут так же бесноваться парижские ремесленники, убивая всех без разбора и сочетая казни с импровизированными народными судилищами [35]. Было бы абсурдно видеть кошачью побоище генеральную репетицию сентябрьских убийств Французской революции, и все же

этот более ранний всплеск насилия тоже был бунтом простых людей, хотя он и ограничился символическим уровнем.

Кошки символизировали, с одной стороны, секс, с другой — насилие, и такое сочетание как нельзя лучше подходило для атаки на хозяйку. В тексте Конта она идентифицируется с «серенькой», своей *chatte favorite* (любимой кошечкой). Убивая кошку, подростки наносили удар по госпоже: это было «наказуемое дело, убийство, которое следовало хранить в тайне». Жена мастера приняла потерю близко к сердцу: «Они отняли у нее кошку, которой не было равных на свете, кошку, которую она любила до безумия». Хозяйка изображена женщиной сладострастной и «охочей до котов», как если бы она сама была кошкой и пылко участвовала в кошачьем шабаше, сопряженном с воплями, смертоубийством и изнасилованиями. Прямое упоминание сексуального насилия нарушало бы приличия, которые в литературе XVIII века принято было соблюдать, да и символизм мог добиться результата, только оставаясь завуалированным — достаточно двусмысленным, чтобы обмануть хозяина, и достаточно острым, чтобы задеть за живое его супругу. Тем не менее Конта прибегает к довольно сильным выражениям. При виде кошачьей экзекуции у хозяйки вырвался крик, но она тут же притихла, когда до нее дошло, что она потеряла «серенькую». Работники с ложной искренностью заверили ее в своем почтении, когда появился хозяин. «"Что за негодяи! — говорит он. — Вместо того, чтобы работать, они убивают кошек". — "Эти изверги не могут убивать господ, — объясняет мадам месье. — Поэтому они убили мою кошку"... Ей мнится, что работникам не смыть такое оскорбление даже ценой собственной крови».

Нанесенная обида носила метонимический характер и была в XVIII веке сродни насмешке, бросаемой современному школьнику: «Эх ты, все держишься за материну юбку!» Но оскорбление печатников было и более сильным, и более непристойным. Надругавшись над хозяйкиной любимицей, работники символически изнасиловали самое хозяйку. Одновременно они нанесли тягчайшую обиду и хозяину: супруга была его главной ценностью, как у жены главной ценностью была ее *chatte*. Убийство кошки позволило работникам не только надругаться над самым святым в семье буржуа, но еще выйти

сухими из воды. В этом была соль шутки: символизм настолько замаскировал оскорбление, что печатникам все сошло с рук. Пока хозяин возмущался приостановкой работы, его менее «зашоренная» супруга фактически подсказывала ему, что рабочие надругались над нею в сексуальном плане и готовы убить самого мастера. Затем они, униженные и побежденные, покинули место действия. «Месье и мадам удаляются, оставляя работников в покое. Любящие кутерьму печатники ликуют. У них появился замечательный повод для смеха, прекрасная *copie*, которая еще очень долго будет доставлять им несказанное удовольствие».

Это был раблезианский смех, и в тексте подчеркивается его роль в тогдашней жизни: «Печатники умеют посмеяться, это их единственное занятие». Михаил Бахтин наглядно продемонстрировал, что смех Рабле выражал ту разновидность народной культуры, в которой буйный смех мог легко перерасти в буйство, ту сексуально-бунтарскую карнавальную культуру, в которой элемент революционности мог ограничиваться намеками и метафорами, а мог вылиться во всеобщее восстание, как это произошло в 1789 году. И все же мы не ответили на вопрос, что было смешного в избиении кошек... Конечно, нет лучше способа испортить шутку, чем пытаться анализировать ее или обвешивать множеством комментариев социального характера. Но эта шутка просто взывает к комментариям, и не потому, что с ее помощью можно доказывать существование у ремесленников ненависти к своим мастерам (этот трюизм распространяется на историю трудящихся всех эпох, хотя историки XVIII века склонны были недооценивать его), а потому, что благодаря ей мы можем понять, как работники осмысляли собственный опыт, обыгрывая темы современной им культуры.

* * *

Единственная доступная нам версия кошачьей резни была записана Никола Конта, причем значительно позже этого события. Он, и никто другой, отбирал подробности, выстраивал очередность фактов и развивал сюжет в том виде, который придавал событию смысл в его глазах. Но свое представление о смысле он черпал из современной культуры, и это было для

него столь же естественно, как дышать окружающим воздухом. А описывал он то, что сам разыграл вместе с товарищами. Впрочем, субъективность описания не нарушает общего контекста, хотя письменный отчет скорее всего крайне слабо отражает происходившее действо. Средством выражения служил для работников своеобразный балаган, включавший в себя пантомиму, какофонию и «драму с насилием» — «народный» спектакль, который импровизировался на рабочем месте, на улице и на крышах. К этому спектаклю относилась и «пьеса в пьесе», поскольку Левейс потом несколько раз разыгрывал в печатне весь балаган в виде «карикатуры», «пародии». По сути дела, и само избиение было карикатурой на другие церемонии, в том числе на судебные процессы и шаривари. Не случайно и Конта упоминает о пародии на пародию, почему при чтении его текста следует делать поправки на видоизменения, которые претерпевают формы культуры при переходе от жанра к жанру и от одной эпохи к другой.

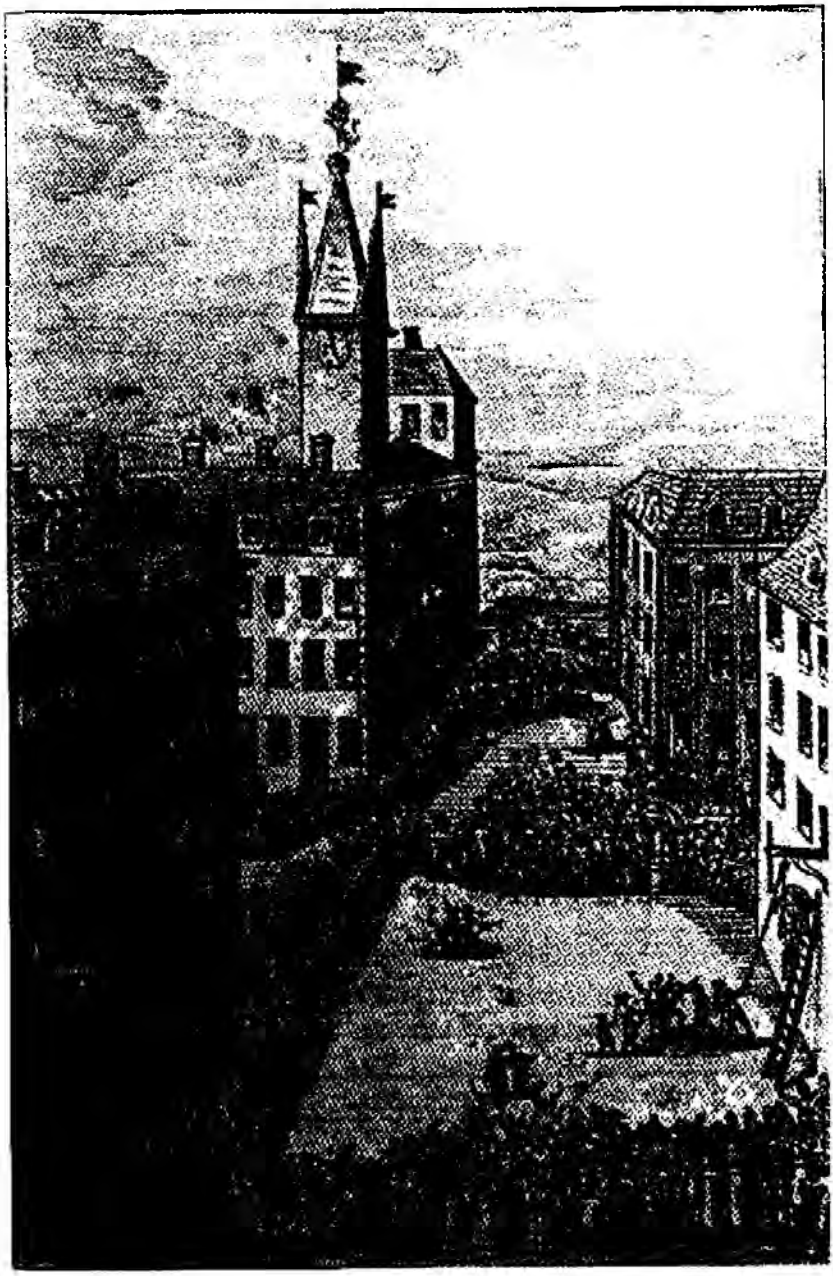
Сделав такие поправки, мы, видимо, обнаружим, что избиение кошек казалось работникам смешным, потому что давало им возможность поменяться ролями с буржуа. Изводя хозяина воплями, они подбили его на санкционирование побоища и через шутовской процесс подвергли буржуа символическому суду за несправедливое управление типографией. Более того, они превратили избиение кошек в охоту на ведьм, что дало им предлог убить любимицу хозяйки, намекая таким образом на ее собственное родство с ведьмами. Наконец, они превратили свой спектакль в шаривари, благодаря чему сумели подвергнуть сексуальному оскорблению хозяйку и выставить хозяина в виде рогоносца. Буржуа оказался превосходной мишенью для такой шутки. Мало того, что он стал жертвой действа, инициатором которого был сам, он даже не разобрался в тяжести нанесенной ему обиды. Печатники подвергли его супругу символическому надругательству весьма интимного свойства, а он даже не понял этого. Он был слишком бестолков — типичный рогоносец. Работники замечательно разыграли его, подняв на смех в духе Боккаччо, — да еще остались безнаказанными.

Шутка удалась им, поскольку печатники умело воспользовались церемониями и символами. Кошки как нельзя лучше

отвечали их целям. Перебивая хребет «серенькой», они, с одной стороны, обзывали супругу хозяина ведьмой и шлюхой, а с другой — превращали хозяина в дурака-рогоносца. Это было метонимическое оскорбление, наносимое на уровне не слов, а поступков, и оно задевало за живое, так как кошки были слабостью именно буржуазного образа жизни. Сами работники никогда не держали домашних животных: это было столь же чуждо им, как измывательство над животными было чуждо их хозяевам. Кошки оказались заложниками несовместимых образов жизни, за что бедным животным и доставалось со всех сторон.

Печатники обыгрывали не только символы, но и церемонии. Они превратили отлов кошек в охоту на ведьм, в праздник, в шаривари, в шутовской судебный процесс и в грязную шутку. А потом еще переделали все это в пантомиму. Стоило им устать от работы, как они преображали типографию в театр и выдавали уже не копии авторского текста, а свои *copies*. Театрализованные представления и проигрывание ритуалов отвечали традициям их ремесла. Хотя типографы сами печатали книги, они передавали нужный им смысл без помощи письменного слова. Предпочитая для провозглашения истин культуру своего сословия, они обращались к действию.

Какими бы невинными ни казались их шутки на современный взгляд, в XVIII веке такое проказничанье было делом опасным. Впрочем, его рискованность лишь прибавляла соли шутовству, как это сплошь и рядом бывает с теми видами юмора, которые вызывают на поверхность подавленные чувства и используют насилие. Печатники довели свое проказничанье с символами до грани овеществления, до того предела, за которым убийство кошек грозило перерасти в откровенный бунт. Они обыгрывали двусмысленности через посредство знаков, скрывавших истинный смысл действа и в то же время приоткрывавших его настолько, чтобы оставить буржуа в дураках, не давая ему, однако, повода уволить работников. Они дернули его за нос, не позволив запротестовать против подобного обращения. Такой подвиг требовал незаурядной сообразительности и ловкости. То, что он удался, свидетельствует об умении ремесленников манипулировать знаками



Казнь в Дуэ (март 1791). — Ил. в кн.: Révolutions de Paris, dédiées à la nation. — Paris, 1791

своего культурного языка не хуже поэтов, которые манипулируют ими на письме.

Рамки, в которых типографы держали себя во время паясничанья, подсказывают нам пределы, которыми ограничивалась воинственность трудящихся в дореволюционной Франции. Печатники отождествляли себя не столько со всем своим классом, сколько с собратьями по ремеслу. Хотя они организовывались в гильдии, объявляли забастовки и иногда добивались выплаты задержанного жалованья, они не выходили из подчинения буржуа. Для владельцев типографий наем и увольнение работников были столь же обычным делом, как заказ бумаги, и хозяин мгновенно выставлял их за порог, стоило ему только почуять неповиновение, так что до конца XIX века, когда началась пролетаризация населения, ремесленники обычно не шли в своих протестах дальше символического уровня. Карикатура и пародия (наряду с карнавалом) помогали выпускать пар; при этом они вызывали смех, который на заре ремесленничества играл важную роль в культуре данного сословия, но был в ходе истории утрачен. Изучение того, как функционировала шутка в проказах печатников двести лет тому назад, помогает нам воскресить этот утраченный элемент — смех, самый обычный смех, раблезианский смех, от которого покатываются и хватаются за животы... в противоположность более привычной нам вольтеровской усмешке.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Кошачье побоище в изложении Конта

Нижеследующее описание взято из книги Никола Конта «Типографические анекдоты» (полное название: Nicolas Contat «Anecdotes typographiques où l'on voit des coutumes, moeurs et usages singuliers des compagnons imprimeurs», éd. Giles Barber, Oxford, 1980), с. 51–53. После целого дня изнурительной работы и отвратительной еды двое учеников возвращаются в свою комнатушку в сыром и продуваемом всеми ветрами сарайчике в дальнем углу двора. Этот эпизод излагается в третьем лице, с точки зрения Жерома.

«Он настолько утомился и нуждается в отдыхе, что их конура кажется ему в эту минуту дворцом. Наконец-то гонения и муки, которые он претерпевал весь день, подошли к концу и он может вздохнуть. Но не тут-то было: какие-то ошалелые коты ночь напролет справляют шабаш, и их вопли лишают его недолгого отдыха, положенного ученикам до прихода подмастерьев, которые ни свет ни заря заявляются на работу и требуют, чтобы их впустили, без умолку трезвоня в этот чертов звонок. Тогда ребятам приходится вставать и, дрожа в ночных рубахах, идти через весь двор открывать калитку. От этих подмастерьев спуску не жди. Что бы ты ни делал, завсегда окажется, что ты их задерживаешь, и они выставят тебя последним лентяем. Вот они зовут Левейе. «Разожги огонь под котлом! Принеси воду для лоханей!» Эти работы и впрямь нужно исполнить до прихода начинающих учеников, которые живут по своим домам, но ведь они появятся не раньше шести-семи. Наконец и ученики, и подмастерья — все уже взялись за дело. Только хозяин с хозяйкой видят сладкие сны. Жерома с Левейе берут завидки. Они не хотят страдать в одиночку, пускай-ка хозяева тоже помучаются, станут их сотоварищами. Но как этого добиться?

У Левейе необыкновенный талант: он умеет подражать голосу и малейшим жестам любого из окружающих людей. Он превосходный актер; если он и выучился в печатне какому ремеслу, то именно актерскому. Кроме того, он бесподобно мяучит, лает и издает прочие животные вопли. Он решает, перебираясь с крыши на крышу, подлезть как можно ближе к спальне буржуа и его супружницы. Ему это ничего не стоит: Левейе — сын кровельщика и умеет лазить по крышам не хуже кошек.

Наш лазутчик справился со своей задачей столь успешно, что встревожил всю округу. Распространяется молва о том, что тут не иначе как замешано колдовство и кошки действуют по наущению человека, который хочет наслать через них злые чары. В общем, пора призывать кюре, который и без того близкий друг семьи и духовник мадам. Спать не могут уже все.

Левейе устраивает свой шабаш еще две ночи подряд. Кто его не знает, запросто принял бы парня за ведьмака. Наконец

у хозяина с хозяйкой лопается терпение. "Надо сказать ребятам, — решают они, — чтоб избавились от этих зловредных тварей". Повеление исходит от мадам, которая умоляет их не напугать *la grise*. Так зовут ее любимую кошечку.

Эта дама души не чает в кошках. Как и многие печатных дел мастера. Один держит аж двадцать пять штук. Он заказал их портреты и кормит кошек жареной птицей.

Вскоре начинаются приготовления к форменной охоте. Ученики задумывают покончить со всеми животными сразу, и к ним присоединяются подмастерья. Хозяева обожают кошек, значит, работники должны их ненавидеть. Один вооружается кукой от печатного станка, другой — штангой из сушилки, остальные — метловищами. Под окнами чердака и кладовых вешают мешки для тех кошек, которые попытаются спастись, выпрыгнув на улицу. Засим назначают тех, кто будет бить. Все предусмотрено. Празднеством заведуют Левейе и его товарищ Жером, оба вооружены взятыми из типографии железными прутами. Перво-наперво надо найти любимицу мадам, "серенькую". Левейе оглоушивает ее ударом по почкам, а Жером приканчивает. Потом Левейе запихивает тело в сточный желоб, потому что ребята не хотят быть пойманными на месте преступления: это наказуемое дело, убийство, которое следует хранить в тайне. Работники наводят страх на крышах. Охваченные паникой кошки прыгают в мешки. Некоторых укокошивают на месте. Остальным предстоит быть повешенными для увеселения всей печатни.

Типографы умеют посмеяться, это их единственное занятие.

Все готово к казни. Назначают палача, стражников, даже исповедника. И вот зачитывается приговор.

В разгар веселья появляется хозяйка. К своему удивлению, она обнаруживает кровавую расправу! У нее вырывается крик, и вдруг она притихает, потому что ей чудится рядом с виселицей *la grise* и она убеждена, что ее любимую кошечку сейчас тоже вздернут. Работники заверяют мадам, что при их уважении ко всему семейству никто не осмелился бы на подобное зверство.

Тут заявляется буржуа. "Что за негодяи! — говорит он. — Вместо того чтобы работать, они убивают кошек". — "Эти

изверги не могут убивать господ, — объясняет мадам месье. — Поэтому они убили мою кошку. Ее нигде нет. Я звала *la grise* везде. Наверное, ее повесили". Ей мнится, что работникам не смыть такое оскорбление даже ценой собственной крови. Бедняжка "серенькая", это была несравненная кошка!

Месье и мадам удаляются, оставляя работников в покое. Любящие кутерьму печатники ликуют.

У них появился замечательный повод для смеха, прекрасная *copie*, которая еще долго будет доставлять им несказанное удовольствие. Левейе войдет в роль и будет раз двадцать воспроизводить весь спектакль, изображая хозяина, хозяйку и их домочадцев, выставляя их на всеобщее посмешище. Он не пощадит своей сатирой никого. Ребят, которые умеют таким образом веселить других, печатники называют *jobeurs* (зубоскалы), потому что благодаря им появляется возможность для *joberie* (зубоскальства).

Левейе получает аплодисмент за аплодисментом.

Нелишне отметить, что работники находятся в сговоре против хозяев. Достаточно сказать о них [хозяевах] дурное слово, чтобы заслужить уважение всей типографской братии. Левейе воздают должное. В знак признания его заслуг ему даже прощают прошлые карикатуры на самих работников».

ГЛАВА 3

БУРЖУА НАВОДИТ ПОРЯДОК В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: ГОРОД КАК ТЕКСТ

СЛИ МРАЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР крестьян и жестокие обычаи ремесленников принадлежат явно чуждому на современный взгляд миру, быть может, нам будет легче влезть в шкуру жившего в XVIII веке буржуа. Такая возможность предоставляется другим документом, не менее оригинальным, чем отчет Конта: это описание Монпелье, составленное в 1768 году анонимным гражданином этого города, про которого, однако, точно известно, что он принадлежал к среднему — зажиточному — классу. Разумеется, неофициальной литературы документального характера осталось от XVIII века много: различные «записки», путеводители, календари и ежегодники, рассказы дилетантов о местных достопримечательностях и знаменитостях. Чем же наш буржуа выделялся среди прочих? Прежде всего — своей одержимостью, своим стремлением к возможно большей полноте. Ему хотелось охватить весь город, до самой его крошечной детали, а потому он строчил, строчил и строчил, доведя свою рукопись до 426 листов, упоминающих каждую часовню, каждую бродячую собаку в этом его центре мироздания [1].

Почему он предпринял столь обширный и трудоемкий проект, определить нельзя. Возможно, автор намеревался издать своеобразный путеводитель, поскольку в предисловии к своему «Реестру и описанию города Монпелье, составленно-

му в 1768 году» («Etat et description de la ville de Montpellier fait en 1768» — далее мы будем называть книгу просто «Описанием») поясняет, что хотел показать его в виде, который был бы полезен приезжим, а также «давал бы истинное представление о городе, пусть не очень великом размерами, однако же играющем знаменательную роль в нашем королевстве»[2]. Похоже, он гордится своим городом и жаждет познакомить нас с ним, как если бы мы были чужестранцами, в ошеломлении застывшими на незнакомом углу, а он предлагает помочь нам сориентироваться в пространстве. Вероятно, ситуация не столь уж редкая, хотя она наводит на размышления. Возникает сразу несколько вопросов, но главный из них: что значит описывать свой мир? Что бы мы сами выделили из собственного окружения для записей, если б у нас было желание и силы вести их? С чего бы начали? Бросили бы взгляд с птичьего полета, а затем постепенно сужали бы обзор, спускаясь к перекрестку в центре, местному аналогу пересечения Главной улицы и Вайн-стрит? Или предпочли бы въехать в город как чужестранцы, минуя сначала предместья, потом окраины и добравшись наконец до величественных зданий в самом сердце урбанистического пространства — ратуши, храма или универсального магазина? А может быть, мы бы организовали свое описание по социологической схеме — от муниципальных чинов вниз или, напротив, от рабочих вверх? Мы могли бы даже настроиться на одухотворенный лад и задать тон церковной проповедью или речью по случаю американского Дня независимости. Возможностям несть числа, во всяком случае, их так много, что опускаются руки. Как, спрашивается, можно «дать истинное представление о городе» на бумаге, особенно если ты любишь его, а запасы бумаги неограниченны?

Обратимся к знаменитому примеру, который отчасти подскажет нам кое-что и о Монпелье двухсотлетней давности*:

> «Лондон. Осенняя судебная сессия — "Сессия Михайлова дня" — недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды пото-

* Перевод М.И. Клягиной-Кондратьевой. Цит. по изданию: *Диккенс Ч.* Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. 7. С. 9.

Празднество на Марсовом поле 14 июля 1790 г. — Ил. в кн.: Révolutions de Paris, dédiees à la nation. — Paris, 1790

па только что схлынули с лица земли, и, появись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи — это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше — они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтиками и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся — слой на слое — грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты»[3].

Можно много рассуждать о диккенсовских описаниях Лондона, но уже эти первые предложения «Холодного дома» наглядно свидетельствуют о том, насколько взгляд на город может зависеть от чувств, шкалы ценностей и общего мировоззрения. Грязь, суматоха, навязчивое ощущение нравственного упадка, которым отличаются устаревшие порядки и учреждения, — все это позволяет безошибочно признать в нарисованном городе Лондон Диккенса. Наш монпельерский житель обитал совсем в ином мире. И все же мир этот был не в меньшей степени построением его ума, миром, который автор втиснул в рамки своего сознания и разукрасил своими эмоциями, хотя он не обладал литературным талантом английского классика и не умел передавать чувства так, как тот. Талантливо оно выражено или нет, но чувство места играет наиважнейшую роль для нашей ориентации в жизненном пространстве. Если его формулирует в словах — более того, в целом потоке слов — обыкновенный буржуа предреволюционной Франции, значит, нам повезло столкнуться с одним из основных элементов ментальности XVIII века. Но как нам ее понять?

Читать труд нашего автора не легче, чем ему было сочинять его. В каждой фразе выражено чуждое нам сознание, которое пытается организовать в некоем порядке мир, безвозвратно ушедший в прошлое. Чтобы проникнуть в это сознание, нужно сосредоточиться не столько на изображаемых предметах, сколько на способах их изображения. Пользовался ли

наш автор, рисуя топографию Монпелье, привычными нам планами города? Каким образом он отграничивал одно явление от другого — и по каким категориям распределял свои ощущения, когда принялся записывать их? Итак, наша задача — не воссоздать подлинный облик Монпелье 1768 года, а разобраться в том, как его наблюдал наш наблюдатель.

* * *

Но сначала несколько слов о тенденциозном термине «буржуа». Он оскорбителен, раздражающ, неточен — и неизбежен. Историки десятки лет спорили о нем и продолжают спорить до сих пор. Во Франции он обычно употребляется в марксистском значении. Буржуа владеет средствами производства, это определенная разновидность Человека Экономического, с собственным образом жизни и собственной идеологией. Он стал ключевой фигурой XVIII века, эпохи фантастического хозяйственного подъема, если не сказать индустриализации (на смеси французского с английским этот «англосаксонский» расцвет экономики называют *le take-off*). Перед лицом противоречий между своей экономической мощью и полной политической беспомощностью (которые еще усугубились в период возрождения дворянства накануне 1789 года) буржуа проникся классовым самосознанием и восстал, увлекая за собой широкий фронт крестьян и ремесленников во Французскую революцию. Важную роль в сплочении этой ударной силы играла идеология, поскольку буржуазии удалось заразить простонародье своими идеями свободы (особенно в отношении свободной торговли) и равенства (особенно в части уничтожения дворянских привилегий). К 1789 году эпоха Просвещения сделала свое дело. По крайней мере, самые авторитетные французские учебники самых маститых французских историков уверяли не одно поколение студентов: «Восемнадцатый век мыслил буржуазными ценностями»[4].

Подобная трактовка вечной темы — зарождения среднего класса — отталкивается от понимания истории как процесса, происходящего на трех уровнях: экономическом, социальном и культурном. Чем глубже уровень, тем более мощные силы заправляют им. Посему изменения в экономике влекут за собой изменения в структуре общества и, в конечном счете,

идеологические изменения. Разумеется, часть историков отстаивала совершенно иные взгляды. Ролан Мунье со своими учениками развивал идеалистический образ монархической Франции как сословного общества, построенного на социальном положении и правовых нормах. В марксистской среде находились также последователи Антонио Грамши, приписывавшие идеологическим силам некоторую самостоятельность при формировании основных общественно-политических «блоков». И все же с 50-х по конец 70-х годов нашего века во французской исторической науке доминировали попытки создания так называемой «тотальной» истории*, основанной на трехуровневой модели причинности[5].

Такой взгляд отводил буржуа на этом этапе главенствующую роль. Обладая средствами производства, будучи элементом, восходящим по социальной лестнице, а также носителем современной идеологии, буржуа был обречен смести все на своем пути — что он и сделал во время Французской революции. Но он оказался на удивление мало кому знаком: в трудах по истории буржуа выступал в виде некоей безликой категории. И тогда в 1955 году Эрнест Лабрусс, главный поборник трехуровневой, целостной истории, предпринял кампанию по отысканию буржуа в его тайных архивных убежищах. Обширные статистические обзоры, составленные с учетом общественного и профессионального положения граждан, призваны были выявить представителей буржуазии по всей Западной Европе, начиная с Парижа XVIII века. Париж, однако, не дал искомых результатов. Проведенный Франсуа Фюре и Адслин Домар анализ 2597 брачных контрактов за 1749 год обнаружил городское сообщество, в которое входили ремесленники, лавочники, богословы, правоведы и медики, королевские чиновники и аристократы, горстка купцов — и ни одного владельца мануфактуры. Сравнение Парижа с Шартром, которым занимались Даниэль Рош и Мишель Вовель, подтвердило эти данные. Буржуа в обоих городах были, но это были

* Такой перевод термина *histoire totale* получил за последние годы широкое распространение в российской науке, однако хотелось бы отметить, что этот вариант не единственный и, на наш взгляд, далеко не лучший. То же понятие нередко передается как «глобальная», «всеобъемлющая» или «целостная история», из которых мы отдаем предпочтение последней.

bourgeois d'Ancien Régime (буржуа старого режима), в первую очередь рантье — они нигде не работали и жили на проценты от ссуд и сдачи в аренду земель, т.е. представляли собой полную противоположность промышленной буржуазии марксистской историографии. Правда, в центрах текстильного производства вроде Амьена и Лиона можно было отыскать владельцев производственных предприятий, но предприятия эти были в основном старинные, существовавшие по многу веков, и они отнюдь не напоминали механизированные фабрики, которые уже начали изменять городской пейзаж в Англии. Немногочисленные же предприниматели Франции чаще всего относились к аристократии. Дворяне вкладывали деньги в самые разные области промышленности и торговли, тогда как купцы нередко бросали свое дело, стоило им накопить достаточно капиталов для безбедного существования на господский манер, т.е. опять-таки на доходы от земли и рент[6].

По мере выхода монографий, освещавших город за городом и провинцию за провинцией, дореволюционная Франция приобретала все более архаичный вид. В лучших из трудов (например, Мориса Гардана о Лионе и Жана-Клода Перро о Кане) находилось по нескольку настоящих купцов и мануфактурщиков, однако эти представители подлинно капиталистической буржуазии составляли горстку по сравнению с массой ремесленников и лавочников, число которых множилось во всех французских городах раннего Нового времени. Нигде, за исключением разве что Лилля и одного-двух районов других городов, социальные историки не обнаружили динамичного, обладающего самосознанием и способствующего индустриализации класса, который живописали марксисты. Мишель Морино даже позволил себе утверждать, что на протяжении всего XVIII века народное хозяйство страдало от застоя и что традиционное представление об экономическом подъеме, которое создалось благодаря периодическому повышению цен на хлеб, явствующему из схем Лабрусса 30-х и 40-х годов, было не более чем иллюзией, поскольку вызывалось не столько увеличением производительности, сколько «мальтузианским» давлением на население. Возможно, экономика находилась не в самом плачевном состоянии, но она точно не переживала ни промышленной, ни сельскохозяйственной революции. С

французской стороны Ла-Манша так называемый *le take-off* стал казаться исключительно «англосаксонским»[7].

Эта тенденция почти совсем уничтожила ростки модернизации на нижнем ярусе трехуровневой модели предреволюционной Франции и отмела значительную часть прогрессивных сил на втором уровне. Как же это повлияло на представление о веке, который «мыслил буржуазными ценностями»? Развернутый социологический анализ основных центров мысли в стране — провинциальных университетов — показал, что мыслители принадлежали к традиционной элите, т.е. были дворянами, священниками, государственными чиновниками, врачами или судейскими. Примерно таким же был круг читателей у авторов Просвещения, тогда как круг театральных зрителей — в том числе тех, что обливались слезами над новым жанром, *drames bourgeois*, — оказался еще более изысканным. Как мы убедимся в следующей главе, сами писатели происходили из всех слоев общества — за исключением промышленного. Разумеется, можно было бы назвать «буржуазной» просветительскую литературу и трактовать ее соответствующим образом, поскольку нет ничего проще, чем приложить этот термин к определенному набору ценностей, а затем отыскивать их в печатных изданиях. Однако подобная процедура вынуждает нас до бесконечности перепевать одну и ту же песню (буржуазная литература — это литература, выражающая мировоззрение буржуазии) без какого-либо касательства к реальной истории общества. Короче говоря, ученые разных профилей откликнулись на призыв Лабрусса *cherchez le bourgeois* («ищите буржуа»)... но не сумели его отыскать[8].

В свете сказанного может показаться странным, что мы, даже будучи не в состоянии идентифицировать нашего жителя Монпелье, выставляем его образчиком столь редкого сословия. И все же статус нашего автора вполне определим по тому, чей голос он предпочитает выражать в своих записках. Он отмежевывается, с одной стороны, от дворянства, а с другой — от простолюдинов, причем симпатии, которые он с самоуверенной откровенностью высказывает на каждой странице, заставляют отнести его к средним слоям городского общества, поместив в компанию врачей, судейских, управляющих и рантье, составлявших интеллигенцию в большин-

стве провинциальных городов. Эти люди и представляли «буржуазию старого режима», были «буржуа» в том смысле слова, который был привычен для XVIII века и который современные словари определяли просто как «гражданин какого-то города». Впрочем, те же словари указывали и особые случаи употребления образованного от него прилагательного: «буржуазный дом», «буржуазный суп», «буржуазное вино», а также давали примеры с наречием, наводящие на мысль о специфическом жизненном укладе: «Он живет, говорит, рассуждает *bourgeoisement* (*зд.* «по-буржуазному»). В полдень он обедает *bourgeoisement*, с семьей, но вкусно и с прекрасным аппетитом»[9].

Предварив обсуждение книги этим скромным, данным современниками, определением буржуа, мы теперь можем с бо́льшим сочувствием и пониманием окунуться в «Описание», чтобы заняться изучением мира этого текста уже изнутри.

* * *

И все же, прежде чем окунаться, давайте окинем беглым взглядом Монпелье, восстановленный историками, — хотя бы для того, чтобы найти несколько точек соприкосновения, точек отсчета, которые помогут нам ориентироваться в дальнейшем[10].

Монпелье XVIII века был прежде всего административным и торговым центром, третьим по величине (после Тулузы и Нима) городом обширной провинции Лангедок. Число жителей в нем быстро увеличивалось (с примерно 20 тысяч в 1710 году оно выросло до 31 тысячи в 1789 году) — не только за счет прибывавших из сельской местности, как это было со многими городами, но и благодаря сокращению смертности, а также, в конечном счете, благодаря росту богатства. Теперь историки-экономисты ужали «столетие подъема», как традиционно называли завершающую стадию старого порядка, до трех десятилетий, с 1740 по 1770 год, но в Монпелье этих лет оказалось достаточно для облегчения существования почти каждого жителя (хотя экономику они преобразить не успели). Урожаи были хорошие, цены приемлемые, и на рынки города стекалась часть излишков из окрестных сельскохозяйствен-

ных угодий, которая затем расходилась по магазинчикам и ремесленным мастерским.

Монпелье, однако, не был похож на Манчестер. Он производил те же товары, что и в позднем средневековье, причем масштаб производства также оставался прежним. Например, получением яри-медянки занималось около 800 семей, и это приносило целых 800 тысяч ливров в год. Краску изготавливали в подвалах жилых домов, помещая медные блюда в глиняные сосуды, наполненные винным спиртом. Раз в неделю все женщины в семье счищали с блюд ярь (уксуснокислую медь). Ее собирали, переходя от дома к дому, посредники, а потом крупные торговые фирмы (такие, как «Франсуа Дюран и сын») продавали краску по всей Европе. Монпельерские жители изготовляли и другую чисто местную продукцию: колоды карт, духи, перчатки. Около двух тысяч человек ткали и выделывали шерстяные одеяла, известные под названием *flassadas*; все они работали на дому. Вообще-то, изготовление шерстяных вещей почти прекратилось, но Монпелье продолжал служить *entrepôt* (товарным складом) для тканей, которые производились на остальной территории провинции. А в 60-х годах XVIII века начала развиваться текстильная промышленность, в том числе частично за счет *fabriques*, выросших на окраинах города и занявших сотни рабочих рук. Многие фабрики изготовляли ситец и носовые платки, которые пользовались большим спросом из-за моды на нюхательный табак. Но ни на платках, ни на яри-медянке не совершаются промышленные революции, да и фабрики в Монпелье выпускали лишь незначительную долю продукции по сравнению со множеством ремесленных мастерских, где мастера и подмастерья (местные собратья Жерома и его «буржуа») продолжали работать по старинке, примерно как за двести лет до того. Несмотря на рост производства в середине столетия, экономика оставалась малоразвитой: это была экономика жестянщиков, колотивших в кастрюли у дверей, портных, сидевших, скрестив ноги, в окнах своих мастерских, и купцов, взвешивавших в конторах свою казну.

Деньги стекались в Монпелье в таких масштабах, что там образовалась своеобразная торговая олигархия. Как и в других французских городах, купечество стремилось уводить ка-

питалы из коммерции, вкладывая их в землю и в должности. А когда торговцы покупали себе должности в высших кругах судебной или королевской бюрократии, им жаловали дворянство. Культурная и общественная жизнь Монпелье находилась под сильнейшим влиянием четырех самых богатых семей (это были Лажары, Дюраны, Перье и Базили), тем более что там почти не было старинной феодальной аристократии. Ряды влиятельных семейств пополнялись за счет многочисленных государственных чиновников, поскольку Монпелье был наиболее важным административным центром провинции и в нем размещались интендантство, наместник и основные провинциальные чины, а также несколько королевских судов (но не местный *parlement*, высший судебно-административный орган провинции). И все же верхний слой не мог быть слишком раздут в городе, имевшем в 1768 году всего лишь около 21 тысячи жителей. Практически все представители знати были знакомы между собой. Они встречались на концертах в Академии музыки, на представлениях в «Театральном зале», на лекциях в Королевской академии наук и на церемониях в масонских ложах, коих тут насчитывалось свыше десяти. Они каждый день сталкивались друг с другом на променаде дю Перу и каждую неделю вместе обедали (в частности, по воскресеньям, когда устраивался роскошный стол после посещения литургии в соборе Св. Петра). Многие собирались в книжном магазине Риго и Понса и в *cabinet littéraire* (читательском клубе) Абраама Фонтанеля, где они читали одни и те же книги, в том числе труды Вольтера, Дидро и Руссо.

Вот какой город — весьма процветающий и прогрессивный, хотя и второразрядный, — задумал описать наш автор в 1768 году. Но не следует ставить его описание рядом с нашим и пытаться сравнивать факты (Монпелье историка) с их интерпретацией (Монпелье «Описания»), поскольку нам никогда не удастся разделить факты и их толкование — так же, как не удастся продраться сквозь текст к сколько-нибудь твердо установленной реальности. В самом деле, три предыдущих абзаца рисуют город в тех самых категориях, которые я подвергал критике: они идут от демографии и экономики к общественному устройству и культуре. Подобное описание было бы

немыслимым для нашего автора 1768 года. Он начинает с епископа и прочего духовенства, переходит к городским властям и заканчивает обзором различных «сословий» с их традициями и обычаями. Каждый отрывок следует за предыдущим в строго определенном порядке. Первая часть «Описания» вообще напоминает торжественную процессию, что неудивительно, поскольку шествия были важными событиями в жизни раннего Нового времени по всей Европе. Ведь они демонстрировали *dignités, qualités, corps* и *états*, т.е. чины, звания, сословия и вообще положение в обществе, как оно понималось в ту эпоху. Иными словами, наш житель Монпелье строил свое описание города в том же порядке, в каком его соотечественники организовывали праздничные шествия. Пусть с небольшими отклонениями, но он перенес на бумагу спектакль, который они разыгрывали на улицах, ведь шествия служили для городских жителей традиционным средством самовыражения.

* * *

Что же в таком случае выставлял напоказ Монпелье? Судя по тому, что легко восстанавливается благодаря первой части «Описания», типичная *procession générale*, или «главная процессия», довольно точно передавала так называемую «надстройку» города. Открывалось шествие живописным и громкозвучным появлением церемониальной гвардии, сопровождавшей городские чины по случаю всех торжеств: двое старших офицеров в красных мундирах с серебряными галунами на рукавах; шесть облаченных в красно-синие мантии жезлоносцев, которые несли серебряные жезлы и таблички с гербом города; следом восемь алебардщиков и трубач в красном платье с серебряными галунами, который своей музыкой расчищал путь для следовавших за ним сановников.

Впереди вышагивало первое сословие (духовенство), представленное различными религиозными конгрегациями: сначала белые покаянники — со свечами, в длинных белых балахонах и прикрыв головы капюшонами; за ними — члены менее значительных братств: Истинного Креста, Всех Святых и апостола Павла (павлисты). Далее тянулась большая, человек на сто, колонна сирот, одетых в грубую сине-серую униформу

Hôpital Général («приюта для бедных», или «богадельни»). Мальчики и девочки маршировали по отдельности, а замыкали колонну шесть интендантов, двенадцать приходских священников и шесть синдиков; все это, с одной стороны, свидетельствовало о решимости города помогать своим неимущим, а с другой — можно было расценивать как призыв к милосердию Божьему, поскольку бедняков считали близкими к Господу и тем полезными для испрашивания Его милости.

Далее шли монашеские ордена, каждый в своем традиционном одеянии и в том порядке, в каком они обосновались в Монпелье, начиная с более ранних: восемь доминиканцев, двенадцать францисканцев, трое августинцев, трое кармелитов, двенадцать «босоногих кармелитов», трое «отцов благодарения», тридцать капуцинов, двадцать реколлектов и один ораторианец. Следом тянулись церковнослужители: три кюре и одиннадцать викариев, олицетворявших пастырское попечение душ в трех приходах города.

В этом месте процессии появлялся великолепной работы крест из золота и серебра, который предвещал выход епископа. Тот выступал в окружении соборных каноников непосредственно перед Святыми Дарами, и широкие розовые одежды епископа подчеркивали его особый статус, поскольку он носил несколько важных титулов (граф де Могьо и Монферран, маркиз де ла Маркроз, барон де Сов и сеньор де ла Верюн), а его поместья приносили ежегодный доход в 60 тысяч ливров. Следует уточнить, что некоторые епархии провинции имели более древнее происхождение, а потому в Нарбонне, Тулузе и Альби сидели не епископы, а архиепископы. И все же, если к шествию в Монпелье присоединялись другие прелаты, местного епископа можно было почти безошибочно узнать по розовому облачению. Остальные двадцать три иерарха (т.е. все, кроме архиепископа Нарбоннского, которому розовые одежды дозволялись его высшим рангом) носили черное. В чисто же городских процессиях розовое облачение монпельерского епископа особенно резко выделялось на фоне черных сутан и серых меховых капюшонов каноников, которые шли в строгом соответствии со своими званиями: впереди четверо пресвитеров (Dignitaires), за ними четверо диаконов (Personnats) и далее пятнадцать простых каноников. Следом двигались

Святые Дары, составлявшие наиболее ценную часть шествия и выставленные в дароносице на изысканном церемониальном алтаре, под балдахином, который несли шесть высших чинов городской власти, консулов.

Появление в процессии консулов знаменовало собой точку слияния религиозных и светских сановников. Все консулы были одеты в парадные алые мантии с капюшонами пурпурного атласа, и каждый представлял определенную сословную группу. Первую тройку наместник провинции назначал из числа «потомственных дворян», «буржуа, живущих на аристократический манер», а также нотариусов или стряпчих [11]. Вторая тройка выбиралась из основного муниципального органа, Расширенного городского совета (Conseil de Ville Renforcé), куда входили представители от следующих корпоративных групп: во-первых, купцы, хирурги, аптекари или конторские служащие; во-вторых, золотых дел мастера, купцы, парикмахеры, винокуры, шпалерники или лица, имеющие другое «честное ремесло» (*métier honnête*); и в-третьих, мастера одной из общепризнанных гильдий (*corps de métiers*) [12]. Консулы также представляли монпельерское третье сословие (простолюдинов) в органах самоуправления провинции. Разумеется, там они были мало заметны по сравнению с епископом, поскольку носили короткое платье и не имели права держать речи. Но, по заведенной традиции, им преподносился дар в виде четырех карманных часов стоимостью в 600 ливров, и на торжественных процессиях, вышагивая при всех регалиях рядом с дароносицей, они производили внушительное впечатление. В некоторых случаях их сопровождали двенадцать членов Высшего братства Евхаристии (Archiconfrérie du Saint-Sacrément), которые шли по бокам от Святых Даров со свечами в руках. Этой — самой главной — части процессии всегда придавался эскорт из гвардейцев в форменных мундирах.

Далее шествовали прочие высокопоставленные должностные лица города в порядке, соответствовавшем их рангу и достоинству. Рота верховых гвардейцев судебной полиции (Prévôté Générale) в парадной форме открывала шествие судейских из Податного суда (Cour des Aides), высшего регионального судебного органа. Он состоял из трех палат, решавших различные правовые и административные вопросы, но члены его

шли не по палатам, а в порядке их *places d'honneur*, т.е. по степени важности занимаемых ими постов [13]. Возглавлял колонну наместник провинции, обычно из дворян королевской крови, который считался почетным старшим председателем суда (Premier Président) и по торжественным случаям сам вел заседания. С боков шли его распорядители (Commandants) и генеральные королевские судьи (Lieutenants-Généraux), все в соответствующих костюмах. Затем уже шествовали непосредственно магистраты: 13 председателей в черных шелковых мантиях и накинутых сверху алых плащах с горностаевыми капюшонами; 65 старших советников (Conseillers-Maîtres) в таких же одеяниях, но чуть приотстав от первой группы; 18 советников-правщиков (Conseillers-Correcteurs) в черных камчатых одеяниях; 26 советников-аудиторов (Conseillers-Auditeurs) в черной тафте; трое государственных стряпчих (Gens du Roi) и один секретарь (Greffier), облаченные как старшие советники, если они имели степень доктора права; старший судебный пристав (Premier Huissier) в шелковой мантии и алом плаще, но с капюшоном без меха, а также восемь рядовых приставов в розовых мантиях. Следом шли государственные казначеи (Trésoriers de France) общим числом в 31 человек, среди них четыре стряпчих и три секретаря, все в черном атласе. Казначеи были богаты и влиятельны, так как в их ведении находилось большинство дел по налогообложению.

Замыкала процессию вереница чиновников из суда нижней инстанции — Президиального суда: двое председателей, наместник сенешаля (Juge-Mage), судья по уголовным делам, генеральный королевский судья, королевский судья по особым делам, два почетных советника, 12 советников, прокурор, товарищ прокурора (Avocat du Roi), главный секретарь и множество прокуроров и судебных приставов. Председатели щеголяли в алых плащах, но без капюшонов и меховой отделки. Прочие сановники, в виде особой привилегии, были одеты в черный атлас.

На этом процессия подходила к концу, прервавшись на довольно высокой ступени в местной иерархии власти. Ее можно было бы продолжить за счет следующих корпоративных групп, которые наш автор описывает далее в своем обзоре: судебная полиция, Монетный двор, коммерческий суд и

суды по вопросам церковного и феодального права, Расширенный совет и Совет двадцати четырех, а также целый сонм комиссаров, инспекторов, сборщиков податей, казначеев и кассиров, за счет которых были безмерно раздуты местные органы государственной бюрократии. Бывали случаи, когда эти чиновники тоже участвовали в шествиях, но не в таких грандиозных, как *processions générales*: «главные процессии» считались весьма торжественными мероприятиями, которые устраивались по самым большим торжествам в году, будь то религиозным (праздник Тела Господня) или светским (день Королевского обета*), а потому допускали участие лишь наиболее высокопоставленных особ. «Главная процессия» впечатляла своими звуками, красками, разнообразием тканей. Гремели трубы; цокали по булыжнику лошадиные копыта; топало множество ног, причем одни участники шествия шли в сапогах, другие — в сандалиях, одни были с плюмажами, другие — в одежде грубого холста. Всевозможные оттенки синего и красного в платье судейских подчеркивались его галунами и меховой оторочкой, контрастируя с мрачными черными и коричневыми балахонами монахов. Улицы наводнялись широкополым атласом, шелком и камкой — по городу разливалось море плащей, мантий и мундиров, в котором там и сям мелькали кресты, жезлы и колышущееся на ветру пламя свечей.

Современному американцу может показаться соблазнительным сравнить это зрелище с матчем «Розовой чаши»** или с парадом «Мейси»*** на День благодарения, однако это было бы неверно. «Главная процессия» в Монпелье не призвана была возбуждать болельщиков или стимулировать торговлю, она лишь отражала корпоративную структуру городского сообщества. Это было громогласное заявление, которое делалось на улицах и которым город как бы знакомился сам с собой... а иногда еще представлялся Господу Богу, поскольку шествие устраивалось и в тех случаях, когда Монпелье грози-

* Праздник в честь торжественного обета, данного Людовиком XIII в 1638 г., когда он вверил свое королевство покровительству Божьей матери.

** Ежегодный матч двух лучших студенческих футбольных команд, который проводится на стадионе «Розовая чаша» в г. Пасадина, штат Калифорния.

*** Красочное шествие по Манхэттену, организуемое нью-йоркским универмагом «Мейси».

ли засуха и голод. Но как нам прочитать это заявление через двести лет после того, как улеглась пыль и были уложены костюмы?

К счастью, нашелся местный житель, который с великим тщанием разъяснил подробности. Он, в частности, отметил, что некоторые члены Податного суда не носили красного, потому что на этот цвет имели право только судейские со степенью. В суде служило удивительно много молодых людей, купивших свое место без прохождения университетского курса. Наметанный глаз легко отличал их: если председатели красовались в черном бархате, отороченном горностаем, то советники — в таком же черном и отороченном, но атласе. Наш лазутчик также разбирался в положении и доходах лиц, облаченных в различные цвета и материи. Председатели, например, имели полное, передаваемое по наследству дворянство; к ним положено было обращаться со словом «мессир»; они имели право на *commitmus* (т.е. чтобы их судили в верховном суде пэров) и пользовались определенными налоговыми привилегиями, в частности освобождались от уплаты *franc-fief* (налога с простолюдина за владение дворянским поместьем) и *lods et ventes* (дохода сеньора с наследства); они получали шесть тысяч ливров ежегодно плюс различные вознаграждения от своей должности, которая обходилась каждому из них в 110 тысяч ливров. Советники имели те же привилегии и исполняли те же судейские обязанности, но их дворянство становилось полностью передаваемым по наследству лишь с третьего поколения; их называли «месье», а годовой доход у них составлял всего 4 тысячи ливров, тогда как должности стоили каждому по 60 тысяч.

Подобные различия наблюдались и среди духовенства. Наш автор перечисляет все звания, привилегии, доходы и обязанности, уровень которых подразумевался тем, в каком порядке они следовали в процессии. Шедшие первыми доминиканцы обосновались в Монпелье раньше всех и получали 6 тысяч ливров в год. Августинцы занимали среднее положение и получали 4 тысячи, тогда как в конце колонны тянулись честолюбивые «отцы благодарения», получавшие 2 тысячи и не имевшие путного монастыря. Наш житель Монпелье замечал под сутанами кое-какой жирок. По его наблюдениям, во

Адвокаты и прокуроры. — Ил. в кн.: Lacroix P. XVII-ème siècle. Lettres, sciences et arts. France, 1590 — 1700. — Paris, 1882

многих монастырях с просторными помещениями и крупными пожертвованиями обитало всего по три-четыре священнослужителя. Монахи явно не пользовались его уважением.

Зато им пользовались преподаватели. Он с удовлетворением отмечал, что «королевские профессора» монпельерского университета носили малиновые мантии с отделанными горностаем капюшонами. На факультете юриспруденции их знали как *Chevaliers ès Lois* (рыцарей права), и этот титул даровал им ненаследственное дворянство, а также право быть похороненными в открытом гробу, при мантии и сапогах с золотыми шпорами. Правда, они получали лишь 1800 ливров в год, что, по мнению нашего автора, было несовместимо с «благородностью» их положения (а так называемые доктора-агреже, т.е. лица, занявшие преподавательскую должность по конкурсу, и вовсе ходили в черном и получали всего 200 ливров) [14]. Но «качество» и «достоинство» (если воспользоваться излюбленными словами анонимного автора) никак не связывались с богатством. Профессора были рыцарями права из-за благородства своих познаний, и куда важнее было сойти в могилу с золотыми шпорами, чем оставить после себя приличное состояние.

Таким образом, богатство, положение и власть не образовывали единого социального кода. Человеческая комедия (по крайней мере, в том виде, в каком она представала со страниц «Описания») имела свои сложности и противоречия. Кармелиты считались более почтенным орденом, но были беднее «босоногих кармелитов». Государственные казначеи занимали должности, которые обходились им куда дороже, чем должности совстников Податного суда, однако же пользовались меньшим уважением и занимали в процессии менее престижное место. Королевский наместник, шагавший во главе судейских и получавший 200 тысяч ливров в год, имел меньше власти, чем интендант, у которого было всего 70 тысяч жалованья и который вовсе не участвовал в шествии.

Те, кто не участвовал, существенно усложняли общую картину, поскольку, даже оставаясь вне процессии, влияли на ее восприятие зрителями, во всяком случае, автором «Описания». Он, в частности, отмечает, что тринитарии, место которых в иерархии монашеских орденов было разве что чуть

ниже середины, испытывают трудные времена и более не представлены в шествиях. Некогда богатые и влиятельные иезуиты перестали вышагивать следом за реколлектами, так как были выдворены из страны. «Синие покаянники» (недавно возникшая, но весьма популярная конгрегация) хотели, чтобы их пустили впереди «белых покаянников», а когда проиграли в этом споре, то вынуждены были воздержаться от участия в процессиях. Три братства, следовавшие за «белыми», и не собирались бросать им вызов, однако, признав свое подчиненное положение, они настроили против себя остальные восемь конгрегаций, которые тоже оказались за бортом. Наш автор аккуратно перечислил все восемь, добавив, что их «мало знают в народе», потому что они отстранены от участия в шествиях [15]. Столь же бегло он прошелся по не участвовавшим в процессии муниципальным учреждениям: судебная полиция, Монетный двор и проч. и проч. Все они могли сколько угодно разгуливать при мантиях и плюмажах по другим поводам, но в «главной процессии» за последним приставом Президиального суда подводилась черта — ни одна корпорация не пользовалась достаточным почетом, чтобы следовать по торжественным случаям за этим приставом. И все же те, кто не был допущен к участию в процессии, тоже привлекали внимание зрителей — своим явным отсутствием. Ведь и отрицательные категории влияют на восприятие целого: верно истолковать шествие было столь же невозможно без пробелов, как и без тех его частей, что выпячивались своей пышностью и показным блеском.

В чем же заключался смысл целого? Никакую процессию нельзя понимать буквально как модель общества, поскольку в ней подчеркиваются одни элементы и игнорируются другие. В шествиях доминировали священнослужители, но они пользовались весьма малым авторитетом у зрителей вроде нашего автора, который указывает, что монахов перестали приглашать на обеды в высший свет, как бы красиво они ни смотрелись на церемонии в день Тела Господня. Он также подчеркивает, что Монпелье был торговым городом и что его жители испытывали здравое уважение к богатству. Тем не менее в процессиях отводилось значительное место беднякам и очень мало — купцам, тогда как мануфактурщикам его не нашлось

вовсе. От участия в шествиях были отстранены почти все ремесленники, поденщики и слуги, которые, между прочим, составляли большинство населения; а еще к ним не допускались протестанты, т.е. каждый шестой житель города.

И все же процессии не функционировали как миниатюрные подобия общественной структуры, в них лишь выражалась квинтэссенция общества, его наиболее важные *qualités* (*букв.* «качества») и *dignités* (достоинства). «Качество» человека определялось в «Описании» не столько его личностными характеристиками вроде ума или храбрости, сколько корпоративным званием и должностью. Из текста также явствует, что общество состояло не из независимых индивидуумов, а из корпоративных единиц и что каждая корпорация занимала собственное место в иерархии, которая, в свою очередь, воплощалась в процессиях (хотя шествие не представляло иерархию в ее простой, линейной форме). Как показывает ссора между «белыми» и «синими» покаянниками, соблюдение старшинства по рангу играло важную роль, однако оно могло принимать довольно замысловатый вид. Каноники следовали за кюре, занимавшими более низкое положение в церковной иерархии, — при том, что внутри колонны каноников высшие их чины шли первыми. В разных частях процессии наблюдалось противопоставление по разным признакам: не только клирики противопоставлялись мирянам, но и священнослужители — церковнослужителям; не только суд высшей инстанции противопоставлялся суду низшей, но и внутри каждого суда магистраты отделялись от *Gens du Roi* (государственных стряпчих).

Тем не менее общая морфология проступает достаточно ясно. По ходу процессии чины и звания росли: от монашеских конгрегаций к орденам, затем к белому духовенству и к епископу в окружении соборных каноников, сопровождавших Святые Дары — живое воплощение тела Христова. В этой, самой священной, части процессии духовное сословие постепенно уступало место гражданскому обществу, поскольку балдахин над Дарами несли шесть консулов, т.е. высших чиновников муниципальной власти. Они, в свою очередь, подразделялись на тройки: первая представляла патрициат — дворян и рантье, вторая набиралась из наиболее вы-

сокопоставленных цеховых мастеров. Таким образом в центре процессии сходились вместе три основных сословия королевства: духовенство, дворянство и простолюдины, — после чего шествие сходило на нет, пропустив через себя сначала городских чиновников в порядке убывания их значимости. Достоинство участников шествия вытекало не столько из их контраста со стоявшей по бокам немытой публикой, сколько из тонких различий, мысленно проводившихся внутри шеренги. В Монпелье — как в Индии — *homo hierarchicus* процветал благодаря сегментации, а не поляризации общества [16]. Вместо разделения на классы социальный уклад проходил перед глазами зрителя, демонстрируя различные ступени высокопоставленности.

Судя по «Описанию», зритель видел не только явное разделение по чину и званию. Он замечал и невидимые разграничения, поскольку знал, кого отстранили от участия в шествиях, а кого, наоборот, допустили к ним. Отстранение и допуск знаменовали собой тот же процесс демаркации, который происходил на улицах и в умах людей. Но разграничения обретали силу, лишь воплотившись в действе. «Главная процессия» упорядочивала реальность. Она служила не только утилитарной цели — положить конец засухе или способствовать упрочению авторитета судейских и прочих чинов. Она существовала ради самовыражения, как существуют многие произведения искусства или декларации: социальная иерархия являла себя... самой себе.

* * *

Язык процессий был, однако, архаичен и не умел выразить перемены в устройстве общества, связанные с экономическим подъемом середины века. Наш автор ощущал, что его мир меняется — и не мог определить эти перемены, подобрать слова для их выражения. Он стал искать подходящую терминологию по мере приближения ко второй половине «Описания», которая посвящена не столько официальным учреждениям Монпелье, сколько социально-экономической жизни города. Достигнув примерно середины, в главе под названием «Дворянство и прочие классы горожан» он вдруг остановился и резко сменил набор метафор. Вместо парадного ше-

ствия высокопоставленных особ, каковым Монпелье предста вал ранее, город стал трехъярусной структурой «сословий (*états*).

Такой подход был вполне естествен для провинции и ко ролевства, население которых считалось разделенным на три традиционные категории: молящихся (духовенство, или пер вое сословие), воинов (дворянство, или второе сословие) и тружеников (все остальное население, или третье сословие). Однако наш автор настолько перетасовал эти категории, что уничтожил их привычный смысл. Прежде всего он избавил ся от духовенства — под тем предлогом, что «оно не пользу ется у нас в городе уважением и никоим образом не влияет на повседневную жизнь»[17]. Итак, одним смелым ударом он ис ключил группу населения, игравшую весьма значительную роль как в общепринятой модели трех сословий, так и в пер вой части «Описания». Затем он возвел в ранг «первого сосло вия» дворянство (все «сословия» следует в данном случае упот реблять в кавычках, дабы они не путались с традиционным их пониманием). В Монпелье, поясняет наш автор, не было круп ных феодалов, так что в «первое сословие» там входили лишь «дворяне мантии», т.е. магистраты, удостоенные дворянства благодаря своим высоким судейским чинам (в отличие от ста ринных феодальных «дворян шпаги»). Хотя эти буржуа лишь недавно обрели дворянский титул и их можно было юридиче ски отнести ко второму разряду «первого сословия», в бы товом плане их жизнь не отличалась от жизни других богатых горожан: «Эти дворяне [мантии. — *Р. Д.*] не наделены каки ми-либо особыми полномочиями, привилегиями или почетом в нашем городе, где наибольшее значение придается [не знат ности, а] богатству и имуществу»[18].

Далее наш автор поместил во «второе сословие», куда тра диционно относили дворянство, буржуазию. Этой категории сограждан он явно отдавал свои симпатии, что подтверждает ся и его выбором слов:

> «Буржуазное, или второе сословие. Означенное "второе сословие" охватывает не удостоенных дворянства магистратов, а также законоведов, врачей, стряпчих, нотариусов, финансистов, купцов, коммерсантов и всех, кто существует на собственные доходы, не имея при этом особой

профессии. Этот класс представляет собой наиболее полезный, наиболее значительный и наиболее богатый во всех государствах. Он поддерживает первый [т.е. "первое сословие". — *Р. Д.*] и манипулирует последним по своему хотению» [19].

«Третье сословие» наш автор представил не столько как рабочий класс, сколько как старинный *artisanat* (ремесленное сословие). Он называет его членов «ремесленниками» и «простым людом», разделяя их на три «ветви»: ремесленники, работавшие не одними руками, а и головой (*artistes*, «творцы»); мастеровые, работавшие по механической части (их ремесла назывались *métiers méchaniques*); поденщики и сельскохозяйственные рабочие, так как Монпелье, подобно многим другим городам раннего Нового времени, имел на своей территории и сельскохозяйственные угодья — поля и сады, которые обрабатывались значительным числом рабочих рук [20]. Наконец, была еще домашняя прислуга — и безработные бедняки, которых автор перечисляет после сельскохозяйственных рабочих, не включая их, однако, в свою классификацию, поскольку они (за исключением нескольких официально зарегистрированных нищих, а также бедняков, призреваемых в богадельне) не относились ни к одной из корпораций. Они не составляли особого сословия и существовали вне городского общества, хотя кишмя кишели по всему Монпелье.

Наш автор избрал странный способ для изображения социальной структуры — ведь во второй части «Описания» (в отличие от первой, которая представляла нам движущуюся процессию) речь идет именно о структуре, о сооружении, напоминавшем одно из основательных городских зданий. На нижнем этаже здания обосновалась буржуазия, оттеснившая дворянство с *piano nobile* (*букв.* «аристократического этажа». — *ит.*) на верхотуру, тогда как простолюдины по-прежнему остались обитать под лестницей. Но язык сословий был не более современным, чем язык чинов и званий. Взяв устарелый набор категорий, автор освободил их от прежних значений и перестроил в порядке, который бы отражал социальное устройство, подобное которому открыто проявится уже в XIX веке: общество «знати», которым заправляют старинная элита совместно с нуворишами; бальзаковское общество, в

котором основной силой является богатство, но богатство, нажитое традиционными способами — за счет земли, должностей, торговли и рент, — а не с помощью промышленной революции.

Что же представляла собой буржуазия Монпелье? Без стеснения пользуясь этим термином, наш автор и не подумал дать его определение. Вместо этого он приводит в пример конкретных людей — в основном врачей, адвокатов, нотариусов, но и нескольких купцов. Наконец, он описывает социальный тип, по которому и был назван данный класс, т.е. в чистом виде «буржуа»: это человек, который существует на арендную плату за землю и на другие постоянные доходы, не занимаясь какой-либо профессиональной деятельностью. В «Описании» этот термин звучит едва ли не архаизмом: «буржуа, живущий на аристократический манер», «буржуа, существующий исключительно на ренту»[21]. Люди такого сорта весьма мало способствовали индустриализации. Правда, сюда входили также купцы и финансисты, однако они действовали в рамках коммерческого капитализма, который существовал уже с середины средневековья. Предприниматели, в отличие от раньше, вообще не попали на страницы «Описания», что тем более удивительно, поскольку они, пусть в небольшом количестве, уже были в Монпелье. *Sieurs* (господа) Фарель и Парлье держали текстильные *fabriques* с 1200 рабочими, однако наш автор не упоминает ни их самих, ни эти фабрики. Зато он дает подробный список всех городских ремесел. Как ботаник и зоолог перечисляют всю флору и фауну подряд, так он приводит всевозможные разновидности мастеровых, начиная с сугубо местных — перчаточников, парфюмеров, торговцев ярью — и переходя к тем, что были распространены по всем городам раннего Нового времени: сапожники, оловянщики, портные, шорники, слесари, ювелиры, стекольщики, медники, парикмахеры, канатчики. Список растянулся, включая в себя сотни мастерских и теряясь в непереводимых названиях давно вымерших ремесел вроде *mangonniers, romaniers, passementiers, palemardiers, plumassiers* и *panguistiers*. Из него явствовала экономика ремесленного типа, разделенная стенами гильдий на множество небольших ячеек: это был замкнутый мир мастеровых

и лавочников, от которого, казалось, должно было пройти еще несколько столетий до промышленной революции.

Наш автор явно чувствовал себя уютно в этом мире. Он сомневался в преимуществах промышленного производства:

> «Нельзя пока с уверенностью сказать, чего больше проистекает от обилия фабрик в городе: добра или зла. Разумеется, они дают работу огромным массам людей обоего пола и самого разного возраста, кормят их вместе с чадами и домочадцами. Но не разумнее было бы использовать труд этих людей для земледелия? Будучи презираемо городскими жителями и оставляемо на долю крестьян, производство сельскохозяйственных товаров наверняка более ценно и необходимо, нежели производство тканей или изысканных спиртных напитков. По сути дела, мы вполне можем обойтись без последних, ибо они совершенно излишни, зачастую вредны для здоровья и уж, во всяком случае, способствуют поддержанию роскошного образа жизни» [22].

Понятно, что в этих замечаниях присутствует налет физиократической теории и модного пренебрежения роскошью, и все же автору явно не нравились риск, расширение производства, увеличение прибыли и прочие виды деятельности, предполагавшие современный дух предпринимательства. Он радовался тому, что мануфактурное производство в Монпелье «играет незначительную роль», и далее объяснял: «Эта его маловажность и делает такое производство жизнеспособным. Наши фабриканты выпускают столько товара, сколько точно продадут, они не рискуют капиталами других и имеют надежду на продолжение своего дела. Вести себя подобным образом весьма благоразумно. Небольшая, но верная прибыль, которая может быть добыта снова и снова, несомненно лучше рискованных спекуляций, на которые никоим образом невозможно рассчитывать» [23]. Это речи «буржуа абсолютистской Франции», а вовсе не промышленного магната или апологета капитализма. Но если представления нашего автора об экономике были безнадежно отсталыми, что же в его общем мировоззрении кажется непреодолимо буржуазным?

Судя по тексту, наш лазутчик чувствовал себя буржуа до мозга костей, однако, похоже, это ощущение было почти не связано с его пониманием или непониманием экономического уклада: оно вытекало из его интерепретации общества. Он

поместил «буржуазное сословие» в оппозицию к двум другим основным сословиям Монпелье, дворянству и простонародью. Каждое из них было по-своему опасно, поэтому наш автор внимательно следил за тем, что происходит на границах, и определял положение буржуазии через отрицание, через со отнесение ее с враждебными соседями.

Осознавая важность *dignité* (достоинства), связанного с определенным общественным положением, наш автор от вергал дворянское понятие чести, обнаруживая вместо него здравое уважение к деньгам. В высших кругах Монпелье име ло значение богатство, а не честь, настаивает он, хотя в та ких аристократических городах, как Тулуза, положение было иным:

> «Незначительное число наших сограждан, которые состоят в рыцарских орденах, утверждает меня во мнении, высказанном в предыдущей главе, а именно, что у нас мало родовитых семей и наблюдается явное безразличие к обретению чести и знатности. Я мог бы также отнести это на счет существующей здесь склонности к выгодным делам, то есть делам, которые приносят твердый доход и которым отдается предпочтение перед честью, ведь она не приносит ни удовлетворения, ни награды в городе, где каждого знают исключительно по размеру его состояния» [44].

Различия между дворянами и простолюдинами можно в конечном счете свести к вопросу богатства, которое на старинный манер исчислялось приданым: в «первом сословии» невесты приносили своим женихам от 30 до 60 тысяч ливров, во «втором» — от 10 до 20 тысяч. Наш автор не видел ничего зазорного в использовании столь грубой меры аристократизма, поскольку подчеркивал, что почти все монпельерские дворяне были выходцами из буржуазии, которые приобрели свою «знатность» через покупку дворянских должностей. Впрочем, стоило им войти в высшие слои общества, и они больше не желали унижать себя каким-либо трудом; для большинства из них «аристократический образ жизни» означал полное ничегонеделанье. Но нашему автор праздность (*fainéantise*), под каким бы благородным обличьем она ни выступала, казалась тяжким грехом. Каждый должен приносить пользу. Склонность к безделью, оправдываемая снобизмом,

боязнью потерять лицо, превращала «господ» в презренных людишек, с каким бы напыщенным видом они ни выступали в процессиях. Автор питал уважение к магистратам из Податного суда и к государственным казначеям, но сожалел о настроениях, подспудно царивших в их сословии:

> «Особенно прискорбно, что представители первого сословия почитают себя униженными, ежели их младшие сыны приобретают полезную профессию, которая бы давала им возможность жить честно, зарабатывая реальным трудом. Это совершенное предубеждение и ошибка, когда председатель, советник, правщик, аудитор, государственный казначей или даже магистрат в Президиальном суде считает своих младших детей обесчещенными, если они избрали для себя профессию законоведа, врача, стряпчего, нотариуса, купца и проч. Отцы с презрением относятся к таким профессиям, хотя по большей части сами вышли из них. Их бестолковость, тем более обидная в городе, где вроде бы прислушиваются к голосу разума, означает, что пропасть молодых людей обречена́ на безделье и бедность, тогда как их можно было бы занять делом, с пользой для них самих и для общества» [25].

Тон этого отрывка выдает повышенную чувствительность автора в отношении аристократии, противоречащую его утверждениям об относительной незначимости «первого сословия». Он никогда не упускал возможности покритиковать налоговые льготы дворянства, как бы они ни были малы в провинции, где основной налог (талья), взимался с земли, вне зависимости от статуса ее владельца; указать на аристократические привилегии, также весьма незначительные (право *committmus* плюс право на освобождение от обязанности служить в муниципальной гвардии и платить *franc-fief*); или высмеять недостаток профессионализма у дворян-магистратов и абсурдность дуэлей для разрешения вопросов чести. Его взгляды имели много общего с требованиями, выдвигавшимися в 1789 году третьим сословием в привычном смысле слова, т.е. всеми, кто не принадлежал к духовенству или дворянам.

При этом он отнюдь не проявлял воинственности. Напротив, он хвалил великодушие и справедливость власти, а его политические комментарии вполне могли исходить от одной из интендантских служб, для которых политика была в основном связана с собиранием налогов и улучшением дорог. Наш

автор не мог и вообразить себе политический орган из независимых индивидуумов, которые избирают собственных представителей или напрямую участвуют в государственных делах. Он мыслил корпоративными группами, поэтому ему казалось совершенно естественным, что, когда провинция посылает в Версаль делегатов, они должны говорить с королем по сословиям: сначала через епископа, которому разрешено просто стоять, затем через дворянина, который держит речь, согнувшись в поклоне, и, наконец, через члена третьего сословия (в привычном значении этого термина), который обращается к трону, преклонив одно колено. Сходными идеями окрашен и его отчет о городской администрации. Он считал весьма удачным для Монпелье, что его консулов, в отличие от их коллег в Тулузе и Бордо, не жалуют автоматически дворянством. Однако же, неодобрительно отзываясь о такого рода аннобилировании, он не подвергал сомнению то, что консулы представляют не отдельных людей, а сословия: «Хорошо, что подобная привилегия [возведение в дворянское достоинство благодаря получению должности в управе. — *Р.Д.*] не практикуется, ибо она порождала бы множество аристократов, которые бы только опускались, впадая в бездеятельность и бедность. К тому же назначение [консулов] по слоям более полезно, так как в этом случае каждый класс и подкласс в общественной системе города имеет право претендовать на вхождение в муниципальные органы управления»[26]. Наш буржуа не видел смысла в дворянстве как сословии и тем не менее признавал сословную иерархию наиболее естественным способом организации общества.

Похоже, он также готов был смириться с некоторым количеством аристократов-буржуа. Его скорее волновало *embourgeoisement* (обуржуазивание) простолюдинов, поскольку наибольшая опасность «второму сословию» исходила именно со стороны «третьего». Какие бы достоинства ни находил у простого народа Руссо, наш автор придерживался иного мнения: «Простой люд по природе своей дурен, распущен и склонен к грабительству и бунтам»[27]. Он развивает идею о зловредности народа, разнося его прегрешения по четырем основным рубрикам: 1) простолюдины при малейшей возможности обманывают своих хозяев; 2) они никогда не исполняют рабо-

ту как следует; 3) они отлынивают от работы, стоит им только усмотреть предлог для гульбы и дебоша; 4) они влезают в долги, которых никогда не возвращают [28]. Эти обвинения напоминают ухудшенный вариант этики разгильдяйства, внушавшейся Жерому печатниками-подмастерьями, и наш монпельерский автор действительно наблюдал нечто сходное в культуре ремесленного люда, хотя и с противоположной точки зрения. Он допускал, что ремесленники, в отличие от дворян, что-то делали: они работали, пусть иногда и плохо. Но они были склонны к «скотству» [29]. До него доходили слухи о том, что собратья Жерома создают в Монпелье товарищества со странными обрядами инициации и бесконечными застольями, и он невольно испытывал презрение к их тайному учению, «ничтожному и глупому» [30]. Учение это находило выход в насилии, ибо ничто не доставляло работнику большей радости, чем после попойки с товарищами отколотить случайного прохожего или сцепиться в драке с такими же пьяными подмастерьями из соперничающей гильдии. Единственным средством излечения от таких замашек могла бы стать виселица или, на худой конец, ссылка. Но власти были слишком снисходительны. Прежде чем отмеривать наказание, они требовали доказательств, да и наказывали обычно весьма мягко, тогда как сосуществовать с «третьим сословием» можно было одним-единственным способом: ставя его на место.

Эти суждения выдают страх и непонимание чуждого образа жизни. Наш автор утверждает, что Монпелье захлестнула волна преступности. По улицам бродили толпы подростков, представлявших «самое отребье простого люда», которые отнимали у прохожих кошельки и резали им глотки [31]. Повсюду открывались трактиры, бильярдные, игорные дома и притоны разврата. Почтенному горожанину нечего было и думать о вечерней прогулке по Королевскому саду, если он не хотел столкнуться с грозной оравой слуг и прочего простонародья. Судя по «Описанию», такой страх вызывался культурной пропастью, разрывом между культурой низов и культурой более изысканного общества — знати из числа дворян и богатых буржуа, которую автор именует *les honnêtes gens* (порядочными людьми) [32]. Сословия жили не совсем в отдельных мирах; наш автор даже сокрушается о том, что «третье сословие» не было

совершенно изолировано, и при каждом упоминании о нем подчеркивает отличия от двух других сословий — в языке, платье, привычной еде и развлечениях. Во второй половине «Описания» он уделяет столько внимания этой теме, что фактически превращает заключительную часть в трактат о культуре и обычаях монпельерцев, причем теперь общество у него делится уже не на три сословия, а на два враждебных лагеря: патрициев и плебеев.

* * *

Все жители города говорили на местной разновидности *langue d'oc* (провансальского, или окситанского, языка), однако официальная деятельность велась исключительно на французском, почему два первых сословия были в основном двуязычными, тогда как «третье» владело только своим диалектом. Как и по всей Европе раннего Нового времени, важным знаком социального положения служило платье. Господа носили короткие панталоны, а работники — длинные. Дамы одевались, в зависимости от времени года, в бархат и шелка, а женщины простого звания носили шерсть и полотно, не делая особой разницы между сезонами. Всяческие украшения — начиная от пряжек на башмаках и кончая париками — отличали два первых сословия от «третьего», не проводя, однако, разграничения между «первым» и «вторым».

Такими же отличительными признаками служили сведения о том, чем, когда и как питались представители разных сословий. Ремесленники и простолюдины ели в самое разное время, как на рабочем месте, так и в часы досуга, поскольку их труд перемежался бездельем и развлечениями в самых разных дозах. Каменщики обычно делали восемь перерывов на еду в течение рабочего дня, но и другие ремесленники устраивали такие перерывы не менее четырех раз на дню. Буржуа и «дворяне мантии», напротив, ели три раза в строго определенное время: в завтрак, обед и ужин. В тех редких случаях, когда знатные горожане питались в общественном месте, они шли на приличный постоялый двор, который держал *hôte majeur* (хозяин высшей категории), и платили за весь обед сразу, тогда как ремесленник шел в кабак, который держал *hôte mineur* (хозяин низшей категории), и расплачивался за каждую пор-

цию отдельно. Трактир стал чужой территорией для двух первых сословий, хотя еще полстолетия тому назад его завсегдатаями были все и напиваться было принято совместно — так, по крайней мере, считает наш автор. Он с одобрением замечает, что современный буржуа и дворянин не пьет до одури и предпочитает тонкие вина, чаще всего привозимые из других провинций. Ремесленники и поденщики отдавали преимущество местному *gros rouge* (простому красному), которое они хлестали в огромных количествах, для форсу даже полоща им горло.

Еще одной демаркационной линией служили в Монпелье игры, в которые играли разные категории граждан, и наш автор тщательно перечисляет их, указывая, какие виды развлечений были приемлемы для двух высших сословий. Не *ballon* (мяч), не *jeu de mail* (игра в шары), которые были сопряжены с грубыми схватками, подобающими лишь крестьянам и работникам; не бильярд, который завлекал в дурную компанию; но старинная игра *perroquet* (попугай), «самая красивая, самая аристократическая и самая увлекательная для *honnêtes gens* (добропорядочной публики)»[33]. В ней участвовали два отряда «рыцарей» из «второго сословия» — в красно-синих мундирах с золотой отделкой и шелках, а также в шляпах с плюмажами. Несколько дней они под командованием офицеров из «первого сословия» маршировали по улицам вслед за оркестром и деревянным попугаем на палке. Затем они привязывали попугая к мачте суденышка, которое стояло в заросшем травой крепостном рве за городскими стенами, и состязались в стрельбе из лука. Рыцаря, сбившего попугая, провозглашали «королем». Перед его домом воздвигалась триумфальная арка, и рыцари ночь напролет танцевали со своими дамами, после чего удалялись на пир, который закатывал «король», пока народ угощали «простым красным». Однако буржуа нечасто доводилось изображать рыцарей и их дам. По свидетельству нашего автора, последнее *Divertissement du Perroquet* («Игрище с попугаем») происходило два поколения тому назад, в 1730 году, в честь рождения дофина. Иначе говоря, это было куда меньшим развлечением, чем веселые потасовки, которыми каждую неделю ублажали себя рабочие во время некоего подобия футбольных матчей в том же рве.

Из отчета об играх и празднествах явствует, что веселее всех жилось «третьему сословию». Если «первое» и «второе» сословия лишь торжественно шествовали в процессиях, то ремесленники и рабочие могли покуролесить вокруг *Le Chevalet*, деревянного коня с восседающим на нем простонародным «королем», который, бывало, заводил всю округу: стар и млад пускались в пляс, участвуя в известной еще с XVI века сатирической аллегории на придворную жизнь типа «Оперы нищих»*. *Petites gens* (бедняки) обожали танцевать, и часто их пляски давали им возможность поиздеваться над *les grands* (вельможами), особенно во время карнавалов, шаривари и увеселений в первый день мая. Наш автор честно описал их все, однако он явно не одобрял подобные развлечения, с удовлетворением замечая, что буржуа оставили их на долю низших классов. «У нас в городе подобные увеселения совершенно вышли из фавора, уступив место заботам о зарабатывании денег. Посему более не устраивается ни больших праздников, ни "попугайных" состязаний в стрельбе из лука, ни всеобщих забав. Если от времени до времени такое бывает, то исключительно среди простого народа. *Les honnêtes gens* участия в них не принимают»[34].

Бурный кутеж ушел даже из свадебных застолий, сохранившись только среди «третьего сословия». В других слоях общества на свадьбы стали приглашать не всю округу, а лишь близкую родню. Не было больше пьяных, не было крика и ссор за столом, не было разбитых тарелок и сломанной мебели, не было шумных вторжений со стороны церемонии, нарочно организованной, чтобы испортить праздник (*trouble-fête*), или непристойностей, которые иногда прорывались из трактира или с шаривари. «Все это создавало столь невероятный хаос, что, если бы кто попытался возродить такие традиции сегодня, его бы наказали за нарушение порядка. Общие перемены возымели самые благоприятные последствия. Теперь за столом царят приличия и порядок. Они просто необходимы на любых торжествах, и, если не изменится нацио-

* Английская балладная опера (1728), либретто к которой сочинил Джон Гей (1685–1732), а музыку – живший в Англии немецкий композитор Иоганн Кристоф Пепуш (1667–1752).

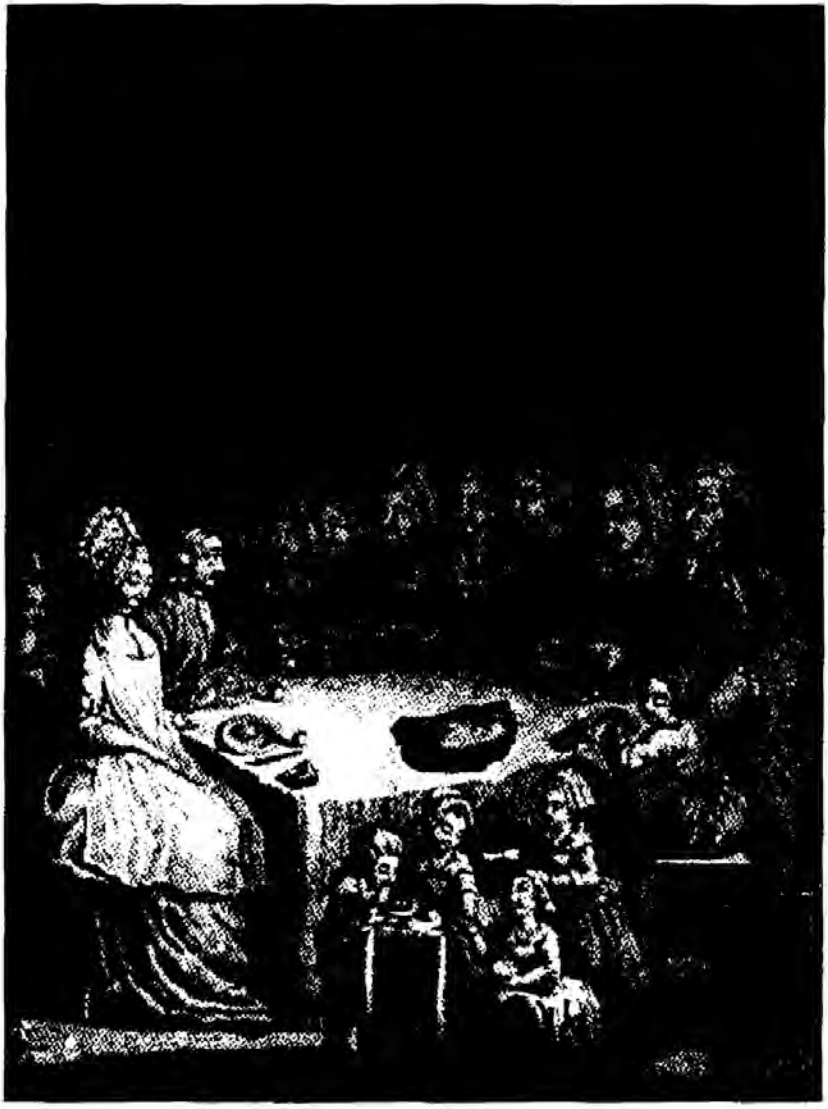
нальный характер, есть все основания надеяться, что так будет и впредь»[35].

Конечно, среди ремесленного люда еще наблюдались проявления раблезианства, и наш автор наверняка узнал бы их в истории Жеромова ученичества. Но его грело сознание того, что колдовство, насылание порчи и шабаши более не вызывают в Монпелье взрывов чувств. Если суеверия еще и живы, то лишь среди простонародья — так же, как грубые игры и буйные празднества. Высшие слои общества устранились от увеселений, в которых несколькими поколениями ранее участвовали все жители, и замкнулись в собственных видах культуры. «Теперь преобладают приличные развлечения. Одним из них стало учреждение Академии музыки [филармонии. — *Р. Д.*], благодаря которой прочие [народные увеселения. — *Р. Д.*] канули в прошлое. Чтение хорошей литературы, усиление философского духа общества заставили нас забыть все глупости наших предшественников»[36]. Если кое-какие глупости в виде народной культуры и сохранились, то «добропорядочная публика» держала их в узде.

* * *

Не следует, однако, думать, что городское сообщество разделилось на ряд независимых друг от друга культур и что нашему автору, при всей его буржуазности, больше не о чем было беспокоиться. Его волнует, в частности, проблема перехода людей из одной категории в другую.

Демократизирующее влияние богатства распространялось от буржуазии как вверх, так и вниз. Разумеется, большинству подмастерьев и простых работников не суждено было за всю жизнь купить что-либо дороже часов, но хозяин ремесленной мастерской (скажем, тот же часовщик или печатник вроде Жеромова «буржуа») вполне мог жить на широкую ногу — так, как если бы принадлежал ко «второму сословию». У многих зажиточных ремесленников было столовое серебро, и они питались не хуже буржуа. Их жены и дочери, подобно своим товаркам из высших сословий, пили по утрам кофе. Шелковые чулки носили теперь представительницы всех классов, а потому какую-нибудь приказчикову дочку можно было принять за знатную даму — если не обратить внимание на кое-



[Семья за столом]. — Ил. в кн.: Rétif de la Bretonne N. La paysane pervertie, ou Les dangers de la ville. — T. 1. — La Haie, 1784

какие мелочи ее прически, более короткую юбку и провокационно-изысканную элегантность туфель. Более того, иногда камердинеры, вырядившись не хуже своих господ и нацепив шпагу, самодовольно прогуливались по променадам в самом лучшем обществе. Особенно заметно происходило стирание различий между тремя ветвями «третьего сословия». «Самый что ни на есть дрянной ремесленник держит себя на равных с самым уважаемым *artiste* [ремесленником высшей категории] или с тем, кто занимается более высоким ремеслом, нежели он сам. Их невозможно отличить ни по уровню расходов, ни по платью, ни по домам, в которых они живут. Только сельскохозяйственный рабочий остается на своем месте»[37].

Особенно смущали нашего автора переходы из «третьего сословия» во «второе» (например, хирургов), отчего критерии «качества» совсем расплывались. Традиционно хирурги принадлежали к верхнему кругу «третьего сословия», поскольку были *artistes* и входили в гильдию цирюльников. Однако десятеро из них в качестве «королевских лекторов-демонстраторов» вели занятия со множеством студентов в передовом по тому времени хирургическом училище имени св. Козьмы*. Они ходили в простых черных мантиях и получали всего 500 ливров жалованья, но, наряду с другими педагогами, могли претендовать на некую аристократичность, почему им особым декретом даровали смешанный статус «видного гражданина», закреплявший за этими «профессорами» «достоинство их сословия», — если только они не откроют цирюльню и не начнут брить клиентов[38]. Хирургов же, которые занимались и бритьем, продолжали числить «ремесленниками», что было полутора сословиями ниже.

Помимо денег разрушению социальных категорий способствовало и образование. При всем уважении к нему нашего автора, образование тревожило его, а уж для «третьего сословия» и вовсе казалось вредным. К его ужасу, конгрегация братьев милосердия открыла две большие школы, где дети из низов бесплатно обучались чтению и письму. Он призывал не только к закрытию этих школ, но и к отмене обучения грамо-

* Святые мученики Козьма и Дамиан считаются покровителями хирургов.

те в приюте для бедных. Ремесленникам следовало запретить отдавать сыновей в среднюю школу (*collège*)*, а что касается высшего образования, то университет обязан был строго соблюдать правило, по которому мастеровые так называемых «механических» профессий не допускались на факультеты медицины и права[39]. Только закрыв для «третьего сословия» доступ к ученой культуре, общество могло обезопасить себя от необходимости содержать уйму безработных интеллектуалов, которым следовало идти за плугом или трудиться рядом с отцами в мастерских.

В XVIII веке подобные аргументы сплошь и рядом использовались в спорах по вопросам просвещения, и Вольтер не раз обрушивал на них свою критику. Но нашего автора огорчало не столько экономическое бремя, которым было чревато образование простолюдинов, сколько то, что таким образом создавалась угроза для традиционного сословного деления. «Это несовместимо с приличиями, чтобы какой-нибудь носильщик портшеза, уличный крючник, самый презренный, подлый человечишка имел право послать своего сына в среднюю школу... и чтобы невоспитанные и бесчувственные дети простонародья общались с отпрысками почтенных фамилий, подавая им плохой пример своими скверными поступками»[40].

Низы были плохи сами по себе, однако еще хуже была исходившая от них угроза всему социальному устройству, особенно при их переходе из своего сословия наверх. Наиболее уязвимыми местами общества были границы, соединительные швы между сословиями, корпоративными группами, слоями, классами и прочими категориями населения. Не случайно наш автор рекомендовал укрепление границ всеми возможными способами. Шумную и склонную к бунтарству студенческую братию следовало обязать носить форму, причем разную для разных факультетов, чтобы не смешивались с обычными людьми. Парки и променады следовало держать открытыми для разных социальных слоев в разные часы. И, наконец,

---

* На самом деле в XVIII веке слово *collège* имело значение средней школы только для «коллежей» при монашеских орденах, в остальных случаях (в отличие от современной Франции) это были учебные заведения, дававшие высшее образование.

прислугу нужно было обязать носить на одежде отличительные знаки:

> «Ведь трудно представить себе большую нелепость, чем повар или камердинер, который вырядился в платье, обшитое позументами, нацепил шпагу и примкнул к изысканнейшей компании на променаде; или чем горничная, искусно подражающая туалетом госпоже; или чем любая другая домашняя прислуга в одеждах, которые более пристали людям благородным. Это просто отвратительно. Слугам положено находиться в услужении, в подчинении у господ. Негоже, чтобы они чувствовали себя независимыми и на равной ноге с настоящими гражданами, посему им следует запретить смешиваться с оными, а ежели таковое смешение необходимо, их должно быть возможно отличить по специальному знаку с обозначением сословия, дабы не путать со всеми прочими» [41].

Зато наш автор одобрял компенсирующую тенденцию к слиянию культур на стыке между «первым» и «вторым» сословиями, ибо если в низах общества прирастание богатства представлялось опасным, то в верхах оно было многообещающим. «С того самого дня, как люди стали быстро богатеть на финансовых операциях или торговле, обрело новый авторитет второе сословие. Роскошь и траты, которое оно может себе позволить, вызвало зависть первого. Неизбежно эти два сословия слились, и теперь они одинаково ведут домашнее хозяйство, устраивают обеды и одеваются» [42]. Формировалась новая городская знать, призванная служить противовесом низам. И дело было не в том, что все больше буржуа обретали дворянство, покупая себе соответствующие должности; скорее они использовали свое богатство для создания нового стиля культуры, который казался привлекательным и аристократии.

Давайте еще раз обратимся к немаловажной для Франции теме обеда. По наблюдению нашего автора, роскошества вышли из моды: в лучших домах предпочитают за столом «благопристойную сдержанность» и «разумную бережливость» [43]. Он имеет в виду, что высший свет отказался от обеденных оргий эпохи Людовика XIV, когда банкеты превращались в марафон из двадцати четырех и более блюд, предпочтя так называемую *la cuisine bourgeoise* (буржуазную кухню). Число блюд уменьшилось, зато они стали более продуманны. Их появление на сце-

не — в сопровождении приличествующих соусов и вин — происходило в строго заведенном порядке: «potages, hors d'oeuvre, relevés de potage, entrées, rôti, entremets, dessert, café, pousse-café» («суп, закуска, перемена супа, первое блюдо, жаркое, салаты, десерт, кофе, рюмка ликера или другого крепкого напитка»). Возможно, современному представителю среднего класса такой обед покажется устрашающе изобильным, но для XVIII века он был весьма скромен. А если патрицианское семейство не ждало вечером гостей, оно и вовсе обходилось «первым блюдом, жарким, салатом и десертом»[44].

Новая мода на простоту и скромность не подразумевала полного отказа от роскоши. Напротив, городская элита тратила огромные суммы на наряды, мебель и прочее. Совершая утренний туалет, дама из «первого» или «второго сословия» откушивала кофий на специальном сервизе для завтрака, *déjeuné*. В него входили следующие предметы: серебряные — блюдо, кофейная чашка, чаша для горячей воды, чаша для горячего молока и набор вилок, ножей и ложек; фарфоровые — заварочный чайник, сахарница и чашки; и, наконец, горка, в которой стояли хрустальные графины с ликерами и наливками. Но все эти предметы были предназначены для собственного удовольствия хозяйки. Если прежде роскошь выставлялась напоказ, то теперь она все больше ограничивалась домашними рамками, воплощаясь в будуарах, креслах, табакерках, во множестве изысканных предметов стиля помпадур. Патрицианские семьи сократили число слуг и отказались от ливрейных лакеев. Они больше не желали обедать на широкую ногу, в окружении вассалов, теперь они предпочитали узкий семейный круг. При возведении новых домов они делали комнаты меньше и соединяли их коридорами, создавая себе более уединенную обстановку для сна, смены туалетов и бесед. Семья удалялась из публичной сферы, постепенно сосредоточиваясь на себе. Посещая пьесы Седена и Дидро, читая романы Лесажа и Мариво, созерцая полотна Шардена и Грёза, она любовалась собственным отражением.

Разумеется, нельзя связывать искусство эпохи Людовика XV и даже *drame bourgeois* (буржуазную драму) исключительно с усилением буржуазии. Необходимо подчеркнуть еще один аспект тогдашнего общества, выпавший из поля зрения соци-

альных историков искусства, а именно: нисхождение дворянства. Нет, оно не утратило богатства и не отказалось от своих претензий на благородное происхождение. Напротив, оно предъявляло едва ли не бóльшие претензии... но стало вести менее экзальтированный образ жизни. Отбросив надуманные позы, которые оно считало нужным принимать в XVII веке, дворянство радовалось вошедшей в моду приватности, т.е. культурному стилю, близкому и верхушке буржуазии.

Выработка совместной культуры была связана с некоторым предпочтением, что оказывалось «высокой» культуре эпохи Просвещения. Хотя наш автор не обнаружил в родном городе достойных упоминания художников или поэтов, его гордость явно взыграла при описании Академии музыки — филармонического общества, в которое «входили почти все лучшие семьи первого и второго сословий» [45]. Члены Академии платили по 60 ливров в год за возможность посещать оперы и концерты камерной и симфонической музыки в построенном на средства города красивом концертном зале. Помимо этого в Монпелье был театр с хорошими актерами и немало масонских лож, в которых общались друг с другом представители обоих высших сословий. Более серьезные умы вкладывали огромные деньги в кабинеты естественной истории, где они коллекционировали насекомых, растения и окаменелости. Переживали расцвет и личные библиотеки, что вело к оживлению книготорговли, хотя и не местного книгопечатания. Образованная элита — как дворянского, так и буржуазного происхождения — проявляла большой интерес к науке и технике. Она гордилась местным университетом (с его знаменитым медицинским факультетом) и Королевским научным обществом, которое мнило себя ровней Академии наук в Париже. Монпельерская академия действительно была выдающимся учреждением: она регулярно печатала свои протоколы и каждый четверг собиралась для обсуждения затмений, окаменелостей, флогистона и последних открытий в самых разных областях науки, от географии до анатомии. Члены Академии были почетные (епископ, интендант, первые председатели Податного суда и прочие высокопоставленные лица, в основном из дворянского круга) и обычные (чаще всего из числа врачей, правоведов и представителей других ученых

профессий). Наряду с остальными нестоличными академиями она воплощала усредненную культуру эпохи Просвещения, распространенную среди смешанной городской элиты [46].

Совершенно очевидно, что наш автор симпатизировал Просвещению. Он терпеть не мог монахов — этих паразитов, ничего не дававших обществу и только отнимавших деньги, необходимые для коммерции. Его обрадовало изгнание иезуитов. Он выступал за терпимость к протестантам и иудеям и с неодобрением относился к догматическим спорам между янсенистами и молинистами. Богословие казалось ему досужей спекуляцией: чем беспокоиться о проблемах, недоступных разуму, резоннее трудиться ради улучшения жизни на этой земле. Светскость его мировоззрения не означала, что он порвал с католической церковью: он выражал сочувствие обремененным непосильными трудами и низкооплачиваемым приходским священникам, а также уважение к их «истинному благочестию» [47]. Но душа у него лежала к философам. «Не слышно более споров по поводу кальвинизма, молинизма и янсенизма, — с нескрываемым облегчением писал он. — Вместо этого людей, в особенности молодежь, охватила страсть к чтению философских книг, и кругом появилось такое множество деистов, какого никогда не было прежде. По правде сказать, это мирные создания, готовые поддерживать самые разные религии, не исповедуя ни одну из них, и свято верящие в то, что человек может считаться *honnête homme* (порядочным), если просто-напросто ведет добродетельную жизнь» [48].

Идеальный образ честного, порядочного, благовоспитанного гражданина («порядочного человека, у которого есть имя и положение») [49] возникает в «Описании» не раз. Такой идеал был основан на унаследованном от XVII века аристократическом представлении о благородном дворянстве, но к 1768 году он приобрел буржуазный колорит. Предполагалось, что «порядочный человек» обладает хорошими манерами, терпимостью, рассудительностью, сдержанностью, ясностью ума, честностью в делах и здоровым самоуважением. Тут не было ни дворянского кодекса чести, ни буржуазной этики труда — образ отражал новые городские реалии и знаменовал собой появление нового идеала: благовоспитанного господи-

на, джентльмена. Если не во всей Франции, то, по крайней мере, в Монпелье такой господин городского типа чаще всего был выходцем из буржуазии. Сочетание этих двух слов, «господин» и «буржуа», перестало казаться смехотворным и противоречивым, как было во времена Мольера. При всей неловкости, которую джентльмен-буржуа должен был испытывать от соседства с двумя другими сословиями, дворянством и ремесленниками, он выработал собственный стиль жизни. Богатый, сытый, прилично одетый, окруженный изящной обстановкой, уверенный в своей нужности и твердый в своей философии, он упивался новой городской жизнью. «Благословенны жители великих городов» [50], — говорит в заключение автор. Такой вывод не учитывал хлебных очередей, приютов для бедных, домов для умалишенных и виселиц, зато он устраивал тех, кто стал лидером в погоне за счастьем, «добропорядочных господ» из «второго сословия».

* * *

Это соображение возвращает нас к первоначальному вопросу: как воспринимал французский город при старом порядке представитель среднего класса? Собственно говоря, «Описание» предлагает нам три варианта восприятия, три возможных прочтения города. Монпелье представлен в нем, во-первых, как процессия знатных персон, во-вторых, как совокупность сословий и, наконец, как сцена, на которой разыгрывается определенный образ жизни. Каждый из трех вариантов внутренне противоречив, а также в чем-то противоречит остальным, но отсюда и очарование этого свидетельства, ибо через его несоответствия просвечивает новый взгляд на только еще зарождающееся общество. Наш автор извел не одну сотню страниц, нанизывая одно описание на другое: им двигало стремление разобраться в окружающем мире, однако он никак не мог нащупать схему, в рамках которой сумел бы адекватно отобразить его. «Главная процессия» дала ему возможность представить городскую иерархию наиболее традиционным способом, однако в ней неимоверно раздувалось значение одних групп населения и совершенно игнорировались другие. В сословном делении воплощался другой традиционный способ выражения, отражавший корпо-

ративный состав общества, но требовавший определенной ловкости рук при манипулировании разными его категориями. Рассказ же о городской культуре, хотя в нем много интересных бытовых подробностей, при ближайшем рассмотрении был лишь тенденциозной апологией буржуазного образа жизни. Тут наш автор фактически развенчал свои прежние, архаичные способы выражения и приблизился к идее представления класса через его культуру, представления, в котором «буржуазная кухня» была гораздо важнее для идентификации новых хозяев города, нежели фабрики. Какой бы экстравагантной ни казалась нам подобная идея, она заслуживает самого серьезного отношения, поскольку такое восприятие, отражая действительность, одновременно воздействует на нее, формирует ее, и можно сказать, что оно наложило свой отпечаток на последующее столетие французской истории — столетие не только Маркса, но и Бальзака.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хитросплетение сословий в провинциальном обществе

Нижеследующий отрывок представляет собой главу XV («Дворянство и прочие классы горожан») из «Реестра и описания города Монпелье, составленного в 1768 году», с. 67–69 французского текста.

«I. *Старинные роды.* Не следует рассчитывать на то, что в нашем городе живет много старинной рыцарской аристократии. Во времена сеньоров де Монпелье здесь было несколько великих древних родов, однако теперь их совсем не осталось, либо потому, что они вымерли, либо потому, что потомки их переселились в другие места или утратили фамильные имена и родословные.

Дворянские фамилии из старинных монпельерских родов: Баски дю Кайла, де Рокфей, де Монкальм, де Сен-Веран, де ла Круа де Кандильярг (ветвь рода Кастр), Бриньяк де Монтарно, Лаверн де Монбазен, Сен-Жюльен. Других семей, которые бы твердо доказали свою древнюю принадлежность к дворянству, нет.

II. *Дворяне мантии.* Эта категория весьма обширна. Среди судейского звания есть много старинных фамилий, как то: Грассе, Боко, Тремоле, Дюше, Белльваль, Жубер, Бон, Массанн, Дегрефей, Дейде и т.д. В «Истории Монпелье» [сочинение Шарля д'Эгрефея. — *Р. Д.*] приводится хронологический список этих родов и должностей, которые занимали их представители. Но самые древние из них уходят в прошлое не более чем на 250 лет.

III. *Буржуазное, или второе сословие.* Означенное «второе сословие» охватывает не удостоенных дворянства магистратов, а также законоведов, врачей, стряпчих, нотариусов, финансистов, купцов, коммерсантов и всех, кто существует на собственные доходы, не имея при этом особой профессии. Этот класс представляет собой наиболее полезный, наиболее значительный и наиболее богатый во всех государствах. Он поддерживает первый [т.е. «первое сословие». — *Р. Д.*] и манипулирует им по своему хотению. Он ведет основные дела в городе, поскольку в его руках сосредоточены торговля и финансы, а также потому, что жизненные потребности всех удовлетворяются посредством его разума и его усилий.

IV. *Ремесленники.* Ремесленники весьма многочисленны. (Я собираюсь посвятить отдельную главу их гильдиям.) Этот класс можно поделить на несколько ветвей: во-первых, *artistes*; во-вторых, представители механических ремесел; в-третьих, поденщики и сельскохозяйственные рабочие. Эти горожане приносят большую пользу. Два других сословия просто не могли бы обойтись без них, посему важно поддерживать их и предоставлять им работу. В то же время их следует подчинить нормам честности и законопослушания. Ибо простой люд по природе своей дурен, распущен и склонен к грабительству и бунтам. Лишь принудив его неукоснительно выполнять разумные требования, возможно добиться от него выполнения долга.

V. *Домашняя прислуга.* Нелепейшая традиция заполнять дом ливрейными лакеями давно отошла в прошлое. Теперь держат необходимый минимум да еще стараются по возможности занять прислугу, чтобы от нее была какая-то польза. И все же ее слишком много, что скверно как для государства, так и для самих слуг. Они предпочитают приятное безделье

в господском доме труду в поле или мастерской. Они не желают понимать, что, избрав себе ремесло, они могли бы со временем завести собственную мастерскую и стать сами себе хозяевами, могли бы нарожать детей и послужить таким образом отечеству, тогда как, оставаясь у господ, они могут рассчитывать лишь помереть на старости лет в богадельне. Короче говоря, домашняя прислуга истощает ресурсы Монпелье, которые уходят ей на жалованье, подарки и еду... но печальнее всего то, что ни в одном городе на свете тебя не обслужат хуже, чем тут.

Примечания. Вышесказанное об отсутствии в Монпелье старинного дворянства объясняет то, что в нашем городе невозможно отыскать ни одного рыцаря ордена Святого Духа или «лионского каноника», хотя они встречаются во многих куда более мелких городах. У нас всего три семейства, из которых вышли рыцари Мальтийского ордена: Боко, Монкальм и Бон.

Что касается воинских заслуг, то из родов ле Кайла, ла Шез и Монкальм вышли четыре генерал-лейтенанта королевской армии. Другие семьи поставили в нее нескольких бригадиров, множество капитанов, подполковников и кавалеров ордена Св. Людовика, но ни одного полковника. Уроженцев Монпелье обычно упрекают в том, что им слишком быстро наскучивает военная служба, что они не чувствуют призвания к ней и рано уходят в отставку. Следует признать, что стоит воину удостоиться креста [ордена Св. Людовика. — *Р. Д.*], как он начинает мечтать об уходе со службы. Примеров такой тенденции слишком много, чтобы ее возможно было отрицать.

С того самого дня, как люди стали быстро богатеть на финансовых операциях или торговле, обрело новый авторитет второе сословие. Роскошь и траты, которые оно может себе позволить, вызвали зависть первого. Неизбежно эти два сословия слились, и теперь они одинаково ведут домашнее хозяйство, устраивают обеды и одеваются.

Мало различий заметно теперь и между ветвями третьего [сословия. — *Р. Д.*]. Самый что ни на есть дрянной ремесленник держит себя на равных с самым уважаемым *artiste* [ремесленником высшей категории] или с тем, кто занимается более высоким ремеслом, нежели он сам. Их невозможно отличить ни по уровню расходов, ни по платью, ни по домам, в

которых они живут. Только сельскохозяйственный рабочий остается на своем месте — вероятно, потому, что его занятия не способствуют переменам, что он пребывает в зависимости от других жителей города, то есть владельцев земли, которые нанимают батраков для ее обработки, а также потому, что его доходов едва хватает на то, чтобы прокормить себя и домочадцев.

Однако же, если требуется соорудить общественное здание, расквартировать солдат или срочно выполнить какую-либо трудовую повинность, основное бремя ложится на их плечи. Разумеется, такова участь третьего сословия. Но хорошо было бы вознаграждать их за тяготы, ободрять и, не признаваясь в том, насколько мы в них нуждаемся, предоставлять в виде поощрения какие-нибудь льготы, хотя бы даже освобождение от налогов, которое, облегчив их судьбу, побуждало бы к лучшему исполнению своих обязанностей.

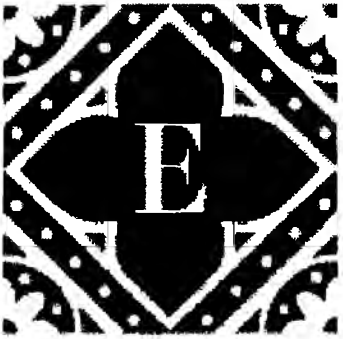
Обычай передвигаться в носилках, на чужих плечах, — великое зло. Он противен естеству, и нет ничего смехотворнее зрелища того, как каноник, епископ, офицер, магистрат или просто красующийся хлыщ залезает в подобие ящика и предоставляет нести себя другим людям, которые должны пробираться по лужам, грязи, снегу и льду, постоянно рискуя оступиться и быть раздавленными. Этим неблагодарным промыслом занято огромное число выходцев из горных местностей, крепко сбитых крестьян, которые, несомненно, могли бы с большей пользой применить свою силу в земледелии, чем таскать на плечах мужчин, прекрасно умеющих ходить собственными ногами. Со временем они начинают пить, потом превращаются в паралитиков и кончают свои дни в богадельне. Если бы проповедники, вместо того чтобы выступать по поводу метафизических тонкостей догмы, выступили против этого зла; если бы священнослужители отлучали от церкви как носильщиков, так и носимых, вместо того чтобы отлучать ведьм, которых не существует в природе, и гусениц, которые совершенно не боятся отлучения, тогда этот нелепый обычай мог бы сойти на нет, отчего наше общество только выиграло бы.

Наконец, следовало бы издать предписание каждому слуге, женского или мужеского полу, носить на платье ясно види-

мый отличительный знак. Ведь трудно представить себе большую нелепость, чем повар или камердинер, который вырядился в платье, обшитое позументами, нацепил шпагу и примкнул к изысканнейшей компании на променаде; или чем горничная, искусно подражающая туалетом госпоже; или чем любая другая домашняя прислуга в одеждах, которые более пристали людям благородным. Это просто отвратительно. Слугам положено находиться в услужении, в подчинении у господ. Негоже, чтобы они чувствовали себя независимыми и на равной ноге с настоящими гражданами, посему им следует запретить смешиваться с оными, а ежели таковое смешение необходимо, их должно быть возможно отличить по специальному знаку с обозначением сословия, дабы не путать со всеми прочими».

ГЛАВА 4

ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИИ РАЗБИРАЕТ СВОИ ДОСЬЕ: АНАТОМИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЕСЛИ МОНПЕЛЬЕРСКИЙ БУРЖУА пытался разложить по полочкам жителей провинциального города, то полицейский офицер из Парижа отбирал и подшивал к делу сведения о другой городской породе: интеллектуалах*. Хотя слово для обозначения этой породы еще не было изобретено, интеллектуалы плодились и размножались в мансардах и кафе, а полиция уже установила над ними свой надзор. Наш полицейский чин, Жозеф д'Эмри, инспектировал книготорговлю, отчего в поле его зрения входили и сочинители книг. Он разузнал подноготную стольких из них, что его бумаги представляют собой настоящую перепись парижских литераторов — начиная от знаменитых *philosophes*** и кончая самыми сомнительными из наемных писак. На основе этих документов перед нами возникает портрет интеллектуала в самом расцвете Просвещения, когда данный социальный тип только начал формироваться. В них также можно вычитать, как относительно просвещенный чиновник дореволюционной Франции пытался разобраться в новом явлении, т.е. на-

---

* К сожалению, ни слово «интеллектуал», ни тем более слово «интеллигент» не соответствует полностью английскому термину *intellectual*, поэтому их употребление в данном тексте следует принимать с оговорками.

** Во Франции XVIII века «философами» называли писателей и мыслителей, сочувствовавших идеям Просвещения.

ложить систему координат на окружающую действительность в том виде, в каком она представала своеобразному взгляду блюстителя порядка [1].

Этим обзором д'Эмри, разумеется, не собирался вносить вклад в социологию культуры и тем более подвергать сомнению ее эпистемологическую основу. Он просто исполнял свою работу, т.е. инспектировал. За пять лет, с 1748 по 1753 год, он составил 500 донесений о писателях, которые теперь лежат в неопубликованном виде в Национальной библиотеке. Трудно сказать, зачем именно он предпринял такой труд. Его рапорты собраны в трех толстых амбарных книгах под названием «Сведения о писателях» («Historique des auteurs») — без вступительного слова, пояснений и указаний на то, каким образом использовались эти материалы. Возможно, д'Эмри, который занял свою должность в июне 1748 года, хотел составить досье, чтобы возможно эффективнее следить за благочинием на вверенной ему административной территории. Надо сказать, что в эти первые пять лет ему досталось проверять весьма неординарные книги, в число которых вошли «Энциклопедия», «О духе законов» Монтескье, «Рассуждение о науках и искусствах» Руссо, «Письмо о слепых в назидание зрячим» Дидро, «Естественная история» Бюффона, «Нравы» Туссена и скандальная диссертация аббата де Прада. Казалось, всем идеям Просвещения понадобилось срочно излиться в печатной форме именно в этот период. А ведь одновременно идеологическая обстановка накалялась и другими вещами: налоговыми реформами Машо д'Арнувиля, противостоянием иезуитов и янсенистов, брожением умов, вызванным *billets de confession* (свидетельствами о причастии), борьбой между короной и парламентами, а также духом фрондёрства, появлению которого способствовал позорный для Франции Ахенский мирный договор. Сколь бы абсолютной ни провозглашала себя монархия, она должна была прислушиваться к общественному мнению и знать, чем дышат люди, которые направляют это мнение своим пером.

Новая должность как нельзя лучше подходила нашему инспектору, а потому он методично взялся за дело. В составлении досье ему помогали самые разные источники: газеты, соглядатаи, консьержки, любители посплетничать в кафе и

Любители новостей в кафе. — Ил. в кн.: Lacroix P. XVIII-ème siecle: lettres, sciences et arts: France 1700 — 1789. — Paris, 1878

протоколы допросов в Бастилии. Впоследствии он выбирал из дела нужные сведения и заносил их на бланки отчетов (донесений) с отпечатанными типографским способом графами; эти листы подшивались в алфавитном порядке, и он дополнял записи по мере поступления новой информации. Д'Эмри вел свои досье куда более тщательно, чем это практиковалось ранее, и все же его методика кажется довольно примитивной в свете последующей истории политического сыска. Вместо того чтобы заносить данные в компьютер с помощью специальной программы, д'Эмри пересказывал анекдоты. Например, докладывая про Кребийона-сына, он записывает: «Его отец сказал: "Я сожалею о сотворении всего двух вещей, 'Семирамиды' и сына". — "Не волнуйся, — отвечал сын. — Никто и не думает приписывать хотя бы одну из них тебе"». Мало того, что д'Эмри проявлял при подборе материала несвойственное ученым чувство юмора, он еще выказывал завидное литературное чутье. По его наблюдениям, Ла Барр сочинял приличную прозу, но стихи у него не шли. А за Роббе де Бовезе водился противоположный грех: «В его поэзии есть признаки таланта, но он пишет грубовато, и ему недостает вкуса». Д'Эмри вряд ли пришелся бы ко двору в ФБР или во французском Втором управлении*.

Вот почему было бы ошибочно видеть в рапортах д'Эмри точные данные типа тех, которые мы получаем в результате переписи; но было бы еще более ошибочно отвергать его сведения за излишнюю субъективность. Наш инспектор полиции знал такие подробности о литературной среде XVIII века, о каких может только мечтать современный историк. Его рапорты являются самым ранним из известных нам отчетов о писателях как социальной группе, причем в период, крайне интересный с точки зрения истории литературы. Более того, его сведения можно сверить с огромным массивом информации из биографических и библиографических источников. Проштудировав весь этот материал и сведя его к статистическим данным, мы впервые имеем возможность четко представить себе литературную республику в Европе раннего Нового времени.

* Отдел Генштаба, ведавший военной разведкой и контрразведкой.

* * *

Д'Эмри оставил сведения о 501 человеке, но 67 из них либо вообще не публиковались, либо напечатали по нескольку строк в литературном еженедельнике «Меркюр» («Меркурий»), так что у него было охвачено 434 действующих писателя. Из них можно установить дату рождения в 359 случаях, место рождения — в 312 и социально-профессиональную принадлежность — в 333 случаях. Таким образом, статистическая база достаточно широка для некоторых более или менее точных выводов.

Но насколько широко раскидывал свои сети д'Эмри? Единственный источник, по которому мы можем это проверить, — это «Литературная Франция», антология, которая в 1756 году включила в себя якобы полный список современных французских писателей. Поскольку в этом списке 1187 имен, похоже, что д'Эмри охватил около трети из них. Но какой именно трети? Этот вопрос влечет за собой необходимость дать определение «писателя». Д'Эмри пользовался словом *auteur* («автор», «сочинитель»), не уточняя его, тогда как авторы «Литературной Франции» претендовали на то, что в их список вошли все, кто издал хотя бы одну книгу. Зато перечисляемые ими «книги» — это в основном незначительные, проходные сочинения: проповеди сельских кюре, речи провинциальных сановников, медицинские брошюры захолустных докторов, вообще любые печатные материалы, которые кто-то захотел упомянуть, поскольку составители пообещали включить в свой список любые книги любых авторов, сведения о которых им сообщит общественность. В итоге антология отдает предпочтение мелким провинциальным сочинителям. Д'Эмри же имел дело с широким кругом писателей, хотя ограничивался преимущественно Парижем. Резонно сделать вывод, что его материалы покрывали существенную часть современных литераторов и что извлеченные из них статистические данные дают вполне достоверную картину литературной среды в столице Просвещения*.

Демографическая структура группы отражена в диаграмме на рис. 1. В 1750 году возраст писателей составлял от девяноста трех лет (Фонтенель) до шестнадцати (Рюльер), но в боль-

пинстве своем они были сравнительно молоды. Тридцативосьмилетний Руссо представлял медианный возраст (т.е. был ровно посередине возрастной шкалы). В более узкий круг энциклопедистов входили в основном люди между тридцатью и сорока годами, от Даламбера, тридцати трех лет, до Дидро, тридцати семи. Иначе говоря, выпирающий столбик на диаграмме фактически отражает определенное писательское поколение. За некоторыми исключениями вроде Монтескье и Вольтера, которые одной ногой стояли во Франции Людовика XIV, «философы» принадлежали к поколению, достигшему в середине XVIII века расцвета своих сил [3].

Географическое происхождение писателей, представленное на рис. 2, подпадает под привычную схему. Юг производит впечатление отсталого — кроме городов, разбросанных вдоль Гаронны и в дельте Роны. Три четверти сочинителей родилось к северу от знаменитой линии между Сен-Мало и Женевой, т.е. в северной и северо-восточной Франции, где сосредоточивалось наибольшее число школ и грамотных. Париж дал около трети сочинителей (113), так что наша карта не подтверждает другого распространенного в истории культуры мнения, а именно, что Париж эксплуатировал остальную страну, высасывая из провинции соки в виде талантливой молодежи. В столице 1750 года оказалось противу ожидания много писателей, родившихся именно там [4].

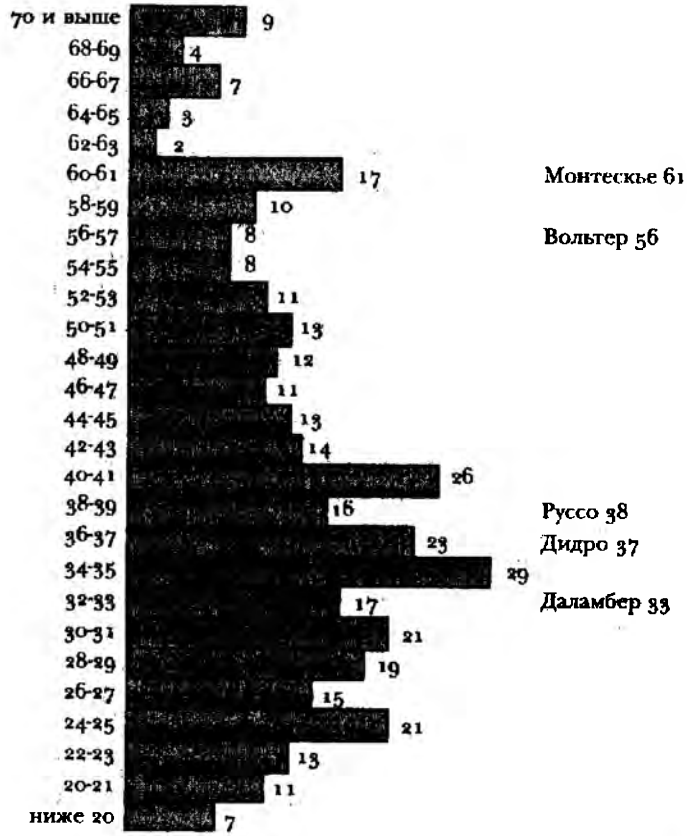
Практически любая попытка проанализировать социальный состав группы французов, живших двести лет тому назад, обречена на провал из-за ошибочных данных и неоднозначной системы классификации. Но в данном случае три четверти писателей могут быть совершенно точно отнесены к одной из категорий таблицы (рис. 3). В оставшуюся четверть «неопознанных» сочинителей (т.е. тех, основное занятие которых определить невозможно) входит значительное число *gens sans état* (лиц без определенного занятия) — наемных работников, которые брались то за одну работу, то за другую, как, между прочим, в течение долгих лет поступали Дидро и Руссо. Какими бы полными ни были прочие сведения о них, они не поддаются классификации и статистическому исследованию. Однако, сделав поправку на их существование (совершенно не удивительное при огромной массе непостоянного населения

во Франции XVIII века), мы можем считать, что таблица представляет собой достаточно надежное свидетельство о социальном составе литературной республики в Париже.

Привилегированные слои играли куда большую роль у д'Эмри, чем им отводилась в структуре населения в целом. Семнадцать процентов «опознанных» сочинителей были дворянами. Хотя некоторые из них, подобно Монтескье, были весьма серьезными писателями, большинство оставалось чистыми дилетантами, лишь изредка пописывавшими стихи или легкие комедии. Подобно маркизу де Польми, который печатал новеллы под именем своего секретаря, Никола Фромаже, они часто не хотели, чтобы их собственные фамилии ассоциировались с такими пустяками. Кроме того, они не собирались торговать своими сочинениями: по наблюдению д'Эмри, граф де Сен-Фуа «трудится, как истинный джентльмен, и никогда не берет денег за пьесы». Писатели-аристократы обычно фигурируют в донесениях в качестве посредников, помогающих добиться покровительства литераторам более скромного происхождения.

Сочинительством нередко занималось в дополнение к основной профессии духовенство, и таких писателей тоже было немало — 12%. Только четверо принадлежали к высшему клиру, тогда как аббатов было несколько десятков, в том числе Кондильяк, Мабли, Рейналь и «энциклопедическая» троица: Ивон, Пестре и де Прад. Несколько священников (например, Ж.-Б.-Ш.-М. де Бове и Мишель Дежарден) продолжали сочинять придворные проповеди и похоронные панегирики в стиле Боссюэ, но в большинстве случаев придворный клирик уступил место вездесущему аббату Просвещения.

Хотя 70% писателей происходило из третьего сословия, мало кого можно считать «буржуа» в узком смысле слова, т.е. капиталистами, живущими на доходы от торговли и промышленности. Среди них был всего один купец — печатников сын Ж. А. Урсель — и ни одного фабриканта. Отцы писателей отчасти проявляли деловую жилку: из 156 человек, занятие которых известно, насчитывалось 11 купцов. И все же литература процветала не столько на рыночной площади, сколько среди представителей ученых профессий и королевских чиновников. 10% литераторов были врачами или правоведа-



70 и выше	9
60-69	33
50-59	50
40-49	75
30-39	106
20-29	79
ниже 20	7
ВСЕГО	359

в среднем 38

Рис. 1. Возраст литераторов в 1750 году

Провинции: место рождения
дается по провинциям
без указания города или деревни

Анжу (1)
Бургундия (1)
Бретань (6)
Гасконь (1)
Дофине (1)
Лангедок (3)
Лотарингия (1)
Нормандия (2)
Сентонж (1)
Шампань (1)

Ключ: число родившихся

• 1
● 2-5
● 6-11
○ 100+

Рис. 2. Место рождения литераторов

Рис. 3

Социально-профессиональная принадлежность писателей

	Среди писателей в 1750 г.	*Среды писателей без указания года*	*Всего писателей*	*%*	*Отцы писателей*	*% от общего числа*
Высшее духовенство, белое	3		3	1		
Высшее духовенство, церковное	1		1			
Низшее духовенство, белое	31		31	9		
Низшее духовенство, церковное	4	1	5	2		
Титулованное дворянство, без должности	11		11	3	16	10
Чиновник, высшая администрация	4		4	1	1	1
Офицер	20	7	27	8	12	8
Чиновник, королевские суды	10	2	12	4	12	8
Чиновник, высшие финанс. органы	2		2	1	6	4
Чиновник, суды низшей инстанции	4	2	6	2	8	5
Чиновник, низшая администрация	20	10	30	9	22	14
Законовед, поверенный	26	2	28	8	19	12
Другие чиновники юстиции	3		3	1	1	1
Врач	6		6	2	1	1
Аптекарь		1	1		4	3
Преподаватель университета	10		10	3		
Чиновник, низшие финанс. органы	2	1	3	1	2	1
Купец	1		1		11	7
Мануфактурщик						
Рантье	10		10	3		
Журналист	9	11	20	6		
Частный учитель	27	8	35	11	4	3
Библиотекарь	6		6	2		
Секретарь	15	10	25	8	1	1
Синекура	10	1	11	3		
Актер	8	1	9	3	1	1
Музыкант	1		1		1	1
Студент	3		3	1		
Служащий	5	1	6	2	8	5
Лавочник	2		2	1	6	4
Ремесленник	6	1	7	2	14	9
Слуга	1	1	2	1	1	1
Жены, вдовы	9		9	3		
Прочие	1	2	3	1	5	3
ИТОГО	271	62	333		156	

Общее число писателей

«Опознанные» писатели, 1750 г.	271
«Опознанные» писатели, без указания года	62
Исключено (литераторы)	67
Без сведений о профессиональной принадлежности	101
	501 (434 «писателя»)

Альтернативное деление на группы

По всей вероятности, дворянство	60
Принявшее сан духовенство	69
Женщины	16
Побывавшие в тюрьме	45

ми, 9% занимали невысокие административные должности, а 16% принадлежали к государственному аппарату (если сюда можно отнести магистратов из высших и низших провинциальных судов). Самая большая группа отцов, 22 человека, служила в низших административных органах, следующая по количеству — 19 человек — представляла правоведов. После изучения статистических данных и нескольких сот биографических очерков напрашивается вывод о том, что за многими литературными карьерами стоял честолюбивый и умный государственный чиновник. Французская литература в неоплатном долгу перед *commis* (конторским служащим), правоведом и аббатом. Последнюю породу представлял, в частности, Прево. Сын юриста, ставшего судейским чиновником в городе Эденс, Прево был более чем аббатом. По словам д'Эмри, «он состоит во всех известных религиозных орденах».

Что касается добычи средств к существованию, наиболее многочисленная группа писателей полагалась в этом деле на так называемые интеллектуальные профессии: 36% были газетчиками, педагогами, библиотекарями, секретарями и актерами или же имели доставшуюся им по протекции «синекурную» должность. Эта часть литературного населения ела хлеб с маслом, а коль скоро сочинители были обязаны им покровителям, то не только честно отрабатывали свой хлеб, но и блюли свою выгоду. Судя по сведениям д'Эмри, Франсуа-Огюстен Паради де Монкриф уж точно не упускал ее из вида:

> «Он служил налоговым инспектором в одной из провинций, когда г-н д'Аржансон был там интендантом. Его сладкозвучные стихи привлекли к нему внимание д'Аржансона, который привез его в Париж и дал ему должность. С этого времени он [Монкриф. — *Р. Д.*] всегда испытывал привязанность к своему покровителю... Еще он является генеральным секретарем французской почтовой службы — эта должность, которая приносит ему 6 тысяч ливров годового дохода, досталась ему в подарок от г-на д'Аржансона».

В низах литературного населения довольно большую его долю, 6%, составляли лавочники, ремесленники и мелкие служащие. Сюда относятся как мастера высшего разряда (печатник, гравер, художник-эмальер), так и представители относительно более скромных ремесел — шорник, переплетчик,

привратник и два лакея. По свидетельству д'Эмри, один из лакеев, Вьолле де Ваньон, выпустил в свет свою книгу «Сочинитель-лакей» с помощью слуги и лавочника. Общеизвестно что Шарль-Симон Фавар приобрел легкость в стихосложении слушая, как импровизирует песни его отец, замешивая тесто для пирожных в семейной кондитерской[5]. Таким образом низшие классы тоже играли определенную роль в литературной жизни предреволюционной Франции — довольно серьезную роль, если принять во внимание писательских отцов 19% которых принадлежали к беднейшим слоям. В основном это были простые ремесленники: сапожники, пекари или портные. Карьеры их сыновей, ставших правоведами, учителями и журналистами, доказывают, что для владеющих пером молодых людей иногда открывались феноменальные возможности продвижения по социальной лестнице. Литературный мир оставался закрыт только для одного слоя населения — для крестьянства. Конечно, д'Эмри не искал писателей в деревне, но он не обнаружил ни одного выходца из крестьянской среды даже среди писателей, которые прибыли в Париж из провинций. Ретиф де ла Бретонн был исключением, литературная Франция оставалась по преимуществу городской.

Она также была в основном мужским царством. Несколько дам пробились в инспекторские досье, будучи хозяйками знаменитых салонов, но лишь шестнадцать женщин сами напечатали хоть строчку. Большинство сочинительниц — подобно самой знаменитой из их числа, г-же де Граффиньи, — обращались к писательству, овдовев или разойдясь с мужьями Большинство обладало богатством и независимостью. Двое учительствовали. Одна, Шарлотта Буретт — *la muse limonadière* (*букв.* «лимонадная муза») — держала лавочку с прохладительными напитками. Рассказ д'Эмри о куртизанке, мадемуазель де Сен-Фальс, читается как краткий сюжет романа. Уйдя от отца парижского торговца лошадьми, она поступила горничной в дом богатого финансиста, сын которого соблазнил и похитил ее. Но отец добился ареста сына, а затем вынудил его жениться на ровне, бросив мадемуазель де Сен-Фалье на улице. К тому времени как на нее наткнулся наш инспектор, она превратилась в содержанку, якшалась с актрисами и готовилась

опубликовать свою первую книгу, «Возвращенный бумажник», которую посвятила мадам Помпадур.

В записях, вносимых д'Эмри в графу *histoire*, были и более грустные истории, ведь многих литераторов судьба бросала из огня да в полымя — из мансард на самое дно, зачастую с остановкой в Бастилии. Примером такой жизни может служить Л.-Ж.-К. Сулас д'Алленваль. Не в силах прокормиться на доходы от фарсов, которые он сочинял для театра Итальянской комедии (*Comédie Italienne*) в Париже, д'Алленваль занялся нелегальной журналистикой и политическими пасквилями, за что угодил прямехонько в Бастилию. Выйдя на свободу, он еще больше погряз в долгах. В конце концов писатель остался даже без бумаги: в счет непогашенного долга в 60 ливров торговец канцелярскими принадлежностями забирал у д'Алленваля жалкие гроши, которые выдавал ему театр. Д'Алленваль стал ночевать *à la belle étoile*, т.е. просто-напросто на улице. Его здоровье пошатнулось. О дальнейшей судьбе бедняги д'Эмри рассказывает так:

> «В сентябре 1752 года с ним случился апоплексический удар на обеде у г-на Бертена из ведомства нерегулярных доходов, который сунул ему в карман два луидора и отослал домой. Поскольку ухаживать там за ним было некому, его поместили в *Hôtel-Dieu* [больницу для нищих. — *Р. Д.*], где он прозябал весьма долго. Он до сих пор парализован, посему вынужден теперь искать место в Бисетре [психиатрической лечебнице] или в *Les Incurables* [больнице для безнадежных пациентов]. Какой печальный конец для талантливого человека...»

Д'Эмри куда меньше сочувствовал Франсуа-Антуану Шеврье — «наглому лжецу, мошеннику, человеку язвительному, требовательному и невыносимо самонадеянному». Не снискав славы в качестве юриста, солдата, драматурга и поэта, Шеврье обратился к сочинению памфлетов, нелегальной журналистике и шпионству. Полиция гналась за ним с *lettre de cachet* (королевским указом о заточении в тюрьму) через всю Германию и Нидерланды, но, когда Шеврье уже готовы были схватить в Роттердаме, он взял да умер. Зато полиция добилась своей цели с человеком по имени Эммануэль-Жан де Ла Кост — лишенным духовного сана пятидесятидевятилетним монахом, которого приговорили к бичеванию кнутом и по-

жизненной каторге. Его выловили в Льеже, куда он сбежал с молоденькой девушкой и где перебивался продажей антиправительственных памфлетов, поддельных лотерейных билетов и, вероятно, услуг самой девушки. Эти люди относились к категории писак с Граб-стрит — низкопробной богемы, составлявшей значительную часть литературного цеха. Разумеется, большинство сочинителей не падало столь низко, как д'Алленваль, Шеврье или Ла Кост, но многие прошли через испытание, типичное для Граб-стрит: *embastillement* (заточение в темницу). Сорок пять писателей (10% из тех, на кого собирал материал д'Эмри) по крайней мере однажды подвергались заключению в государственную тюрьму, обычно в Бастилию. Если 14 июля 1789 года Бастилия была почти пуста, это о многом говорило людям, сделавшим ее накануне Французской революции главным символом радикальной агитации[6].

Понятно, что в 1750 году никто не мог предвосхитить 1789 год. В середине века кое-кто из литераторов проявлял норовистость, но никак не революционность. Сочинители в основном боролись за рецензию в «Меркюр», за *entrée* (контрамарку) в «Комеди франсез», за место в Академии. Они добывали себе пропитание самыми разными способами — кто-то жил за счет рент, кто-то за счет административных должностей, кто-то как врач или законовед, многих же кормила работа, словно предназначенная для владеющих пером: журналистика, преподавание, секретарство, а для наиболее везучих — синекуры. Они вели свое происхождение из всех слоев общества (кроме крестьянства) и из всех уголков королевства (кроме отсталых районов Юга). Среди них было небольшое число женщин и множество способных молодых людей (сыновей мелких чиновников или ремесленников), которые добивались стипендий на учебу, публиковали стихи, а потом становились адвокатами и чиновниками... или, в очень редких случаях, профессиональными писателями, жившими, подобно Дидро, *aux gages des libraires* (на содержании у книгопродавцев, т.е. издателей).

* * *

Было бы весьма приятно закончить на этой ноте — выявив общую структуру писательского мира и обнаружив в ней место «философов». Но, к сожалению, теоретики литературы

научили историков осторожности в обращении с текстами, которые при критическом чтении могут обратиться в пустую болтовню, какими бы надежными эти источники ни представлялись поначалу. Историку не следует рассчитывать, что полицейские рапорты представляют собой крупицы чистой реальности и что для воссоздания прошлого ему достаточно выловить их в архивах, разложить на части для анализа и снова соединить вместе. Эти донесения — тоже своеобразные конструкции, основанные на имплицитных предположениях о характере сочинителей и сочинительства в исторический период, когда занятия литературой еще не рассматривались как профессия.

Составляя свои рапорты, д'Эмри и сам выступал в роли писателя. Он тоже играл роль в литературной республики, хотя оставался подчиненным генерал-лейтенанту полиции и другим официальным лицам французского государства. Литературный вкус сочетается в донесениях с бюрократической дотошностью, которая кажется неслыханной для большинства современных полицейских органов. Помимо замечаний о религиозных и политических взглядах поднадзорных, в записях не менее часто встречаются оценки их писательского мастерства. Например, д'Эмри включил в досье на маркизу де Крски трехстраничный отрывок из ее текста — не потому, что он имел какое-либо отношение к идеологическим проблемам того времени, но исключительно для подтверждения того, как замечательно она пишет. Он хвалил «тонкий вкус», «остроумие» и «талант», у кого бы их ни обнаруживал, даже если это были «отвратительные субъекты» вроде Вольтера. Его любимым словом было *esprit* (ум). Похоже, он прежде всего искал в писателе именно его: ум компенсировал многие отклонения от прямого и праведного пути. Аббат Поль-Франсуа Велли был «очень умным человеком» и бабником, но ведь «таковы почти все монахи, когда уходят из монастыря». То же самое относилось и к Жану-Пьеру Бернару, «умному» священнику, которому особенно удавались похоронные речи: «Веселый старикан, ценит удовольствия и пользуется любым случаем, чтобы провести вечер с девочками».

Д'Эмри понимал многое в этом мире. Его не смущали некоторая непристойность и антиклерикализм, особенно если они выходили из-под пера «гения», как это было в произве-

дениях Алексиса Пирона: «Его язвительное остроумие и репутация нечестивца не позволили ему стать членом Французской академии*. Г-н де Кребийон посоветовал ему забыть об избрании. Но "Неблагодарные сыновья", "Густав Ваза" и "Метромания" — достаточное свидетельство его гения. Он справится со всем, за что бы ни брался». Д'Эмри восхищался «философами» — во всяком случае, более умеренными из них, вроде Фонтенеля, Дюкло и Даламбера. Но его ужасал атеизм: очевидно, инспектор искренне верил в ортодоксальные догмы. Его взгляды проступают во всех рапортах, но особенно наглядно — в брошенных походя замечаниях о второстепенных сочинителях, например, в донесении на Жана-Батиста Ле Маскрие:

> «Долгое время был иезуитом. Редактировал "Тельямед" и другие издания для книгопродавцев. Принимал участие как соавтор в "Религиозных обрядах" и занимался обработкой "Воспоминаний г-на де Майе об описании Египта", которые представляют его в выгодном свете благодаря литературности слога. Пишет весьма неплохие стихи, что подтверждается прологом к пьесе, поставленной несколько лет тому назад.
>
> Бенедиктинцы, у которых он служит теперь, также признают его способным человеком. Жаль, что он мало сочиняет сам. Он опубликовал замечательную книгу о благочестии, необходимую каждому верующему, но близкие к нему люди утверждают, что необходимость постоянно служить образцом для других становится ему в тягость».

Короче говоря, д'Эмри обозревает свои литературные владения с сочувствием, юмором и пониманием литературы. Разделяя некоторые взгляды вверенных его надзору людей, он, однако, был тверд в своей приверженности государству и церкви. Было бы анахронизмом представлять его в виде современного полицейского или же видеть в его работе охоту на ведьм. На самом деле это было явление менее знакомое и более интересное: сбор информации в эпоху абсолютизма. Никто не рассчитывал вскрывать революционные заговоры в середине XVIII века, когда революция была немыслима, однако при Бурбонах многие королевские чиновники хотели иметь

* Пирона избрали академиком в 1753 году, однако король запретил ему занять это почетное место.

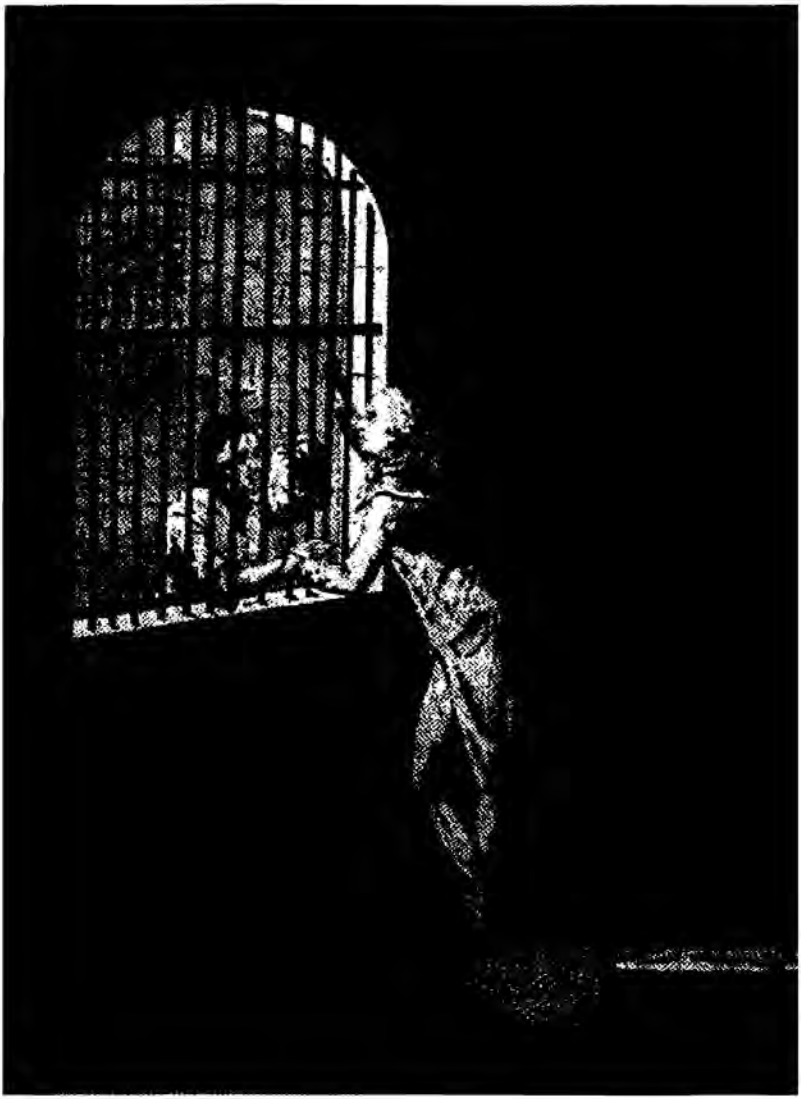
как можно больше сведений о своей стране — численность ее населения, объем торговли, выпуск печатной продукции и т.п. Д'Эмри входил в тот же ряд «рационалистических» официальных лиц, что Кольбер с Вобаном и Тюрго с Неккером. Просто он действовал на более скромном уровне (инспектор книжной торговли считался чуть ниже инспектора мануфактур), и его досье не могли соперничать размахом с теми обзорами своих епархий, которые предпринимали отдельные министры и интенданты[7].

В тексте отчетов есть свидетельства того, как они сочинялись. Нередко можно встретить фразы типа «См. прилагаемые листы» или «См. соответствующее досье», которые свидетельствуют о том, что д'Эмри вел отдельное дело на каждого писателя. Хотя эти досье не сохранились, имеющиеся на них ссылки подсказывают нам, какие это были материалы. Среди прочего там были собраны: вырезки из газет и журналов, проспекты от книготорговцев, записи, которые делал д'Эмри во время своих инспекционных обходов, протоколы допросов в Бастилии, письма от писателей, стремившихся снискать его милость или подорвать доверие к своим врагам, а также донесения от шпионов, собиравших сведения для генерал-лейтенанта полиции. На некоторых соглядатаев у д'Эмри тоже были заведены досье. Из отчета о Шарле де Фье, шевалье де Муи, явствует способ их работы: «Он соглядатай месье Беррье [генерал-лейтенанта полиции. — *Р. Д.*], которому ежедневно доносит обо всем, что видел в кафе, театрах и общественных парках». О деятельности Муи упоминается и в других местах — например, в рапорте на Матье-Франсуа Пиданса де Меробера: «Его только что арестовали и препроводили в Бастилию за распространение в кафе стихов, порочащих короля и г-жу маркизу [де Помпадур. — *Р. Д.*]. Несколько было даже обнаружено у него в карманах. Донес на Меробера шевалье де Муи». Доносы поступали также от брошенных любовниц, обозлившихся сыновей и забытых жен. Книготорговцы и печатники поставляли неиссякаемый поток информации об авторах своих изданий — и тем более изданий своих соперников. Прочие подробности докладывали хозяйки пансионов и кюре, в основе же многих других досье лежали факты, выловленные д'Эмри из досужих разговоров соседей, которые

отнюдь не всегда были настроены злобно. Так, про Этьенна-Андре Филиппа де Прето сказано: «А ведет он себя вполне благопристойно. Он женат и имеет детей, что вынуждает его к надлежащему поведению. Соседи отзываются о нем очень хорошо».

Прежде чем составлять рапорт, д'Эмри занимался отбором материала. Анализировать и отбирать материал наверняка было непросто, поскольку в досье попадали как неоспоримые факты, так и просто сплетни. Не случайно д'Эмри использовал стандартные бланки — большие листы с шестью напечатанными жирным шрифтом графами: фамилия, возраст, место рождения, приметы, адрес и *histoire*. Большинство записей сделано четким почерком писца, но впоследствии д'Эмри добавлял новые сведения собственной рукой, легко узнаваемой по его письмам и докладным, которые хранятся в Национальной библиотеке. Почти половина рапортов датируется первым числом месяца, а многие — первым числом года, из чего, вероятно, можно сделать вывод, что д'Эмри отводил для работы над ними специальные дни, когда призывал одного из секретарей полицейского управления и диктовал отчеты, просматривая досье за досье и выбирая наиболее важные, на его взгляд, сведения. Вся эта процедура наводит на мысль о том, что полицейский инспектор работал систематично, как бы стремясь призвать к порядку непокорный мир чердачных бумагомарателей и салонных львов. Это стремление соответствует тяге к наведению порядка, которая присутствует в «Описании» Монпелье, только здесь она принимает иные формы: у д'Эмри это свойственное современной бюрократии стремление к стандартизации, к разнесению по полочкам, к классификации и подшиванию бумаг в дело.

Д'Эмри олицетворяет собой одну из начальных фаз в развитии бюрократа, поэтому даже на стандартных бланках рапортов отчетливо слышен его собственный голос. Он писал от первого лица и в разговорной манере, весьма отличавшейся от бесстрастного и натянутого тона его официальных посланий. Если докладные записки и письма д'Эмри нередко адресованы «монсеньору» Никола-Рене Беррье, генерал-лейтенанту полиции, то отчеты он, похоже, предназначал самому себе. Заполняя графу «место рождения» на листе, посвящен-



[Тюрьма]. — Ил.. в кн.: Parein P. M. Les crimes des parlemens, ou Les horreurs des prisons judiciaires dévoilées. — Paris, 1791

ном Ле Блану де Вилльневу, он, например, небрежно поправляет сам себя: «Из Лиона. Нет, я ошибся; он из Монтелимара, капитанский сын». В рапорте на шевалье де Коголена он замечает:

> «1 июля 1752 года. Мне доложили, что он умер помешанным в доме своего брата, раздатчика милостыни при короле Польши и герцоге Лотарингском.
>
> 1 декабря. Это неверно».

В «истории» поэта Ле Дье содержалось столь же неформальное замечание: «Жюли говорила мне, что он пишет много стихов. Это верно». Изредка д'Эмри прибегал к сквернословию и отзывался о важных особах в тоне, который не должен был понравиться его начальству[8]. Чем пристальнее изучаешь донесения, стараясь понять, подразумевался ли у них читатель на какой-либо ступени французской администрации, тем больше склоняешься к мнению, что д'Эмри писал отчеты для себя и действительно прибегал к их помощи в повседневной работе, особенно в первые годы, когда ему было трудно ориентироваться в сложной субкультуре литературных фракций и издательских интриг.

Подобно каждому из нас, д'Эмри необходимо было видеть вокруг порядок, но еще ему нужно было не заблудиться на своем участке. Как полицейский инспектор «инспектировал» литературную республику? Для начала ему надо было научиться узнавать писателей — поэтому он достаточно тщательно заполнял графу *signalement* (приметы). Эти записи подсказывают нам, каким образом он смотрел на объекты своего наблюдения. Например, про Вольтера написано: «Высокий, сухопарый, похож на сатира». Такие описания отражали не только восприятие глазом картинки, в них присутствовал дополнительный смысл: «Гадкий, напоминает жабу, умирает с голоду» (Бенвиль); «толстый, неуклюжий, походка и обращение крестьянина» (Келюс); «смуглый, маленького росту, нечистый, развратный и мерзкий» (Журдан). Д'Эмри шел дальше простых категорий — красивый или некрасивый, высокого роста или низкого, — поскольку видел в лицах характеры. Так, о шевалье де Ла Морльере он пишет: «Толстый, полнолицый,

с искринкой в глазах». Возможно, эта привычка читать по лицам выработалась благодаря физиогномике, псевдонауке, которая возникла в эпоху Возрождения и в последующие столетия получила широкое распространение через популярные брошюры[9]. В описаниях д'Эмри встречается множество замечаний типа «суровая физиономия и соответствующая натура» (Ле Рас), «весьма честная физиономия» (Фонсемань), «прсотвратная физиономия» (Кок), «физиономия предателя» (Вьемезон), «гнусная физиономия» (Бильена) и «самая грустная физиономия на свете» (Буасси).

Были полны внутреннего смысла и адреса. Пиданса де Меробер жил один «в комнатах, которые снимал у прачки, в третьем этаже по улице Кордильер». Он был явно маргинальным типом, как и студент-поэт по имени Ле Брен, который обитал на «рю де ла Арп, напротив Гаркурова коллежа, в меблированных комнатах у парикмахера, во втором этаже с окнами на зады», или столь же безвестный стихотворец по фамилии Воже, проживавший «на улице Мазарини, в меблированных комнатах у первого парикмахера по левую руку, как войдешь с перекрестка Бюси, во втором этаже окнами на улицу, дверь супротив лестницы». Такие люди снисходительно относились к надзору. У них не было твердого положения, они не были отягощены имуществом, семьей или дружескими отношениями с соседями. О них все было сказано адресами.

Обычно получить наилучшее представление о писателе позволяла рубрика *histoire*, почему д'Эмри и отвел ей на бланках больше всего места. Именно заполняя эту графу, он должен был отбирать материал из досье и определенным образом выстраивать его, поскольку его «истории» были повествованиями, не менее сложными по форме, чем крестьянские сказки. Некоторые из них читаются как дайджесты романов. Такова, например, «история» драматурга Шарля-Симона Фавара:

> «Сын пирожника, большой умница, сочиняет самые смешные комические оперы на свете. После закрытия Комической оперы Мориц Саксонский поставил его во главе своего театра. Фавар заработал хорошие деньги в этой труппе, но потом влюбился в любовницу маршала, крошку Шантийи, и сделал ее своей женой, не возражая против того, чтобы она продолжала жить с маршалом. Этот счастливый союз просуществовал до конца войны, но в ноябре 1749 года Фавар и его жена поссори-

лись с Морицем. Получив благодаря его влиянию место актрисы в театре Итальянской комедии и выкачав из него [маршала. – *Р. Д.*] кучу денег, мадам Фавар захотела расстаться с ним. Маршал добился у короля указа арестовать ее, а мужа выслать за пределы королевства. Супруги бежали, он – в одном направлении, она – в другом. Жену схватили в Нанси и заключили в темницу, сначала отправив в Лез-Андели, затем к покаянникам в Ангре. Актеры подняли по поводу этой истории бучу, даже послали депутацию к герцогу Ришелье с требованием освободить свою товарку. Он заставил депутатов целую вечность ждать в передней. Наконец, когда о прибытии актеров доложили во второй раз, он согласился их принять, но прием оказал крайне холодный, а с Лелио [героем-любовником итальянской комедии, которого играл Антуан-Франсуа Риккобони. – *Р. Д.*] и вовсе обошелся скверно, почему тот ушел из труппы. В результате мадам Фавар обрела свободу только согласившись вернуться к маршалу, который не отпускал ее до самой своей смерти. Затем она воссоединилась с мужем, все это время скитавшимся по Франции. Вскоре она вновь стала играть в Итальянской комедии. Когда же была восстановлена Комическая опера, супруги захотели перейти туда. Но "итальянцы" предложили актрисе полную долю в своей трупе, а ее супругу – пенсион в обмен на обещание регулярно сочинять для них пародии, так что теперь оба накрепко привязаны к этому театру» [10].

Д'Эмри пишет простым языком и строит свое повествование в чисто хронологическом порядке, но историю он поведал отнюдь не простую. Не расцвечивая ее собственными комментариями, он сумел передать мысль о том, как двое молодых людей низкого происхождения ухитряются выжить в мире придворных и королевских *lettres de cachet*. Но д'Эмри не сентиментальничает по поводу судьбы угнетаемых. Напротив, он подчеркивает готовность Фавара делить жену с маршалом и ее умение обернуть это положение себе на пользу. И все же в этом рассказе чувствуется сильное подводное течение, которое уносит читателя прочь от возможных симпатий к богатым и влиятельным. Фавар отправляется на поиски своего счастья, как герой волшебных сказок. Он мал ростом, он беден и умен (в графе «приметы»: «низкорослый блондин, очень хорош собой»). После различных приключений в стране великанов — а Мориц Саксонский был в 40-е годы едва ли не самым влиятельным человеком во Франции после короля — он [Фавар] добивается своей возлюбленной, и они обретают счастье в «Комеди итальенн». Композиционно исто-

рия тоже очень похожа на сказку, а в качестве морали вполне подошла бы мораль из «Жана Киота», «Кота в сапогах» или «Маленького кузнеца». Но д'Эмри не извлекал из своих рассказов морали. Он переходил к следующему рапорту, и можно только гадать, действительно ли вверенный его надзору литературный мир следовал модели, первоначально изобретенной в мире крестьян.

Как бы то ни было, полицейский рапорт содержал в себе элемент повествования, а «инспектирование» писателей происходило в контексте, полном многозначительного смысла, а потому «истории» можно читать как многозначные сюжеты, в которых раскрываются основные черты литературной жизни Франции старого порядка. Большинство «историй» гораздо короче, чем про Фавара. Некоторые состоят всего из двух-трех строк, не связанных в повествовательное целое. Но все они исходят из предположений о том, как функционировала литературная среда, из правил игры, действовавших в писательском мире. Д'Эмри не выдумывал этих правил. Вместе с самими сочинителями он принимал их как должное и лишь наблюдал за тем, как они воздействуют на судьбы его подопечных. При всей субъективности этих наблюдений, они имеют значение и для других людей, поскольку отражают всеобщую субъективность, отражают социальную реконструкцию действительности, как ее понимали и его подопечные. Чтобы разгадать этот общий шифр, необходимо перечитать рапорты д'Эмри, стараясь разглядеть то, что осталось между строк, — понимаемое всеми и потому невербализованное.

* * *

Возьмем, к примеру, донесение об одном из самых именитых граждан литературной республики. Франсуа-Жоашен де Пьер, аббат де Бернис, уже с двадцати девяти лет заседал во Французской академии, хотя опубликовал лишь несколько легковесных стихов и совершенно бездоказательный трактат под названием «Размышления о пристрастиях и склонностях». Будучи выходцем из знатного семейства и фаворитом мадам Помпадур, он стремительно поднимался по лестнице церковных и государственных чинов, которая в конечном счете привела его к шапке кардинала и должности француз-

ского посла в Риме. Какие сведения отобрал д'Эмри для рапорта о таком человеке? Сообщив возраст Берниса (в самом расцвете — 38 лет), его адрес (вполне хороший — улица Дофина) и сведения о внешности (тоже хорошие — «красивая внешность»), он делает упор на шести пунктах:

> «1. Бернис был членом Французской академии, а также графом Бриудским и Лионским.
>
> 2. «Он бабник, предающийся разврату с княгиней де Роган».
>
> 3. Он был опытным придворным и протеже мадам Помпадур, которая через посредство герцога де Ниверне убедила Папу Римского предоставить ему бенефиций.
>
> 4. Он сочинил несколько «милых стихотворений» и «Размышления о пристрастиях».
>
> 5. Он находился в родстве с маршалом де Ла Фаром, который всегда выступал на его стороне в суде.
>
> 6. Он сам оказывал протекцию Дюкло, благодаря которой тот получил звание королевского историографа».

Д'Эмри уделил крайне мало внимания литературному творчеству аббата, давая его портрет через родственные связи, отношения типа клиент—патрон и «протекции» — ключевой термин всех донесений. Каждый, за которым осуществлялось полицейское наблюдение, искал, получал или оказывал протекцию — начиная от самых знатных аристократов и королевских любовниц и кончая самыми никудышными писаками. Если мадам Помпадур добыла Бернису должность аббата, то сам Бернис облагодетельствовал синекурой Дюкло. Так функционировала эта система, и полицейские не подвергали сомнению торговлю покровительством: они принимали ее как нечто само собой разумеющееся и в литературном мире, и во всем обществе.

Что она играла огромную роль для средних и низших слоев сочинителей, явствует из рапортов на писателей, которые стояли много ниже аббата де Берниса. Этим проторённым путем шел, например, Пьер Ложон. Как и многие другие литераторы, он сначала изучал право и писал стихи для собственного удовольствия. Версификаторство привело к успеху на сцене Комической оперы, успех привлек покровителей, а покровители обеспечили поэта синекурами. Это была клас-

сическая история удачи, все стадии которой четко прослеживаются у д'Эмри:

«Этот молодой человек весьма умен. Он сочинил несколько опер, которые исполнялись на сцене [Комической оперы. — *Р. Д.*] и в малых апартаментах Версальского дворца, что принесло ему протекцию мадам Помпадур, герцога Айенского и графа Клермонского, который предоставил ему пост секретаря по взысканию платежей. Граф Клермонский также назначил его секретарем наместничества в Шампани, и эта должность приносит ему три тысячи ливров годового дохода».

Понятно, что у Ложона были хорошие исходные данные: ум, привлекательная внешность («приметы»: «блондин с очень симпатичным лицом»), отец-стряпчий и родственница, которая была возлюбленной графа Клермонского. И все же он хорошо разыграл свои карты.

То же можно сказать о Габриэле-Франсуа Куайе, хотя у него на руках было меньше козырей и он не поднялся в литературной иерархии выше среднего звена. Не имея ни богатства, ни родственных связей, ни обаятельной внешности («неприятная, вытянутая физиономия»), он тем не менее упорно сочинял книгу за книгой, в том числе беллетристику. Наконец ему подвернулся постоянный заработок, и он не замедлил ухватить его.

«Он священник, и весьма умный, хотя склонный к излишней педантичности. Очень долго бродил по парижским улицам без работы и без гроша в кармане, но в конце концов нашел место учителя в доме князя де Тюренн. Поскольку князь остался доволен его службой, то наградил Куайе должностью капеллана при главнокомандующем кавалерии. Так как в настоящее время доходы от этого звания идут графу д'Эвре, г-н де Тюренн положил ему пенсион в 1200 ливров, который он будет получать до смерти д'Эвре».

Один из протеже Берниса, Антуан де Лорес, занимал на социальной лестнице шаткое положение на низших ступенях среднего ее звена. Составляя первоначальный отчет о Лоресе, д'Эмри не мог предугадать, как повернется судьба молодого человека. С одной стороны, он происходил из хорошей семьи: его отец был дуайеном Счетной палаты в Монпелье. С

другой — у него совсем не осталось денег. Если бы его оды к королю и к мадам Помпадур не принесли ему вскоре протекции, он бы просто умер с голоду на своем чердаке. Но, судя по позднейшей приписке к донесению, стихи возымели действие.

> «Благодаря аббату де Бернису он сумел быть представленным маркизе [де Помпадур. — *Р. Д.*] и, как он хвалился, добиться ее разрешения на то, чтобы поискать дела, которое бы принесло сколько-нибудь денег, и обещания, что она будет ему всячески способствовать. Спустя некоторое время, через посредство своего родственника г-на Монлезена, он был представлен графу Клермонскому, которого теперь обхаживает» [1].

На еще более низкой ступеньке замечательно трудился сын книгопродавца Пьер-Жан Будо — он составлял, обрабатывал и переводил множество трудов. Тем не менее средства к существованию Будо получал от покровителей. «Он очень умен и пользуется серьезной протекцией председателя суда Эно, который добыл ему должность в Королевской библиотеке», — пишет д'Эмри, прибавляя, что Будо считают подлинным автором «Краткой истории Франции», вышедшей под именем Эно. Одновременно пытался пробить свою дорогу на самом дне литературного мира и Пьер Дюфур, двадцатичетырехлетний сын владельца кофейни. Он работал мальчиком на побегушках в печатной мастерской, продавал запрещенные книги. Благодаря покровительству своего крестного, Фавара, он примкнул к компании актеров и драматургов театров Итальянской комедии и Комической оперы, а затем каким-то образом втерся в доверие к графу де Рюбанпре, предоставившему ему жилье и незначительную протекцию. Д'Эмри изображает Дюфура подозрительной личностью, халтурщиком и обманщиком, который сочиняет и продает запрещенную литературу, а перед полицией притворяется, будто сам следит за тем, чтобы ее не распространяли: «Хитрый малый — и очень скользкий тип». Дюфур действительно много писал: у него свыше десяти пьес, сборник стихов, роман. Но ему не удалось использовать все эти сочинения, чтобы пробиться выше, поэтому в конце концов он бросил писать и поступил на работу в книжный магазин.

Постоянная, неослабная погоня за протекцией фигурирует практически во всех рапортах д'Эмри о литературных карьерах. Франсуа Ожье де Мариньи слышит о вакансии, открывшейся в Доме инвалидов, и строчит стишки во славу графа д'Аржансона, который будет подыскивать, кем бы эту вакансию заполнить. Шарль Батте превозносит врача мадам Помпадур, за что получает место преподавателя в Коллеж де Наварр. Жан Дромгольд замечает, что в стихотворении, посвященном битве при Фонтенуа, недостаточно восславлена доблесть графа Клермонского. Он громит стихотворение в памфлете — и его быстренько удостаивают должности секретаря по взысканию платежей монсеньора графа Клермонского.

Таковы были реалии литературной жизни. И д'Эмри невозмутимо регистрировал их — не морализируя по поводу низкопоклонства писателей или тщеславия их покровителей. Более того, его как будто даже шокирует случай, когда протеже не выказывает безоговорочной верности своему патрону. Антуан Дюранлон добился благосклонности семейства Роганов, которое, будучи довольно его учительством в их доме, содействовало назначению Дюранлона директором Коллежа мэтра Жерве. Однако стоило Дюранлону занять эту должность, как он встал на сторону противников Роганов, одной сорбоннской группировки, у которой возник спор с аббатом де Роган-Гемене по поводу каких-то почетных прав. Роганы добились снятия Дюралона с должности и ссылки в Брес — и поделом ему, замечает д'Эмри, поскольку протеже отплатил своему покровителю «чернейшей неблагодарностью». Куда похвальнее было поведение Ф.-О. П. де Монкрифа. Монкриф был всем обязан графу д'Аржансону, который, как упоминалось выше, провел его через все этапы идеальной литературной карьеры: три секретарства, отчисления от прибыли «Журналь де саван» («Газеты ученых»), место во Французской академии, апартамент в Тюильри и должность в почтовой службе с шестью тысячами ливров годового дохода. Когда Монкриф обнаружил несколько сатир на короля и мадам Помпадур, которые распространяла придворная клика, настроенная против Аржансона и поддерживавшая Морепа, он тут же разоблачил их авторов — и правильно сделал: писатель не

только не может кусать руку, которая его кормит, а обязан бить по рукам всякого, кто принадлежит к вражескому лагерю.

Итак, протекция была основным принципом литературной жизни, и ее присутствие практически во всех рапортах подчеркивает отсутствие другого явления — литературного рынка. Изредка у д'Эмри можно найти упоминание о писателе, который пытается прокормиться собственным пером. Например, в 1750 году рискнул положиться на рынок Габриэль-Анри Гайар, ранее живший работой, которую ему поставлял Вольтер (именитые писатели тоже оказывали покровительство): «Он был помощником библиотекаря в Коллеже де катр насьон, но оставил эту незавидную должность, став частным учителем в одной семье, куда его рекомендовал Вольтер. Он пробыл там всего полгода, а теперь живет сочинительством... В последних его произведениях множество славословий в адрес Вольтера, которому он весьма предан». Вскоре, однако, Гайар поступил в редакцию «Газеты ученых», которая и обеспечивала его средствами до конца карьеры. У д'Эмри рассказывается также о памфлетисте Ла Барре, пытавшемся литературным трудом выбиться из «чудовищной нужды», когда Ахенский мир упразднил его должность пропагандиста при Министерстве иностранных дел. «Оставшись по окончании войны вовсе без средств, он предоставил себя в распоряжение Ла Фольо [книготорговца. — *Р. Д.*], который содержит его и для которого он время от времени сочиняет по нескольку вещиц». Но такие случаи были редкостью — не из-за недостатка в бедствующих писателях, а прежде всего потому, что книгопродавцы не имели возможности или желания оказывать такую поддержку. В более поздней записи о Ла Барре д'Эмри отмечает, что литератору в конце концов удалось получить «небольшую работенку в "Газетт де Франс"» — благодаря связям генерал-лейтенанта полиции.

Отчаянно нуждаясь в деньгах, сочинители обычно брались за незаконные дела, например, занимались контрабандным провозом запрещенной литературы или слежкой за контрабандистами и доносами на них полиции. Они не могли рассчитывать разбогатеть на каком-нибудь бестселлере, потому что продажа книг не сулила им никаких дивидендов — во-первых, из-за издательской монополии на все права, а во-вторых,

из-за распространенности пиратства. Никогда не получая отчислений от проданных книг, они уступали рукопись за аккордную плату или за определенное количество экземпляров, которые авторы либо продавали сами, либо дарили потенциальным покровителям. Рукописи крайне редко приносили большой доход, за исключением знаменитого случая с Руссо (6 тысяч ливров гонорара за «Эмиля») и 120 тысяч ливров, которые были выплачены Дидро за 20 лет работы над «Энциклопедией». По сведениям д'Эмри, Франсуа-Венсан Туссен получил всего 500 ливров за свой бестселлер под названием «Нравы», хотя его издатель, Делепин, заработал на нем не менее 10 тысяч ливров. Случай с Туссеном подтверждал общее положение: «Он много работает для книгопродавцев, из чего следует, что ему трудно сводить концы с концами». Д'Эмри замечает, что Жозеф де Ла Порт живет собственным пером «и у него нет других средств к существованию», как бы подчеркивая необычность такого положения. Чаще всего сочинитель стремился добиться *succès de prestige* (номинального успеха), чтобы привлечь к себе внимание покровителя, а затем получить местечко государственного чиновника или учителя в богатом доме.

Можно было также жениться. Жан-Луи Лесюэр оставил по себе мало памяти в истории литературы, но его жизнь представлялась идеальной с точки зрения нашего полицейского: не имея за душой ничего, кроме таланта и приятных манер, он приобрел репутацию, покровителя, синекуру и богатую супругу.

> «Этот смышленый молодой человек сочинил несколько комических опер, которые пользовались на сцене изрядным успехом. Г-н Бертен де Бланьи познакомился с ним в театре, проникся сочувствием и поручил ему играть второстепенные роли с годовым жалованьем в три тысячи, чем тот до сих пор и занимается.
>
> Он только что вступил в брак с женщиной, которая принесла ему весьма значительное состояние. Он явно достоин этого, поскольку он очень милый мальчик, со всеми любезный и благожелательный».

Д'Эмри относился к браку без тени сентиментальности. Он считал его стратегическим ходом в карьере — или же ошибкой. Писательские жены никогда не числились в отчетах

умными, культурными или добродетельными: они были только богатыми или бедными. Так, д'Эмри не тратил сочувствие на Ш.-Ж. Кокле де Шосспьера: «Он женился на никчёмной девушке из своей деревни — ни богатства, ни знатного происхождения. Единственное ее достоинство в том, что она в родстве с супругой бывшего прокурора апелляционного суда, который взял последнюю в жены для успокоения своей совести, сначала много лет прожив с ней как с любовницей». Пуатевену Дюлимону тоже едва ли светило выбраться из безвестности, поскольку он «весьма неудачно женился в Безансоне». «Неудачные» женитьбы приносили с собой не деньги, а детей, и из донесений перед нами предстает целый ряд несчастных «отцов семейства», решающих проблемы демографического характера: Туссен, которому пришлось стать наемным сочинителем, чтобы кормить одиннадцать детей; Муи, который был полицейским соглядатаем, потому что у него их было пятеро; Дре де Радье и Рене де Бонневаль, отягощенные многочисленными отпрысками, а потому обреченные до конца своих дней быть низкопробными наемными писаками.

Получалось, что писателям, которым была необходима «удачная» женитьба, но которые не могли найти подходящей невесты, следовало воздерживаться от брака — что многие и делали. Д'Эмри всегда упоминает родственные связи, но о женах и детях речь у него идет раз двадцать, не более. Хотя сведения слишком разрозненны и делать твердые выводы сложно, похоже, что большинство писателей, в особенности из так называемых «интеллектуальных профессий», вовсе не женились. А если и вступали в брак, то чаще всего выждав, когда приобретут репутацию и синекуру, если не место в Академии. Таковы этапы пути Ж.-Б.-Л. Грессе, еще одного человека, преуспевшего в глазах инспектора: сначала несколько удачных спектаклей в «Комеди франсез», потом избрание в Академию и наконец, в возрасте сорока четырех лет, женитьба на дочери богатого купца из Амьена.

А как было писателю уберечься от страсти, пока он продвигается к бессмертию? Даламбер призывал «философов» жить в целомудрии и нищете[12]. Но д'Эмри знал, что для плоти такая жизнь невыносима. Он признавал существование

любви в не меньшей степени, чем экономической подоплеки брака. В донесениях на Мармонтеля и Фавара оба оказываются *amourachés* (влюблены), и каждый в одну из актрис, которых содержит Мориц Саксонский. «История» Мармонтеля столь же полна интриг, как и у Фавара; более того, она напоминает сюжет их собственных пьес.

Молодой драматург (за спиной старого маршала, Морица Саксонского) влюбляется в актрису, мадемуазель Верьер. Они увольняют лакея, чтобы без свидетелей предаваться своей страсти. Тем не менее лакей, которого маршал (а возможно, и полиция) используется как соглядатая, узнает об их связи, и вскоре влюбленные оказывают под угрозой катастрофы — потери 12 тысяч ливров годового дохода для актрисы и всяческой протекции для писателя. Впрочем, все кончается благополучно: мадемуазель Верьер, по-видимому, удается загладить свою вину перед маршалом, а Мармонтель переключается на одну из ее товарок, мадемуазель Клерон. Заглянув во множество замочных скважин (самостоятельно или через посредников), д'Эмри со всей очевидностью понял, что большинство литераторов заводило себе любовниц.

Впрочем, и это, как говорится, легче сказать, чем сделать. Актрисы «Комеди франсез» не часто бросались в объятия нищих сочинителей, даже если те обладали внешностью Мармонтеля и Фавара. Мелкие писаки жили с женщинами своего круга — продавщицами, служанками, прачками, шлюхами. Счастливые семьи в подобных обстоятельствах редкость, а потому и «истории» д'Эмри почти не имеют счастливых концов, особенно с точки зрения женщины. Возьмем, к примеру, личную жизнь А.-Ж. Шомекса, безвестного автора, прибывшего в Париж с малыми деньгами и большими надеждами. Поначалу он кормился на жалованье учителя пансиона, где у него была неполная нагрузка. Но вот школа закрылась, и он удалился в меблированные комнаты, где, пообещав потом жениться, соблазнил служанку. Вскоре, однако, Шомекс разлюбил ее. А когда он стал кое-что зарабатывать у книготорговца Эриссана, для которого писал антипросветительские памфлеты, брошенная невеста (возможно, беременная) потребовала компенсации у Эриссана — и получила со счета Шомекса 300

ливров. Затем Шомекс сошелся с сестрой другого заштатного учителя. На этот раз ему не удалось избежать брака, хотя эта женщина была, по словам д'Эмри, «сатаной в юбке, никчемной бабенкой, от которой ему не было никакой пользы». Через несколько лет Шомекс ухватился за место частного учителя в России и сбежал, бросив жену с малышкой-дочерью на руках.

Любовные связи представляли для литератора опасность, потому что иногда приходилось жениться, как бы плоха ни была партия. Д'Эмри сообщает, что А.-Ж. Менье де Керлон влюбился в содержательницу борделя и заключил с ней брак, чтобы вызволить ее из тюрьмы. Он и оглянуться не успел, как оказался с семьей на шее. Его спасла от нищеты подкинутая кем-то работа в «Газетт де Франс», а затем должность редактора «Птитз аффиш» («Листка для объявлений»), но он так и не отложил ничего на черный день, поэтому в старости снова пришлось рассчитывать на других: теперь ему помог пенсион от одного финансиста. Как явствует из рассказов д'Эмри об их личной жизни, в домах терпимости нашли свою любовь еще несколько писателей. Не сумел расстаться с содержательницей заведения на перекрестке де Катр-Шемине, завсегдатаем которого он был, поэт Милон. Драматург и будущий журналист Пьер Руссо жил с дочерью шлюхи, выдавая ее за свою жену. Не только посещали проституток, но и женились на них два других наемных сочинителя, компилятор Ф.-А. Тюрпен и памфлетист Гене. Изредка богемные браки оказывались удачными. По признанию д'Эмри, Луи Ансом едва сводил концы с концами на жалованье заштатного учителя, пока не женился на сестре актрисы из Комической оперы («брак, заключенный не столько по доброй воле, сколько в силу обстоятельств»). Спустя два года Ансом почти процветал, сочиняя и ставя комические оперы. Но в большинстве случаев женитьба тянула литератора не вверх, а вниз. Привычная модель высвечена в двух жестких фразах из отчета о нищем драматурге Луи де Буасси: «Он благородный человек. Он женился на своей прачке». На общем фоне браки Руссо и Дидро (первый женился на полуграмотной прачке, второй — на дочери торговца полотняным товаром) отнюдь не выходят за рамки обычного.

* * *

Если писатели не могли прокормить себя пером и вести респектабельную семейную жизнь, каким виделось людям сочинительство как профессия? В трудах философов-просветителей уже высказывалась мысль о том, что литератор — человек достойный, а его призвание заслуживает всяческого уважения [13], но в рапортах д'Эмри ничего подобного нет. Хотя полиция признавала существование писателей и выделяла их среди прочих французов, отведя особое место в донесениях нашего инспектора, за сочинителем явно не числили ни профессии, ни положения в обществе. Он мог быть благородным господином, священником, правоведом или лакеем, но у него не было *qualité* или *condition* — «титула» или «звания», которые бы отделяли его от не-писателей.

Как подсказывают французские слова, д'Эмри пользовался старой социальной номенклатурой, в которой не находилось места для современных независимых интеллектуалов. Возможно, он и отставал в этом плане от Дидро и Даламбера, но его язык скорее всего отражал положение писателя в середине XVIII века. Полиция не могла отнести литератора ни к одной из традиционных общественных категорий, поскольку он еще не приобрел современные черты: человека, свободного от покровителей, интегрированного в литературный рынок и преданного своему призванию. При всей туманности терминов, которыми оперировали в отношении данного слоя общества, хочется задаться вопросом: каков все-таки был статус писателя?

Хотя из полицейских рапортов вынести четкого ответа невозможно, в них содержатся весьма многозначительные детали. Например, д'Эмри часто называет литераторов *garçons* («мальчики», «малые», «парни»), но это выражение никак не связано с возрастом. «Парнем» числится Дидро, хотя в период написания рапорта ему было 37 лет, он был женат и имел детей. «Мальчиками» оставались на четвертом десятке Пьер Сигорнь, аббаты Рейналь и де л'Эклюз-де-Лож, не говоря уже о пятидесятисемилетнем «малом» Луи Маннори. От писателей, которые считаются взрослыми мужами и иногда даже фигурируют как господа, «мальчиков» отличает отсутствие твердого общественного положения. Кем бы они ни были —

журналистами, учителями или аббатами, — они занимали шаткое положение в низах литературной республики. Они то брались за совсем низкопробные дела, то как будто выплывали на поверхность, но в любом случае их работа подпадала под категорию так называемых «интеллектуальных занятий» — приходится обращаться к этому анахронизму, поскольку в XVIII веке не было термина для обозначения людей вроде Дидро. Вот и д'Эмри не придумал ничего лучше «мальчика». Ему бы и в голову не пришло употребить это слово в отношении тридцатитрехлетнего маркиза де Сен-Ламбера или врача Антуана Пети, который был двумя годами младше. Слово *garçon* подразумевало маргинальность и призвано было обозначить необозначаемых — подозрительных предшественников современного интеллектуала, которые в полицейских досье обычно числились как «лица без определенного занятия».

Терминологию д'Эмри не следует приписывать особенностям речи озабоченного статусом чиновника: наш полицейский инспектор просто разделял предрассудки тогдашнего общества. Так, в донесении на Пьера-Шарля Жаме он мимоходом замечает: «Говорят, он из хорошей семьи», а про откупщика Шарля-Этьенна Песселье пишет: «Это человек чести [*galant homme*], что весьма редко можно сказать о поэте или финансисте». Но д'Эмри не был снобом. В рапорте на Туссена сказано: «Едва ли он высокого происхождения, поскольку родился в семье сапожника из прихода святого Павла. Тем не менее он человек вполне достойный». Даже когда у д'Эмри встречается плохой отзыв о каком-нибудь сочинителе, в нем выражено не столько мнение автора, сколько отношение к данному человеку его окружения. Естественно, четко разграничить личное и общественное трудно, но изредка, особенно в тех местах, где д'Эмри вставляет не относящуюся к делу ремарку, у него проскальзывают наблюдения, вероятно отражающие общепринятые взгляды. Например, в «истории» Жака Морабена инспектор как ни в чем не бывало бросает: «Он умен и является автором двухтомного труда, ин-кварто, под названием "Жизнь Цицерона", посвященного графу де Сен-Флорантену, который оказывает ему протекцию и у которого он служит секретарем. Этот господин и передал его ме-

сье Эно». Значит, сочинителя можно было передать от одного покровителя к другому наподобие вещи.

Тон таких замечаний отражает привычное обращение с литераторами. Взбучка, которую получил Вольтер от слуг шевалье де Рогана, часто приводится как пример неуважения, проявлявшегося к писателям в начале XVIII века. Но писателя могли побить за оскорбление знатной особы и в эпоху «Энциклопедии». Видного пожилого драматурга Пьера-Шарля Руа чуть не забил до смерти слуга графа Клермонского — из мести за сатирическое стихотворение, написанное по поводу спорного избрания в Академию. В 40-х годах Ж.-Ф. Пуллен де Сен-Фуа держал в страхе зрителей тем, что колотил всех, кто освистывал его пьесы. Ходили слухи, что он прикончил нескольких критиков на дуэли и обещал отрезать уши любому рецензенту, который станет громить его произведения. Даже Мармонтель с Фрероном сцепились в ссоре. В антракте, пока бомонд прогуливался в фойе «Комеди франсез», Мармонтель потребовал сатисфакции за сатирические замечания, которые Фрерон позволил себе по его поводу в журнале «Анне литтерер» («Литературный год»). Фрерон предложил выйти на улицу. Они успели обменяться несколькими ударами шпагой, пока их не разняли и не препроводили к маршалам Франции, ведавшим делами чести. Но маршал д'Изанкьен отпустил их как «мелкую рыбешку, которой следует заниматься полиции», и в донесениях д'Эмри эта история названа «смешной». И у инспектора, и у любого другого француза того времени идея писательской чести и сочинители, пытающиеся защищать ее на манер благородных господ, вызывали только смех.

Разумеется, многим писателям не приходилось волноваться по поводу протекции, избиений или насмешек над собой. Им не грозил брак со плюхой, и их никто не осмелился бы назвать «мальчиком», потому что у них было собственное «звание», было твердое положение магистрата, стряпчего или государственного чиновника. Но обычный литератор рисковал подвергнуться со стороны жестокого мира любому обращению, современники и не думали возводить его на пьедестал. Пока просветители закладывали основы теперешнего культа интеллектуала, полиция выражала более привычный и приземленный взгляд на свою «рыбешку». Занятия литерату-

рой могли скрасить жизнь дворянина и принести синекуру человеку менее знатного происхождения, но чаще они просто плодили никчемных людей. Д'Эмри сочувствует семье Мишеля Портланса, способного молодого человека, из которого мог бы выйти толк, если бы только он оставил поэзию: «Он сын слуги, и у него есть дядюшка-каноник, который послал его учиться и надеялся сделать из него человека. Но он целиком посвятил себя поэзии, чем поверг дядюшку в отчаяние».

В то же время д'Эмри восхищался талантом. Фонтенель был в его глазах «одним из самых замечательных гениев нашего столетия», а Вольтер — «орлом по духу и отвратительным субъектом по своим взглядам». Хотя в последнем отзыве слышится прежде всего инспектор полиции, тут присутствует и уважение. Д'Эмри с симпатией рассказывает о Монтескье и проблемах, возникших у него из-за труда «О духе законов»: «Исключительно умный человек, который страшно мучится плохим зрением. Он написал несколько прекрасных сочинений, в том числе "Персидские письма", "Книдский храм" и знаменитый трактат "О духе законов"».

Подобные замечания были бы неслыханны при Людовике XIV, когда Вобану и Фенелону запретили появляться при дворе за гораздо менее дерзкие публикации и когда Расин, чтобы принять дворянство, должен был бросить писательское дело. Не пришлись бы они кстати и в XIX веке, когда Бальзак с Гюго ввели в моду героический стиль повествования, а Золя завершил покорение рынка. Д'Эмри отражал промежуточный этап в эволюции писательского статуса. Наш инспектор не считал сочинительство самостоятельной профессией, а тех, кто им занимается, представителями определенного класса, но он уважал литературу как вид искусства... и понимал, что за литераторами необходимо следить как за идеологической силой.

* * *

Хотя для д'Эмри не существовало понятия идеологии, он постоянно сталкивался с ней, и не как с убывающим потоком Просвещения или нарастающим революционным сознанием, а в виде опасности, подстерегавшей на каждом углу. «Опасность» фигурирует в нескольких рапортах, обычно в связи с

комментариями о подозрительных личностях. Д'Эмри прибегает к градации эпитетов: «хороший человек» (Фосс), «довольно плохой человек» (Оливье, Фебр, Неэль), «скверный субъект» (Куртуа, Пальмеюс) и «отвратительный субъект» (Гурне, Вольтер) или же «не вызывает подозрений» (Буасси), «подозрителен» (Каюзак) и «крайне подозрителен» (Люрке). Похоже, он взвешивал слова, тщательно отмеряя степень подозрительности для каждого обладателя досье. И, судя по контексту, «скверные субъекты» были чреваты «опасностью» в том смысле, в каком она понималась полицией именно в ту эпоху. Пальмеюс был «опасным, скверным субъектом», потому что писал лицам, облеченным властью, анонимные письма против своих врагов. Репутация мадемуазель Фок де ла Сепед была не лучше, так как она поссорила двух любовников, подделывая их почерк в письмах друг к другу, — вполне банальная интрига для сегодняшнего дня, которую д'Эмри, однако, воспринял более чем серьезно: «Такой талант очень опасен для общества». Умение скомпрометировать кого-либо казалось особенно страшным в рамках системы, в которой взлеты и падения человека зависели от его *crédit*, т.е. репутации, или доверия к нему. Лицам, пользовавшимся наибольшим доверием (*gens en place*, или креатурам), было особенно много терять, если они впадали в немилость. Вот почему д'Эмри настороженно относился к людям, которые собирали сведения о других, чтобы испортить их репутацию в глазах властей. Не случайно появилась следующая запись о П.-К. Нивелле де Ла Шоссе: «Он никогда не совершал ничего подозрительного, однако его не любят, считая опасным и способным тайно вредить людям».

Тайный вред (мысль о нем передается глаголами *nuire* и *perdre*, «вредить» и «губить») обычно был разоблачением в виде доноса, и такое разоблачение противодействовало системе протекционизма. Д'Эмри сталкивался с разоблачениями на каждом шагу. Бедствующий поэт по фамилии Куртуа продал свое перо армейскому капитану, который хотел засадить за решетку ненавистного ему человека, подкинув в полицию анонимку с информацией о нем. Некая мадам Дюбуа, в пух и прах рассорившись с супругом, попыталась упрятать его в Бастилию с помощью письма под чужим именем, в котором

рой могли скрасить жизнь дворянина и принести синекуру человеку менее знатного происхождения, но чаще они просто плодили никчемных людей. Д'Эмри сочувствует семье Мишеля Портланса, способного молодого человека, из которого мог бы выйти толк, если бы только он оставил поэзию: «Он сын слуги, и у него есть дядюшка-каноник, который послал его учиться и надеялся сделать из него человека. Но он целиком посвятил себя поэзии, чем поверг дядюшку в отчаяние».

В то же время д'Эмри восхищался талантом. Фонтенель был в его глазах «одним из самых замечательных гениев нашего столетия», а Вольтер — «орлом по духу и отвратительным субъектом по своим взглядам». Хотя в последнем отзыве слышится прежде всего инспектор полиции, тут присутствует и уважение. Д'Эмри с симпатией рассказывает о Монтескье и проблемах, возникших у него из-за труда «О духе законов»: «Исключительно умный человек, который страшно мучится плохим зрением. Он написал несколько прекрасных сочинений, в том числе "Персидские письма", "Книдский храм" и знаменитый трактат "О духе законов"».

Подобные замечания были бы неслыханны при Людовике XIV, когда Вобану и Фенелону запретили появляться при дворе за гораздо менее дерзкие публикации и когда Расин, чтобы принять дворянство, должен был бросить писательское дело. Не пришлись бы они кстати и в XIX веке, когда Бальзак с Гюго ввели в моду героический стиль повествования, а Золя завершил покорение рынка. Д'Эмри отражал промежуточный этап в эволюции писательского статуса. Наш инспектор не считал сочинительство самостоятельной профессией, а тех, кто им занимается, представителями определенного класса, но он уважал литературу как вид искусства... и понимал, что за литераторами необходимо следить как за идеологической силой.

* * *

Хотя для д'Эмри не существовало понятия идеологии, он постоянно сталкивался с ней, и не как с убывающим потоком Просвещения или нарастающим революционным сознанием, а в виде опасности, подстерегавшей на каждом углу. «Опасность» фигурирует в нескольких рапортах, обычно в связи с

комментариями о подозрительных личностях. Д'Эмри прибегает к градации эпитетов: «хороший человек» (Фосс), «довольно плохой человек» (Оливье, Фебр, Неэль), «скверный субъект» (Куртуа, Пальмеюс) и «отвратительный субъект» (Гурне, Вольтер) или же «не вызывает подозрений» (Буасси), «подозрителен» (Каюзак) и «крайне подозрителен» (Люрке). Похоже, он взвешивал слова, тщательно отмеряя степень подозрительности для каждого обладателя досье. И, судя по контексту, «скверные субъекты» были чреваты «опасностью» в том смысле, в каком она понималась полицией именно в ту эпоху. Пальмеюс был «опасным, скверным субъектом», потому что писал лицам, облеченным властью, анонимные письма против своих врагов. Репутация мадемуазель Фок де ла Сепед была не лучше, так как она поссорила двух любовников, подделывая их почерк в письмах друг к другу, — вполне банальная интрига для сегодняшнего дня, которую д'Эмри, однако, воспринял более чем серьезно: «Такой талант очень опасен для общества». Умение скомпрометировать кого-либо казалось особенно страшным в рамках системы, в которой взлеты и падения человека зависели от его *crédit*, т.е. репутации, или доверия к нему. Лицам, пользовавшимся наибольшим доверием (*gens en place*, или креатурам), было особенно много терять, если они впадали в немилость. Вот почему д'Эмри настороженно относился к людям, которые собирали сведения о других, чтобы испортить их репутацию в глазах властей. Не случайно появилась следующая запись о П.-К. Нивелле де Ла Шоссе: «Он никогда не совершал ничего подозрительного, однако его не любят, считая опасным и способным тайно вредить людям».

Тайный вред (мысль о нем передается глаголами *nuire* и *perdre*, «вредить» и «губить») обычно был разоблачением в виде доноса, и такое разоблачение противодействовало системе протекционизма. Д'Эмри сталкивался с разоблачениями на каждом шагу. Бедствующий поэт по фамилии Куртуа продал свое перо армейскому капитану, который хотел засадить за решетку ненавистного ему человека, подкинув в полицию анонимку с информацией о нем. Некая мадам Дюбуа, в пух и прах рассорившись с супругом, попыталась упрятать его в Бастилию с помощью письма под чужим именем, в котором

утверждала, будто ее муж читал направленные против короля стихи, — дескать, она видела это собственными глазами во время масленичных гуляний. Банкир Никола Жуэн добился заключения в тюрьму возлюбленной сына, за что сын отплатил анонимным письмом, вскрывавшим отцовское авторство нескольких янсенистских трактатов, в том числе памфлета с выпадами против архиепископа Парижского, — и отец загремел в Бастилию.

Надзор за всем этим злословием отнимал у полиции уйму времени. Д'Эмри игнорировал случаи, когда на карту была поставлена репутация простых людей. В частности, он и ухом не повел, когда подавальщица из кафе пожаловалась на то, что брошенный ею любовник, поэт Роже де Сери, высмеял ее в памфлете. Зато он обратил пристальное внимание на Фабио Герардини, в памфлете которого чернилась родословная графа де Сен-Севрена; на Пьера-Шарля Жаме, который поносил главного инспектора и его предков; а также на Никола Лангле дю Френуа, который хотел издать историю Регентства «с весьма сильными выпадами против самых влиятельных семейств». Распространение порочащих сведений о кланах и клиентах затрагивало государственные интересы, ибо в системе придворной политики личности были не менее важны, чем принципы, и одним удачным памфлетом можно было совершенно испортить чью-то репутацию.

Итак, деятельность идеологической полиции нередко заключалась в розыске памфлетистов и недопущении *libelles* (пасквилей), поскольку клевета, появившаяся в печати, обозначалась именно этим словом. Д'Эмри всячески старался защитить доброе имя собственных покровителей, в частности генерал-лейтенанта полиции Никола-Рене Беррье и клику Аржансонов при дворе, и из его рапортов иногда явствует, что он искал автора по заданию начальства. Например, в сведениях на Луи де Каюзака инспектор сообщает: по словам Беррье, «его [Каюзака. — *Р. Д.*] считают опасным при дворе, посему им следует заняться с особым тщанием». Каюзак не сочинял революционных трактатов и тем не менее производил впечатление «скверного субъекта», поскольку сменил нескольких покровителей (перешел от графа Клермонского к графу де Сен-Флорантену, а от него — к финансисту ла Поплинь-

еру) и издал псевдояпонский роман под названием «Григри»*, который мог испортить репутацию многим и многим придворным. Беррье точно так же посоветовал д'Эмри последить за Ж.-А. Гёром, «скверным субъектом» из приспешников Машо, поскольку он недавно ездил в Голландию, чтобы договориться о напечатании там каких-то «подозрительных манускриптов».

Донесения на таких поднадзорных изобилуют словами типа «подозрительный», «скверный» и «опасный». «Скверным» назван и Л.-Ш. Фужере де Монброн, так как он специализировался на пасквилях:

> «Недавно напечатал в Гааге сочинение на восьми-девяти листах под заглавием "Космополит, гражданин мира". Это сатира на французское правительство, а в особенности на месье Беррье и маркиза д'Аржанса. Последнего он [Монброн. — *Р. Д.*] тем более недолюбливает, что считает его причиной своей высылки из Пруссии, где проживал ранее».

Самые опасные пасквилянты разили наиболее высокопоставленных особ королевства из-за границы. В апреле 1751 года д'Эмри записывает, что Л.-М. Бертен де Фрато «в настоящее время находится в Лондоне, а прежде был в Испании. Он все еще говорит гадости про нашу страну и примкнул к группе скверных субъектов, чтобы сочинять сатиры на нее». Спустя год инспектор сообщает, что Бертен сидит в Бастилии. Обнаружив несколько рукописей, спрятанных Бертеном в Париже, полиция послала в Лондон агента, который выманил пасквилянта из Англии и помог схватить его в Кале. Бертена продержали в тюрьме два с половиной года за «пасквили самого возмутительного свойства, направленные против короля и всей королевской фамилии».

По разумению д'Эмри, работа инспектора включала в себя защиту королевской власти через подавление всякой деятельности, способной нанести ущерб авторитету короля. Оскорбительные памфлеты в адрес Людовика XV и мадам Помпадур, которые современный читатель воспринял бы как сплетни, казались ему подстрекательством к мятежу. Неудивительно, что он приберегает самые сильные выражения для пасквилян-

* Возможно, это название переводится как «Талисман».

утверждала, будто ее муж читал направленные против короля стихи, — дескать, она видела это собственными глазами во время масленичных гуляний. Банкир Никола Жуэн добился заключения в тюрьму возлюбленной сына, за что сын отплатил анонимным письмом, вскрывавшим отцовское авторство нескольких янсенистских трактатов, в том числе памфлета с выпадами против архиепископа Парижского, — и отец загремел в Бастилию.

Надзор за всем этим злословием отнимал у полиции уйму времени. Д'Эмри игнорировал случаи, когда на карту была поставлена репутация простых людей. В частности, он и ухом не повел, когда подавальщица из кафе пожаловалась на то, что брошенный ею любовник, поэт Роже де Сери, высмеял ее в памфлете. Зато он обратил пристальное внимание на Фабио Герардини, в памфлете которого чернилась родословная графа де Сен-Севрена; на Пьера-Шарля Жаме, который поносил главного инспектора и его предков; а также на Никола Лангле дю Френуа, который хотел издать историю Регентства «с весьма сильными выпадами против самых влиятельных семейств». Распространение порочащих сведений о кланах и клиентах затрагивало государственные интересы, ибо в системе придворной политики личности были не менее важны, чем принципы, и одним удачным памфлетом можно было совершенно испортить чью-то репутацию.

Итак, деятельность идеологической полиции нередко заключалась в розыске памфлетистов и недопущении *libelles* (пасквилей), поскольку клевета, появившаяся в печати, обозначалась именно этим словом. Д'Эмри всячески старался защитить доброе имя собственных покровителей, в частности генерал-лейтенанта полиции Никола-Рене Беррье и клику Аржансонов при дворе, и из его рапортов иногда явствует, что он искал автора по заданию начальства. Например, в сведениях на Луи де Каюзака инспектор сообщает: по словам Беррье, «его [Каюзака. — *Р. Д.*] считают опасным при дворе, посему им следует заняться с особым тщанием». Каюзак не сочинял революционных трактатов и тем не менее производил впечатление «скверного субъекта», поскольку сменил нескольких покровителей (перешел от графа Клермонского к графу де Сен-Флорантену, а от него — к финансисту ла Поплинь-

еру) и издал псевдояпонский роман под названием «Григри»*, который мог испортить репутацию многим и многим придворным. Беррье точно так же посоветовал д'Эмри последить за Ж.-А. Гёром, «скверным субъектом» из приспешников Машо, поскольку он недавно ездил в Голландию, чтобы договориться о напечатании там каких-то «подозрительных манускриптов».

Донесения на таких поднадзорных изобилуют словами типа «подозрительный», «скверный» и «опасный». «Скверным» назван и Л.-Ш. Фужере де Монброн, так как он специализировался на пасквилях:

> «Недавно напечатал в Гааге сочинение на восьми-девяти листах под заглавием "Космополит, гражданин мира". Это сатира на французское правительство, а в особенности на месье Беррье и маркиза д'Аржанса. Последнего он [Монброн. — *Р. Д.*] тем более недолюбливает, что считает его причиной своей высылки из Пруссии, где проживал ранее».

Самые опасные пасквилянты разили наиболее высокопоставленных особ королевства из-за границы. В апреле 1751 года д'Эмри записывает, что Л.-М. Бертен де Фрато «в настоящее время находится в Лондоне, а прежде был в Испании. Он все еще говорит гадости про нашу страну и примкнул к группе скверных субъектов, чтобы сочинять сатиры на нее». Спустя год инспектор сообщает, что Бертен сидит в Бастилии. Обнаружив несколько рукописей, спрятанных Бертеном в Париже, полиция послала в Лондон агента, который выманил пасквилянта из Англии и помог схватить его в Кале. Бертена продержали в тюрьме два с половиной года за «пасквили самого возмутительного свойства, направленные против короля и всей королевской фамилии».

По разумению д'Эмри, работа инспектора включала в себя защиту королевской власти через подавление всякой деятельности, способной нанести ущерб авторитету короля. Оскорбительные памфлеты в адрес Людовика XV и мадам Помпадур, которые современный читатель воспринял бы как сплетни, казались ему подстрекательством к мятежу. Неудивительно, что он приберегает самые сильные выражения для пасквилян-

* Возможно, это название переводится как «Талисман».

тов вроде Никола Лангле дю Френуа («опасный человек, готовый к свержению королевской власти»), а также памфлетистов и парламентских фрондеров, собиравшихся в салонах г-жи Дубле и г-жи Вьемезон («наиболее опасная компания в Париже»). Члены этих групп не просто обсуждали придворные интриги и политику; их перу принадлежали самые зловредные пасквили и заметки в рукописных газетах, которые распространялись «из-под полы» по всей Франции. С полдюжины этих первых хроникеров (поскольку они поставляли новости, их называли *nouvellistes*) фигурирует и в отчетах д'Эмри. Он относился к ним серьезно, поскольку они серьезно влияли на общественное мнение. Его осведомители слышали отголоски их *nouvelles* в кафе и парках, даже среди простонародья, которое передавало новости из уст в уста. Вот как сообщает соглядатай д'Эмри о речи, которую держал Пиданса де Меробер, основной поставщик «новостей» для салона Дубле и «самый острый язык в Париже»: «Рассуждая о последних реформах [двадцатинном налоге. — *Р. Д.*], Меробер сказал, что кому-нибудь из военных следует уничтожить весь двор, который находит удовольствие в разорении простого народа и увековечении несправедливости».

Полицейские агенты неизменно собирали крамольные речи (*propos*) и всяческие пересуды, и писателей нередко сажали за них в тюрьму. Все это отмечает д'Эмри в своих рапортах, где то и дело попадаются подозрительные личности: Ф.-З. де Лоберивьер, шевалье де Кенсона — воин, который превратился в «хроникера», «слишком много позволяющего себе в своих *propos*»; Ж.-Ф. Дре де Радье, которого выслали из страны «за его *propos*»; Ф.-П. Меллен де Сент-Илэр, которого отправили в Бастилию «за речи, направленные против мадам Помпадур», или Антуан Бре, также попавший в Бастилию за «подстрекательские *propos*, направленные против короля и мадам Помпадур». Иногда эти речи прямо-таки звучат у нас в ушах. Например, донесение на Пьера-Матиаса де Гурне, священника, географа и «отвратительного субъекта», напоминает стенографический отчет о витавших в народе настроениях:

> «14 марта 1751 года, гуляя в садах Пале-Рояля и рассуждая о полиции, он сказал, что никогда еще в Париже не было более несправедливой и

варварской инквизиции, чем теперь. Это презираемый всеми тираническ-ий деспотизм. А источником его, продолжал он, является слабый и сластолюбивый король, которого интересуют лишь дурманяющие его утехи. Бразды правления держит в своих руках женщина... Остальное нельзя было расслышать».

Та же тема всплывает в стихотворении, которое, дабы скомпрометировать мужа, прислала в полицию супруга торгового приказчика, мадам Дюбуа, а также в других стихах, которые были положены на мотив известных песен и распевались на каждом углу. Полицейские соглядатаи докладывали о том, что слышат песенки вроде нижеследующей во всех слоях общества [14]:

Lâche dissipateur des biens de tes sujets,
Toi qui comptes les jours par les maux que tu fais,
Esclave d'un ministre et d'une femme avare,
Louis, apprends le sort que le ciel te prépare.

Ты, праздный расточитель богатств подданных,
Считающий дни по тому злу, которое успел свершить,
Невольник министра и корыстолюбивой женщины,
Послушай же, Людовик, что уготовили тебе небеса*.

О короле плохо отзывались все средства массовой информации того времени: книги, брошюры, газеты, молва, стихи и песни. Неудивительно, что окружающий мир казался д'Эмри довольно хрупким. Если главный покровитель утратил верность своих подданных, может рухнуть вся система охранительства. Нет, д'Эмри не предвидел революции, но, инспектируя литературную среду, он не мог не понимать, что монархия становится все более уязвимой для нападок со стороны общественного мнения. Пока придворные возносились и падали в зависимости от влияния своих покровителей, памфлетисты подрывали уважение народа к существующей власти, причем опасность могла исходить откуда угодно, даже из каморки неподалеку от плас де л'Эстрапад (площади Дыбы), где работал над «Энциклопедическим словарем» «парнишка» по имени Дидро.

* Как и в английском тексте, перевод почти дословный.

И все же на первый взгляд кажется странным, что Дидро ассоциировался у д'Эмри с опасностью. Он ведь сочинял не пасквили, а просветительские трактаты, Просвещение же не причислено в рапортах к разрушительным силам. Более того, д'Эмри вообще ни разу не употребляет таких терминов, как *Lumières* (Просвещение) или *philosophe* (просветитель). Хотя он вел досье практически на всех «философов», начавших печататься к 1753 году, он не считал их единой группой, а в качестве индивидуумов многие из них заслужили похвальный отзыв инспектора. Он не только с почтением пишет о маститых просветителях вроде Фонтенеля, Дюкло и Монтескье, он называет Даламбера «очаровательным как по характеру, так и по уму». Руссо фигурирует в донесениях в виде человека раздражительного и колкого, однако же «великого ума» и «больших достоинств», с особым даром к музыке и литературной полемике. Даже «отвратительный субъект» Вольтер предстает в первую очередь как интриган, известный не только в литературном мире, но и при дворе. Из знаменитых «философских» салонов он упоминает, причем мимоходом, лишь два — г-жи Жофрен и маркизы де Креки, совершенно игнорируя влиятельные группы интеллектуалов вокруг мадемуазель Леспинасс, мадам дю Деффан, мадам де Тансен и барона Гольбаха. Совершенно очевидно, что он не выделял этот слой общества и не представлял себе Просвещение в виде четкого общественного движения — если вообще задумывался о нем. Идейное течение, которое большинство учебников называет наиболее передовым в истории культуры, не попало в полицейские отчеты.

Впрочем, нет, оно в них попало, но лишь в виде подводного течения. В отличие от пасквилянтов и «хроникеров», Дидро представлял менее очевидную, но более коварную опасность: атеизм. «Это молодой человек, который изображает из себя остроумца и гордится своей нечестивостью; очень опасен; с пренебрежением отзывается о святых таинствах», — пишет д'Эмри. В его рапорте сообщается, что после таких ужасных сочинений, как «Философские мысли» и «Нескромные сокровища», Дидро сидел в тюрьме за «Письмо о слепых в назидание зрячим», а теперь трудится над «Энциклопедическим словарем» вместе с Франсуа-Венсаном Туссеном и Мар-

ком-Антуаном Эду. На этих сочинителей у д'Эмри были заведены отдельные досье, как, впрочем, и на их предшественника по работе над «Энциклопедисй», Годфруа Селлиуса, и на книготорговцев, которые финансировали это издание. Все они предстают в виде сомнительных личностей, живущих на манер низкопробных писак: сегодня опубликуют компиляцию, завтра перевод, а между делом настрочат что-нибудь фривольное или антиклерикальное. Так, д'Эмри отмечает, что Эду снабжал Дидро скабрезным материалом для «Нескромных сокровищ», тайно выпущенных в 1748 году одним из издателей «Энциклопедии», Лораном Дюраном, а другой энциклопедист, Жан-Батист де ла Шапель, поставлял нечестивости для «Письма о слепых»: «Он утверждает, что Дидро списал разговоры Сондерсона с него, а это, между прочим, самые сильные антирелигиозные места в "Письме о слепых"».

Перекрестные ссылки рапортов свидетельствуют о том, что Дидро водил плохую компанию и что эта компания плохо сказывалась на «Энциклопедии», особенно после того, как одного из его сотрудников, аббата Жана-Мартена де Прада, изгнали из Франции за ересь. В начале 1752 года сорбоннские профессора нашли массу нечестивостей в диссертации на звание лиценциата, которую де Прад незадолго перед тем успешно защитил на своем богословском факультете. Обнаружение философского вздора в храме ортодоксии было неприятно само по себе (не говоря уже о нетребовательности экзаменаторов), но хуже было другое: труд де Прада оказался основан на «Предварительном рассуждении», т.е. введении к «Энциклопедии». Более того, аббат снабжал Дидро материалами по вопросам теологии, жил в меблированных комнатах вместе с двумя другими сотрудниками, аббатами Ивоном и Пестре, и эта тройка энциклопедических аббатов была связана с аббатами-философами: Эдме Малле, еще одним автором «Энциклопедии»; Гийомом-Тома-Франсуа Рейналем, впоследствии снискавшим себе дурную славу книгой «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях»; и Гийомом-Александром Меэганом, впоследствии редактором «Энциклопедического журнала», попавшим в 1752 году в Бастилию за своего «Заратустру» (д'Эмри называет это сочинение «гнусным пасквилем против религии, ко-

торый автор посвятил г-ну Туссену»). Де Прад и Ивон избежали той же участи лишь потому, что тайком покинули Францию, не утратив при этом связей с бывшими коллегами. По словам д'Эмри, Ивон продолжал писать для «Энциклопедии» из своего убежища в Голландии, тогда как Пестре вычитывал гранки памфлета в защиту де Прада, благополучно обосновавшегося в Пруссии, при дворе Фридриха II.

Сочетание аббатов-еретиков с мансардными атеистами вызывало подозрения к «Энциклопедии», однако д'Эмри — в отличие от более поздних комментаторов типа аббата Баррюэля — не обнаружил за ней заговора. Он явно не прилагал особых усилий, чтобы найти хотя бы большинство авторов. В его донесениях упоминается лишь 22 из них — менее 10% тех, кто написал хотя бы одну статью до 1765 года, когда вышли из печати ее заключительные тома. В 1748–1753 годах этот труд еще не стал проклятием для властей и символом Просвещения для читающей публики. «Энциклопедия» продолжала быть законным предприятием, пользовалась покровительством одного из начальников д'Эмри, директора книжной торговли Ламуаньона де Мальзерба, и была посвящена министру обороны, графу д'Аржансону. Вот почему инспектор не видел в ней серьезной идеологической опасности, хотя и следил за основными из ее первоначальных авторов.

А в Дидро он такую опасность видел, и не из-за энциклопедизма (понятие, которое ни разу не возникает в рапортах), а потому, что философ способствовал распространившемуся по всему Парижу духу свободомыслия. Д'Эмри особо отмечает, что, как докладывают агенты, Дидро насмехался над причастием: «Он сказал, что перед концом жизни исповедуется и воспримет [в виде причастия. — *Р. Д.*] то, что называют Господом, но не по обязанности, а лишь ради своей семьи, чтобы ее не попрекали тем, что он умер нехристем». Д'Эмри огорчало такое отношение, тем более что оно было характерно и для многих других писателей. К именам некоторых из них он присовокупляет эпитет *libertin* (вольнодумный): это, в частности, Л.-Ж.-К. Сулас д'Алленваль, Луи-Матье Бертен де Фрато и Луи-Никола Гёру. В эту категорию входят у д'Эмри популяризаторы науки, например Пьер Эстев, написавший материалистический трактат о происхождении Вселенной; исто-

рики, в том числе Франсуа Тюрбен, который превратил историю Франции в обвинительный акт церкви; а также целая когорта нечестивых поэтов, причем не только знаменитых «вольнодумцев» вроде Вольтера и Пирона, но и таких никому не известных стихотворцев, как Л.-Ф. Делиль де ла Древетьер, Ж.-Б. Ла Кост, аббаты Озанн и Лоржери, а также конторский служащий Оливье. Д'Эмри было известно, какие рукописи эти господа хранят у себя в портфелях и над чем работают в настоящее время: Лоржери только что закончил «эпистолу против церкви», а Делиль сочинял «поэму с нападками на религию». Поскольку д'Эмри докладывали о разговорах в салонах и кафе, он знал, что граф де Майбуа читал на званом обеде непристойные стихи об Иисусе Христе и Иоанне Крестителе, что аббат Меэган в открытую проповедовал деизм, а Сезар Шено Дю Марсе был убежденным атеистом. Надзор за верой составлял важную часть полицейского инспектирования, а для д'Эмри эта работа, видимо, превращалась в определение того, насколько высоко взметнулась волна неверия.

Как происходил такой надзор и почему он был важен, может быть продемонстрировано на последнем примере — Жака ле Блана, скромного аббата, сочинявшего в своей версальской келье трактаты антирелигиозного характера. Завершив труд под названием «Могила предрассудков, на которых зиждутся основные религиозные догматы», ле Блан принялся за поиски издателя. Ему попался некто Валантен, утверждавший, что хорошо знаком с издательским делом в Париже, и предложивший выступить в качестве посредника. Но, прочитав краткое изложение рукописи, Валантен сообразил, что ему будет выгоднее донести на ле Блана архиепископу Парижскому и получить за это вознаграждение. Архиепископ послал его в полицию с указанием завлечь аббата в ловушку и поймать его *en flagrant délit* (на месте преступления). Д'Эмри с Валантеном придумали назначить ле Блану свидание в таверне на улице Пуассоньер. Валантен велел ле Блану явиться в чужом платье, чтобы его не узнали, и принести рукопись, поскольку ее жаждут купить два книгопродавца. Аббат сменил привычное облачение на потрепанную черную пару да еще надел старый парик. Он прибыл на свидание в назначенный час,

торый автор посвятил г-ну Туссену»). Де Прад и Ивон избежали той же участи лишь потому, что тайком покинули Францию, не утратив при этом связей с бывшими коллегами. По словам д'Эмри, Ивон продолжал писать для «Энциклопедии» из своего убежища в Голландии, тогда как Пестре вычитывал гранки памфлета в защиту де Прада, благополучно обосновавшегося в Пруссии, при дворе Фридриха II.

Сочетание аббатов-еретиков с мансардными атеистами вызывало подозрения к «Энциклопедии», однако д'Эмри — в отличие от более поздних комментаторов типа аббата Баррюэля — не обнаружил за ней заговора. Он явно не прилагал особых усилий, чтобы найти хотя бы большинство авторов. В его донесениях упоминается лишь 22 из них — менее 10% тех, кто написал хотя бы одну статью до 1765 года, когда вышли из печати ее заключительные тома. В 1748—1753 годах этот труд еще не стал проклятием для властей и символом Просвещения для читающей публики. «Энциклопедия» продолжала быть законным предприятием, пользовалась покровительством одного из начальников д'Эмри, директора книжной торговли Ламуаньона де Мальзерба, и была посвящена министру обороны, графу д'Аржансону. Вот почему инспектор не видел в ней серьезной идеологической опасности, хотя и следил за основными из ее первоначальных авторов.

А в Дидро он такую опасность видел, и не из-за энциклопедизма (понятие, которое ни разу не возникает в рапортах), а потому, что философ способствовал распространившемуся по всему Парижу духу свободомыслия. Д'Эмри особо отмечает, что, как докладывают агенты, Дидро насмехался над причастием: «Он сказал, что перед концом жизни исповедуется и воспримет [в виде причастия. — *Р. Д.*] то, что называют Господом, но не по обязанности, а лишь ради своей семьи, чтобы ее не попрекали тем, что он умер нехристем». Д'Эмри огорчало такое отношение, тем более что оно было характерно и для многих других писателей. К именам некоторых из них он присовокупляет эпитет *libertin* (вольнодумный): это, в частности, Л.-Ж.-К. Сулас д'Алленваль, Луи-Матье Бертен де Фрато и Луи-Никола Геру. В эту категорию входят у д'Эмри популяризаторы науки, например Пьер Эстев, написавший материалистический трактат о происхождении Вселенной; исто-

рики, в том числе Франсуа Тюрбен, который превратил историю Франции в обвинительный акт церкви; а также целая когорта нечестивых поэтов, причем не только знаменитых «вольнодумцев» вроде Вольтера и Пирона, но и таких никому не известных стихотворцев, как Л.-Ф. Делиль де ла Древетьер, Ж.-Б. Ла Кост, аббаты Озанн и Лоржери, а также конторский служащий Оливье. Д'Эмри было известно, какие рукописи эти господа хранят у себя в портфелях и над чем работают в настоящее время: Лоржери только что закончил «эпистолу против церкви», а Делиль сочинял «поэму с нападками на религию». Поскольку д'Эмри докладывали о разговорах в салонах и кафе, он знал, что граф де Майбуа читал на званом обеде непристойные стихи об Иисусе Христе и Иоанне Крестителе, что аббат Меэган в открытую проповедовал деизм, а Сезар Шено Дю Марсе был убежденным атеистом. Надзор за верой составлял важную часть полицейского инспектирования, а для д'Эмри эта работа, видимо, превращалась в определение того, насколько высоко взметнулась волна неверия.

Как происходил такой надзор и почему он был важен, может быть продемонстрировано на последнем примере — Жака ле Блана, скромного аббата, сочинявшего в своей версальской келье трактаты антирелигиозного характера. Завершив труд под названием «Могила предрассудков, на которых зиждутся основные религиозные догматы», ле Блан принялся за поиски издателя. Ему попался некто Валантен, утверждавший, что хорошо знаком с издательским делом в Париже, и предложивший выступить в качестве посредника. Но, прочитав краткое изложение рукописи, Валантен сообразил, что ему будет выгоднее донести на ле Блана архиепископу Парижскому и получить за это вознаграждение. Архиепископ послал его в полицию с указанием завлечь аббата в ловушку и поймать его *en flagrant délit* (на месте преступления). Д'Эмри с Валантеном придумали назначить ле Блану свидание в таверне на улице Пуассоньер. Валантен велел ле Блану явиться в чужом платье, чтобы его не узнали, и принести рукопись, поскольку ее жаждут купить два книгопродавца. Аббат сменил привычное облачение на потрепанную черную пару да еще надел старый парик. Он прибыл на свидание в назначенный час,

всем своим видом напоминая видавшего лучшие времена разбойника с большой дороги (как не без сочувствия отмечает в рапорте д'Эмри). Валантен представил аббата книготорговцам — на самом деле переодетым полицейским. Но когда они уже собирались заключить сделку, налетел д'Эмри, сгреб манускрипт и потащил аббата в Бастилию. Из этого маскарада можно было бы сделать занятную историю, но в изложении инспектора она стала серьезной и грустной. Валантен предстает из нее мерзким авантюристом, ле Блан — введенной в заблуждение жертвой, а рукопись — произведением беззаконным и вредным. Д'Эмри пересказывает ее основные положения следующим образом: Библия — собрание бабушкиных сказок; чудеса, совершавшиеся Христом, — басни, которыми обманывают доверчивых; религии — христианство, иудаизм и ислам — ложны; а все доказательства существования Бога суть нелепости, «выдуманные из политических соображений». Инспектора особенно волновала политическая подоплека инцидента: «Завершается манускрипт словами: "Писано в городе солнца (т.е. в Версале, где аббат жил во время сочинения трактата), в гареме ханжей", под которым подразумевается его монастырь».

Д'Эмри не отделял нечестивость от политики. Хотя богословские споры были ему неинтересны, он считал, что атеизм подрывает авторитет королевской власти. Иными словами, «вольнодумцы» представляли не меньшую опасность, чем «пасквилянты», а потому полиции надлежало узнавать ее в обеих ипостасях — и когда наносились удары ниже пояса в виде личных оскорблений, и когда угроза заключалась в духе, исходившем из мансард «философов».

* * *

Неудивительно, что Дидро предстает в полицейских рапортах воплощением такой угрозы: «Очень умный мальчик, но невероятно опасный». Если сравнить сведения о нем с донесениями на остальных пятьсот литераторов, выявляется определенная закономерность. Как и многие другие, он относился к мужскому полу, среднему возрасту и происходил из семьи образованных ремесленников небольшого городка под Парижем. Жену Дидро тоже взял скромного происхождения,

а еще он три месяца просидел в темнице Венсеннского замка и долго бедствовал, пробавляясь случайными заработками. Разумеется, в рапортах д'Эмри можно проследить и другие закономерности, другие судьбы. Ни одной социологической формуле не под силу охватить их все, поскольку литературная республика была расплывчата, не имела четко отграниченного пространства, а у писателей не было собственного профессионального лица и они оставались раскиданы по всем слоям общества. Тем не менее своим описанием Дидро инспектор выделил критический элемент предреволюционной Франции, элемент, который требовал особо пристального наблюдения со стороны полиции. Изучая то, как полиция надзирала за Дидро и ему подобными, мы видим интеллектуала, образ которого приобретал все более явственные очертания и становился все более влиятельной силой во Франции раннего Нового времени [15].

ПРИЛОЖЕНИЕ: Три «истории»

Три нижеследующих рапорта свидетельствуют о том, как жили представители низших слоев литературной республики и как полиция осуществляла надзор за ними. Из них предстает среда, изображенная Дидро в «Племяннике Рамо», среда, в которой он обитал в период работы над «Энциклопедией». Кроме того, они иллюстрируют способ работы самого д'Эмри: как он распределял сведения из досье по шести графам и делал новые записи по мере поступления дополнительного материала.

I. ДЕНИ ДИДРО

ФАМИЛИЯ: Дидро, писатель. 1 января 1748 года.
ВОЗРАСТ: 36.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Лангр.
ПРИМЕТЫ: Среднего роста, весьма приличная физиономия.

АДРЕС: Плас де л'Эстрапад, в доме обивщика.

ИСТОРИЯ:

Сын ножовщика из Лангра.

Очень умный парень, но невероятно опасный.

Автор «Философских мыслей», «Нескромных сокровищ» и прочих сочинений подобного рода.

Он также написал труд «Прогулка скептика», который держит дома в рукописи и обещал не публиковать.

Работает над «Энциклопедическим словарем» совместно с Туссеном и Эду.

9 июня 1749 года. Сделал книгу под названием «Письмо о слепых в назидание зрячим».

24 июля. По сему поводу арестован и заточен в Венсеннский замок.

Женат, однако некоторое время имел в любовницах мадам де Пюизье.

[На дополнительном листе написано:]

1749 год.

Автор трудов с антирелигиозной и антиморальной направленностью.

Дени Дидро, уроженец Лангра, писатель, проживает в Париже.

Заключен в темницу Венсеннского замка 24 июля 1749 года; указом от 21 августа выпущен из темницы, но содержится в замке под арестом.

Освобожден 3 ноября сего года.

Тюремное заключение было вызвано трудом под названием:

«Письмо о слепых в назидание зрячим»... [среди сочинений также] «Нескромные сокровища», «Философские мысли», «Нравы», «Прогулка скептика, или Аллеи», «Белая птица, небылица в лицах» и пр.

Это молодой человек, который изображает остроумца и гордится своей нечестивостью; очень опасен; с пренебрежением отзывается о святых таинствах.

Сказал, что перед концом жизни исповедуется и воспримет [в виде причастия. — *Р. Д.*] то, что называют Господом, но не

по обязанности, а лишь ради своей семьи, чтобы ее не попрекали тем, что он умер нехристем.

Агент Де Рошбрюн

Д'Эмри, *exempte de robe courte* (жандарм судебной полиции)

II. АББАТ КЛОД-ФРАНСУА ЛАМБЕР

ФАМИЛИЯ: Ламбер (аббат), священник, писатель. 1 декабря 1751 года.

ВОЗРАСТ: 50.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Доль.

ПРИМЕТЫ: Маленького роста, неуклюжий, похож на сатира, весьма прыщавый.

АДРЕС: Рю де ла Веррери [Стекольная улица], у жены красильщика, в четвертом этаже.

ИСТОРИЯ:

Шестнадцать-семнадцать лет пробыл иезуитом. Крайне скверный субъект, распутник и пьяница.

В 1746 году жил с дочерью некоего Антуана, служащего окружного комиссариата. Выдал ее за свою жену и под именем Карре поселился с ней в меблированных комнатах вдовы Байи, где она разродилась мальчиком. Потом они съехали с квартиры, не оплатив счет в 850 ливров. Спустя семь лет* вдова Байи отыскала его новый адрес и подала на него жалобу генерал-лейтенанту полиции. Тогда ему пришлось принять меры к тому, чтобы выплатить ей эту сумму в течение двух лет.

Женщина с маленьким сыном теперь живет у Ламбера, называя себя его домоправительницей.

В 1744 году опубликовал трехтомное сочинение под названием «Письма голландского вельможи», в котором рассуждает об интересах правителей в последней войне. Он написал это произведение по просьбе графа д'Аржансона, который добился ему вознаграждения за сей труд. С тех пор книготорговец Про-сын издал его пятнадцатитомный «Сборник наблюдений», в одну двенадцатую листа. Это очень плохая

* Трудно сказать, объясняется ли такое несовпадение дат — 1746 г. плюс семь лет не дает 1751 г. — ошибкой в английском тексте или так было у д'Эмри.

компиляция из разных авторов, со множеством ошибок и отвратительно написанная. Затем он какое-то время пробыл в Швейцарии, среди приближенных маркиза де Польми. По возвращении опубликовал скверный роман «История княгини Таивен, мексиканской королевы», вышедший как перевод с испанского некоего Гильена. И, наконец, он только что издал трехтомную «Литературную историю правления Людовика XIV», ин-кварто, за собственный счет, поскольку ни один книгопродавец не пожелал взять ее. Необходимыми средствами для этого предприятия аббата снабдил придворный архитектор Мансар. Весьма сомнительно, чтобы он вернул свои деньги (12 тысяч ливров), так как из тиража в тысячу двести экземпляров продано всего сто. Хороши там только вставки о творчестве различных писателей, и то потому, что написаны не аббатом Ламбером, а самими литераторами.

В награду за сей труд Ламбер получил пенсион в 600 ливров, который выхлопотал для него д'Аржансон. Похоже, этот министр более ценит его как шпиона, нежели как сочинителя.

III. ЛУИ-ШАРЛЬ ФУЖЕРЕ ДЕ МОНБРОН

ФАМИЛИЯ: Монброн (Фужере де), писатель. 1 января 1748 года.

ВОЗРАСТ: 40.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Перонна.

ПРИМЕТЫ: Высокий, хорошего телосложения, смуглый, жесткое выражение лица.

АДРЕС: Рю дю Шантр, в пансионе...

ИСТОРИЯ:

Наглый тип, сын пероннского почтмейстера. Имеет брата, который служит в налоговой конторе.

Был стражником, а затем камердинером Его Величества, но вынужден был уйти с должности из-за скверного характера. Впоследствии побывал в свите посланников при нескольких иноземных дворах и лишь недавно вернулся во Францию. Умный малый, является автором «Генриады наизнанку»*, а

* В названии романа содержится явный намек на поэму Вольтера «Генриада» (1728).

также эссе о чувственных удовольствиях (брошюра под названием «Канапе») и перевода «Путешествия адмирала Бинка».

7 ноября 1748 года. Подвергся аресту за плохой роман под заглавием «Косынка, или Болтушка Марго, или Лесбиянка из оперного театра», рукопись которого была изъята у него дома при задержании.

5 декабря. Сослан за пятьдесят льє от Парижа на основании королевского указа от 1 декабря.

1 июня 1751 года. Недавно напечатал в Гааге сочинение на восьми-девяти листах под заглавием «Космополит, гражданин мира». Это сатира на французские власти, а в особенности на мессье Беррье и маркиза д'Аржанса. Последнего он [Монброн. — *Р. Д.*] тем более недолюбливает, что считает его причиной своей высылки из Пруссии, где проживал ранее.

Четыре раза в год ездит в свой родной город Перонну, чтобы собрать причитающиеся ему в виде ренты 3 тысячи ливров. Монброна там сильно боятся. Его дядюшка — каноник и потому приходит в бешенство от нечестивых речей племянника. В каждую поездку тот обычно гостит на родине неделю.

ГЛАВА 5

ФИЛОСОФЫ ПОДСТРИГАЮТ ДРЕВО ЗНАНИЯ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

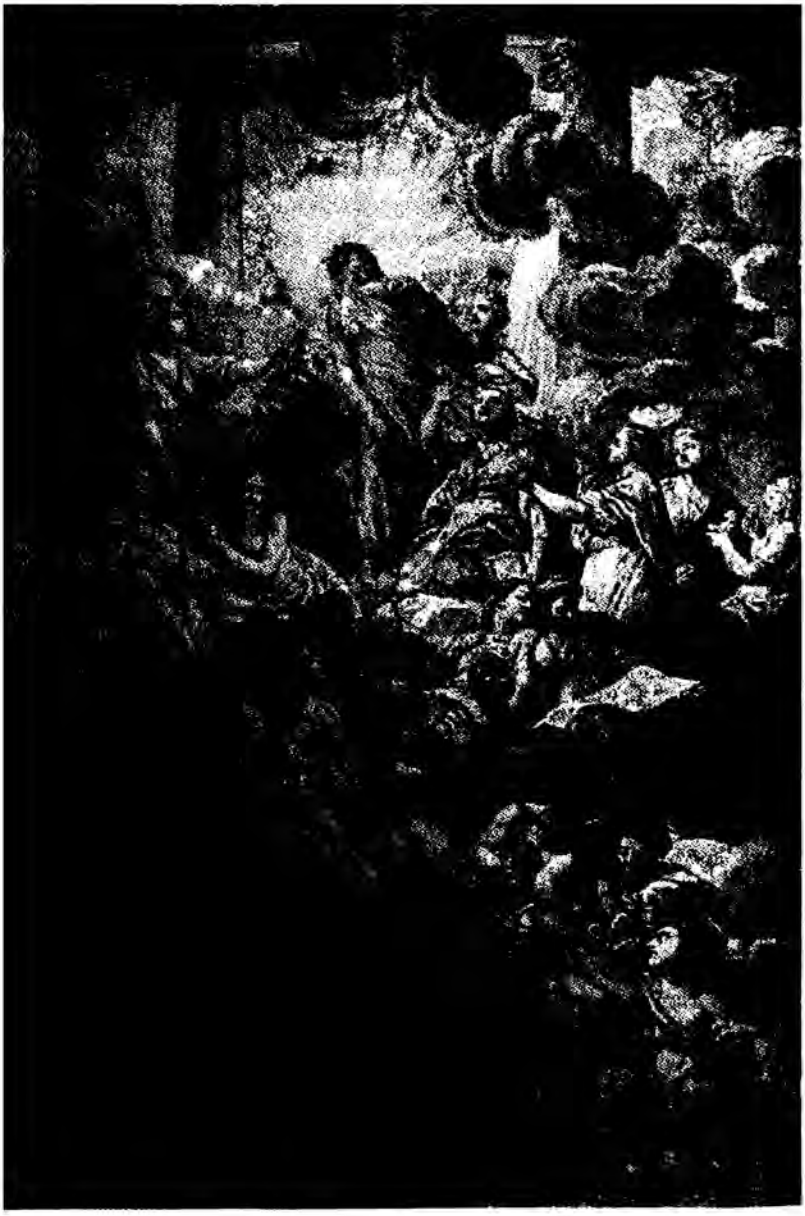
ПОТРЕБНОСТЬ РАЗБИРАТЬ и классифицировать явления выходила далеко за рамки полицейских досье, составители которых старались не упускать из виду людей, подобных Дидро: эта потребность стала движущей силой величайшего детища Дидро, «Энциклопедии». Вместе с тем на письме она приобретала облик, могущий ускользнуть от внимания современного читателя. По правде говоря, основной текст Просвещения может сильно разочаровать того, кто обращается к нему с намерением обнаружить исторические корни современных взглядов. На каждую реплику, подрубающую традиционные устои, там приходятся тысячи слов о помоле зерна, изготовлении булавок и спряжении глаголов. Семнадцать томов in folio содержат такую уйму сведений буквально обо всем, от A до Z, что невольно задаешься вопросом: почему «Энциклопедия» подняла в XVIII столетии такую бурю? Что отличало ее от предшествовавших ученых компендиумов – скажем, от внушительного *Dictionnaire de Trévoux* («Словаря Треву») или куда более объемистого *Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste* («Большого полного универсального лексикона всех наук и искусств»), опубликованного Иоганном Генрихом Цедлером в шестидесяти четырех томах in folio. Была ли она, по выражению одного из авто-

ритетов, «справочной работой или *machine de guerre*» (осадной машиной)?'

Можно, конечно, ответить, что она была и тем и другим, и отмести проблему как *question mal posée* (плохо сформулированный вопрос), но соотношение между информацией и идеологией в «Энциклопедии» поднимает некоторые общие вопросы относительно связи между знанием и всевластием. Обратимся, скажем, к ученой книге совсем иного рода, а именно придуманной Хорхе Луисом Борхесом и разбираемой Мишелем Фуко в «Словах и вещах» китайской энциклопедии. Она делит животных на*: «а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) приручепных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух»*. Значимость этой системы классификации, утверждает Фуко, состоит именно в невозможности ее осмысления. Ставя нас перед невообразимым набором категорий, она вскрывает произвольность нашей классификации вещей. Мы упорядочиваем мир в соответствии с категориями, которые принимаем как должное только потому, что они нам даны. Они занимают предшествующее мысли эпистемологическое пространство и в силу этого обладают необычайной стойкостью. Сталкиваясь с таким чуждым нам способом организующего опыта, мы, однако же, осознаем хрупкость наших собственных категорий, и все грозит разлететься в прах. Вещи держатся только тем, что их можно вставить в не подвергаемую сомнению схему. Мы не задумываясь объединяем китайского мопса и датского дога понятием «собаки», хотя с виду мопс скорее похож на кошку, а дог на пони. Если бы мы стали размышлять над определением «псовости» или над другими классифицирующими нашу жизнь категориями, до самой жизни у нас бы просто не дошли руки.

---

* Рассказ Борхеса называется «Аналитический язык Джона Уилкинса» (перевод Е. Лысенко). Цит. по: *Борхес Х.Л.* Проза разных лет. М.: Радуга, 1989. С. 218. Соответствующее место в русском издании книги Фуко переведено иначе – вероятно, с французского.



[Святилище Истины, аллегория искусств и наук]
Фронтиспис в кн.: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des mètiers. — T. 1. — Paris, 1751

Следовательно, раскладывание по полочкам есть проявление всевластия. Предмет, отнесенный к *trivium** вместо *quadrivium*** или к «гуманитарным» наукам вместо «естественных», может завянуть на корню. Книга, поставленная не на место, может затеряться навсегда. Враг, объявленный недочеловеком, может быть уничтожен. Любое общественное действие протекает в границах классификационных схем, будь то явных (вроде библиотечных каталогов, уставов организаций и кафедр университетов) или неявных. Жизнь животных полностью соответствует системе координат бессознательной онтологии. Такие монстры, как человек-слон или мальчик, воспитанный волками, ужасают и завораживают нас потому, что нарушают условные границы[3], а от некоторых созданий мороз продирает по коже из-за того, что они не вписываются ни в одну категорию: «склизкие» пресмыкающиеся, плавающие в море и ползающие по земле, «омерзительные» грызуны, живущие в домах, не будучи ручными. Желая оскорбить человека, мы скорее обзовем его крысой, чем белкой. «Белка» может быть ласковым прозвищем: в «Кукольном доме»*** Хельмер называет Нору «белочкой», а ведь белки те же грызуны, не менее опасные и разносящие не меньше болезней, чем крысы. Менее страшными они кажутся потому, что однозначно принадлежат дикой природе. Особым могуществом и оттого ритуальной значимостью обладают именно пограничные существа, ни рыба ни мясо: таковы казуары в тайных культах Новой Гвинеи и коты в ведьмином вареве на Западе. Волосы, испражнения и остриженные ногти тоже используются в колдовских снадобьях, поскольку представляют пограничные участки тела, через которые организм выплескивается в окружающий материальный мир. Все границы таят в себе опасность. С их нарушением рухнут наши категории и мир растворится в хаосе[4].

Итак, установление и поддержание классификационных разрядов — дело серьезное. Философ, пытающийся перекроить границы мира знания, замахивается на табу. Даже если он

---

* Тривий – учебный цикл из грамматики, диалектики и риторики (*лат.*).

** Квадривий – учебный цикл из арифметики, музыки, геометрии и астрономии (*лат.*).

*** Пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828–1906).

держится в стороне от священных предметов, опасности ему не избежать, ибо знание по природе своей двусмысленно. Подобно пресмыкающимся, оно может скользнуть из одной категории в другую; к тому же у него есть зубы. Одним словом, Дидро и Даламбер пошли на огромный риск, разрушив старый порядок знания и проведя новые границы между познанным и непознанным.

* * *

Разумеется, философы со времен Аристотеля занимались переустройством мыслительного мира. Перегруппировка *trivium* и *quadrivium*, свободных и прикладных искусств, *studia humanitatis** и всех прочих областей древнего учебного плана была излюбленной игрой схематизаторов и синтезаторов как в средние века, так и в эпоху Возрождения. Споры о «методе» и «плане» упорядочения знаний всколыхнули в XVI веке всю пишущую братию. Из этого родилась тенденция спрессовывать знание в схемы — обычно типографские рисунки, иллюстрировавшие ответвления и бифуркации различных дисциплин в соответствии с принципами Рамусовой логики. Таким образом, страсть к схематизации — тенденция картографировать, вычерчивать, ориентировать в пространстве сегменты познания — лежит в основе склонности к энциклопедизму, протянувшейся от Рамуса до Бэкона, Алстеда, Коменского, Лейбница, Чэмберса, Дидро и Даламбера[5]. Но схема, которой открывается «Энциклопедия» Дидро (знаменитое древо знания, восходящее к Бэкону и Чэмберсу), представляла собой нечто новое и оригинальное. Вместо того чтобы тасовать научные дисциплины в рамках установленной парадигмы, она замахивалась на отделение познаваемого от непознаваемого, исключая из мира учености бóльшую часть того, что считалось священным. Следя за изощренными попытками *philosophes* постричь доставшееся им от предшественников древо знания, можно яснее представить себе, как много было поставлено на кон в просвещенческой версии энциклопедизма.

Дидро и Даламбер, назвав свой труд энциклопедией, или систематическим повествованием о «порядке и взаимосвязи

---

* Гуманитарных наук (*лат.*).

человеческих знаний»[6], а не просто очередным словарем или собранием сведений, безыскусно расположенных в алфавитном порядке, привлекли читательское внимание к тому обстоятельству, что «философы» заняты чем-то более важным, нежели рамистское бумагомарание. Слово «энциклопедия», разъяснял в «Проспекте»* Дидро, произошло от греческого обозначения круга, символизировавшего «взаимосвязь [*enchaînement*] наук»[7]. Оно олицетворяло мир знания, который путешественники-энциклопедисты наносили на карту. Слово *mappemonde* (карта мира) было ключевой метафорой в их описании собственной работы. Еще более важной была метафора древа, передававшая мысль о том, что знание, несмотря на разнообразие его ветвей, выросло в органическое целое. В решительные моменты Дидро и Даламбер сливали воедино обе эти метафоры. Так, объясняя различие между энциклопедией и словарем, Даламбер описывал «Энциклопедию» как

> «своего рода карту земных полушарий, которая должна показать главные стороны, их положение и взаимную зависимость и дорогу, разделяющую их, в виде прямой линии; дорогу, часто прерывающуюся тысячью препятствий, которые могут быть в каждой стране известны только местному населению или путешественникам и которые могли бы быть указаны только на специальных, очень подробных картах. Этими специальными картами и будут различные статьи «Энциклопедии», а древо или наглядная система – картой земного шара»**[8].

Смешение метафор внушало мысль о непривычном объединении категорий. Сама попытка навязать миру новый порядок заставила энциклопедистов задуматься о произвольности любого упорядочения. Что один философ соединил, другой всегда мог разъединить, так что закрепленная «Энциклопедией» классификация знаний могла оказаться не долговечнее той, что предложил в своей «Сумме теологии» Фома Аквинский. Что-то вроде эпистемологического *Angst**** сквозит в

---

* Все цитаты из «Проспекта» приводятся по изданию: Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994 (перевод В.И. Пикова).

** Здесь и далее «Предварительное рассуждение» цитируется по: Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера / Пер. Н.А. Шапиро (за исключением немногих мест, выпущенных в этом издании).

*** Страха (*нем.*).

языке «Проспекта» даже тогда, когда там высказываются самые наступательные претензии на объявление всех прочих синтезов устаревшими:

> «Это древо человеческого знания может быть составлено многими способами, соотнесением наших различных знаний либо с различными способностями нашей души, либо отнесением их к вещам, которые служат для них объектами. Но тем больше будет здесь путаницы, чем больше произвола. А как ей не быть? Природа преподносит нам лишь отдельные бесчисленные вещи, не имеющие между собою твердых и определенных границ. В ней все следует одно за другим, так что переход от одного к другому совершается через незаметные оттенки. И если в этом море предметов, окружающих нас, выступают некоторые, подобно вершинам скал, как бы пронизывая его поверхность и господствуя над другими, то они обязаны этим преимуществом только мнениям отдельных лиц, шатким условностям, некоторым явлениям, чуждым физическому порядку вещей и истинным установлениям философии»[9].

Если энциклопедическое древо было лишь одним из бесчисленного количества возможных, если ни одной карте не было дано закрепить неопределенную топографию знания, как могли Дидро и Даламбер надеяться заложить «истинные установления философии»? В основном они уповали на то, что им удастся ограничить область познаваемого и установить какую-нибудь непритязательную разновидность истины. Истинная философия учила скромности, демонстрируя, что мы не знаем ничего сверх того, что дается нам в ощущениях и размышлениях. Локк довершил начатое Бэконом, а Бэкон начал со схематического изображения древа человеческих познаний. Так Локкова разновидность Бэконова древа могла послужить образцом современной *Summa* всего, что было известно человеку.

Дидро и Даламбер могли бы выбрать в лесу символов упорядоченного знания и другие деревья. Бэкона предвосхитили Порфирий и Раймунд Луллий, а наследовал ему Гоббс, не говоря уже о том, что вполне разветвленное древо приводится в начале «Циклопедии» Эфраима Чэмберса, ставшей для Дидро и Даламбера основным источником. Они не только начали свою работу с перевода труда Чэмберса, но и были обязаны ему своей концепцией энциклопедии. Дидро в «Проспекте» открыто признал эту зависимость:

«Вместе с английским автором мы сознавали, что первый шаг, который нам предстояло сделать к обдуманной и хорошо осознаваемой задаче издания энциклопедии, – это составить генеалогическое древо всех наук и всех искусств, которое показывало бы происхождение каждой отрасли наших знаний, их взаимную связь на общем стволе и позволяло бы нам припоминать различные статьи по их названиям»[10].

Сам Чэмберс подчеркивал преимущества систематической подачи знаний по сравнению с неупорядоченной массой информации:

«Трудность состоит в форме и системе, в том, чтобы расположить множество материалов в виде единого целого, а не беспорядочной груды ничем не связанных частей... Прежние лексикографы в своих работах и не пытались выработать что-то напоминающее систему. Они, похоже, и не догадывались, что словарь в некоторой степени способен обеспечить непрерывность повествования»[11].

Короче говоря, Чэмберс выделил себя из числа предшественников тем, что отстаивал взгляд на знание как на единое целое. Он собирался составить не просто «словарь», расположенный в алфавитном порядке, от A до Z, но «циклопедию», которая охватила бы весь круг знаний.

Подобно Бэкону, Чэмберс представлял разделы знания в виде ветвей дерева, которые он производил от трех основных свойств сознания: памяти, источника исторического знания; воображения, источника поэзии; и разума, источника философии. Однако эти свойства испарились, когда он изобразил древо в виде схемы. На схеме было просто показано, как знание разветвлялось, пока на нем не появилась роскошная листва из сорока семи искусств и наук. Теология, скажем, выросла из ствола, т.е. «знания», следующим образом[12]:

Могло ли такое представление о теологии завоевать признание энциклопедистов? Ведь если оно и не делало из нее царицу наук, то венчало теологией ряд разветвлений, схематически изображенных в старомодной рамистской манере. Кроме того, оно отводило теологии больше статей, чем любому другому предмету, что становилось ясно читателю из отсылок, которыми были снабжены все отрасли знания. Разумеется, вольнодумец, подобный Дидро, мог бы приветствовать систему, вроде бы выводившую теологию из рациональной и «естественно-научной» отраслей. Однако же ветвь, обозначенная как «рациональная», разделялась на четыре подветви, что сообщало равное достоинство тем наукам, которые ему хотелось преуменьшить, — метафизике и религии, и тем, которые ему хотелось возвысить, — математике и физике. Более того, у Чэмберсова древа не было отдельной ветви для философии как таковой. Священное и мирское проходили через все ответвления вместе, и в этом общем смешении был утерян жизненно важный бэконовский постулат: искусства и науки, казалось, вырастали друг из друга, а не из деятельности сознания. Дидро и Даламбер хотели укоренить знание в эпистемологии, поэтому они оставили свой первоначальный источник, Чэмберса, и вернулись к Бэкону.

Чтобы вернуться к Бэкону, нужно было перепрыгнуть через Локка. Как отметил в «Предварительном рассуждении» к «Энциклопедии» Даламбер, Бэкон продолжал пользоваться языком схоластики, он по-прежнему на ощупь продирался к свету из средневековой тьмы[13]. Тем не менее многое в мышлении Бэкона — упор на индукцию, различение восприятия и рефлексии, переход от метафизических систем непосредственно к миру чувственного восприятия — было родственно эмпиризму, появившемуся позже, с Локком. Бэконово древо познаний, в отличие от Чэмберсова, и в самом деле предполагало, что искусства и науки выросли из свойств сознания. Тем самым Бэкон предоставил в распоряжение Дидро и Даламбера необходимую им модель, которой они следовали столь ревностно, что заслужили упрек в плагиате[14]. Тем не менее, как они неоднократно подчеркивали в «Проспекте» и в «Предварительном рассуждении», в некоторых существенных случаях они от нее отклонились. Они разработали для

собственных нужд *mappemonde*, подобно тому как Бэкон в своих интересах создал «маленький глобус интеллектуального мира»[15]. Наложив их карту на Бэконову, можно увидеть в топографии знания сдвиги, которые дают нам ключ к пониманию стратегии, лежащей в основе «Энциклопедии».

Подобно Бэкону, Дидро и Даламбер начинали с истории, отрасли знания, берущей начало в памяти, и, подобно ему, они делили ее на четыре подветви: церковную, гражданскую, естественную и историю наук и искусств (см. приложение в конце главы), но пропорции их схемы разительно отличались от пропорций схемы бэконовской. Для них церковная история была незначительной отраслью, от которой они отделывались одной фразой внутри «Предварительного рассуждения» и которую вовсе не упоминали в комментарии к приведенному в конце Бэконову древу. Для Бэкона церковная история подразделялась на множество рубрик, включая историю Провидения, демонстрировавшую «в целях укрепления верующих и посрамления тех, кто живет в этом мире, забыв о боге», как рука Божия обнаруживает себя в людских делах[16]. Место естественной истории на двух древах прямо противоположно. Бэкон считал ее несовершенной отраслью, «еще ждущей своей разработки», особенно в области прикладных наук[17]. Последние занимали обширную часть энциклопедического древа и составляли наиболее подробную и оригинальную часть самой «Энциклопедии». Дидро и Даламбер не искали в мире следов руки Божьей, а скорее наблюдали труд людей, кующих собственное счастье.

Конечно, Бэкон тоже выступал за изучение повседневного мира, но не противопоставлял его Провидению, тогда как энциклопедисты приписывали совершенствование мира исключительно влиянию себе подобных интеллектуалов. Отсюда и шла их трактовка различия между гражданской и научной историей: «История человека имеет предметом либо его действия, либо его знания, и она, следовательно, гражданская или научная, т.е. она обнимает великие нации и великих гениев, королей и ученых, завоевателей и философов»[18]. Эта формулировка отводила философам знаменательную роль. Согласно схеме, вставленной Даламбером в «Предварительное рассуждение», история проходила славный путь от фило-

софов Возрождения к философам Просвещения. Для Бэкона же история наук и искусств («подлинная всеобщая история науки» в отличие от «поэзии», или искусства воображения)[19] вовсе не отражала поступательного движения разума. Она была настолько несовершенна, что ее еще предстояло создать: «Действительно, если бы история мира оказалась лишенной этой области [истории науки. — *С. К.*], то она была бы весьма похожа на статую ослепленного Полифема, так как отсутствовало бы именно то, что как нельзя более выражает гений и талант личности»[20]. Дидро и Даламбер из той же, вывернутой наизнанку, метафоры делали совершенно иной вывод: «Науки суть продукт раздумий и природного света людей. Посему канцлер Бэкон был вправе сказать в своем замечательном труде *De dignitate et augmento scientiarum* [«О достоинстве и приумножении наук»], что история мира без истории ученых есть статуя Полифема с вырванным глазом»[21]. Там, где Бэкон видел тьму, они видели свет и упивались своей ролью распространителей Просвещения.

Искусства, берущие начало в воображении, довольно неудачно названном поэзией, выглядели на обоих деревьях практически одинаково, за исключением того, что «Энциклопедия» продолжала их ответвления до прикладных искусств, которых Бэкон не упоминал. Наибольшие расхождения обнаруживались среди наук, берущих начало в разуме, то есть в философии, последнем из трех основных делений знания. Защищая энциклопедическое древо от нападок журналиста-иезуита Гийома-Франсуа Бертье, Дидро отстаивал оригинальность своего «философского древа, самого подробного, самого важного в нашей системе, из которого у канцлера Бэкона нельзя обнаружить почти ничего»[22]. Ту же мысль относительно Бэконова древа высказывает в конце «Предварительного рассуждения» Даламбер, загадочно добавляя: «Осудить нас за это вправе философы, то есть очень небольшое число людей»[23]. Философу дидеротовского толка это было очевидно, поскольку на древе «Энциклопедии» философия была не столько ветвью, сколько стволом, из которого на дальнем суку, в окружении довольно сомнительных предметов — «предрассудков», «прорицания», «черной магии», «учения о добрых и злых духах» — произрастала «богооткровенная теология».

Энциклопедисты умели донести до читателя свою мысль уже самим размещением материала, как в случае с пресловутыми перекрестными ссылками их статей (например: «АНТРОПОФАГИЯ: см. СВЯТЫЕ ДАРЫ, ПРИЧАСТИЕ, АЛТАРЬ и т.п.»[24]). Картографирование знания породило новое измерение. Форма придавала значимости, а морфология превращалась в иронию.

Кроме того, Дидро и Даламбер могли скрывать свои мысли, делая вид, что создали свое древо по образцу Бэконова. Подобно ему, они разделили философию на три части: божественную, естественную и человеческую — и, поставив богословие на первое место, казалось, сохранили за ним звание царицы наук. На деле же они полностью разрушили Бэконову систему. Он включал в состав философии лишь языческую «естественную теологию», подчеркивая при этом ее несовершенство. Ее достаточно для осуждения безбожия, поскольку созерцание дел Божьих заставляет признать Его существование, но индуктивные рассуждения на основе наблюдаемых феноменов — аргументы в пользу обдуманного теизма — никоим образом не могут привести к познанию истинного, христианского Бога. «...Напрасно потратит свои силы тот, кто попытается подойти к небесным тайнам религии с мерками нашего разума», — предостерегал Бэкон. Соответственно он отделял религию от философии, указывая на «огромные трудности и опасности, угрожающие в результате [их смешения. — *С. К.*] как религии, так и философии, поскольку именно это обстоятельство порождает как религиозную ересь, так и пустую и ложную философию»[25].

Ничто не могло быть более далеким от рассуждений Дидро и Даламбера. Подчиняя религию философии, они ее фактически дехристианизировали. Разумеется, на словах они исповедовали правоверие, отмечая, что Бог явил Себя в «священной истории». Тем самым откровение оказывалось непреложным фактом, который можно было вызвать из памяти и, подобно всему прочему, поверить разумом: «Таким образом, отделять [как Бэкон. — *Р. Д.*] богословие от философии значило бы оторвать от ствола отпрыск, который сама природа с ним соединила»[26]. Посылка выглядела благочестивой, но вывод попахивал ересью, поскольку подчинял теологию разу-

му, описанному на локковский манер, как если бы к Богу можно было прийти, выводя из ощущений все более сложные и отвлеченные понятия. И впрямь, когда в их описании древа знания дело дошло до богословия, Дидро и Даламбер выдвинули аргумент, который мог бы исходить непосредственно из «Опыта о человеческом разуме»:

> «Естественный прогресс человеческого разума должен восходить от индивидуумов к видам, от видов к родам, от близкородственных родов к отдаленно родственным, и при каждом переходе создавать новую науку или, по меньшей мере, добавлять новую ветвь к уже существующей науке. Таково представление, встречающееся в истории и возвещаемое нам священной историей, об извечном и бесконечном разуме, и т.д.»[47]

По Бэкону, заводить индукцию столь далеко было проявлением нечестивости. Он пытался подстраховаться, помещая «божественное знание» на отдельное древо, не имевшее связи с «людским знанием» и умственными способностями. Таким образом, Бэкон фактически рассматривал два древа, одно для богооткровенной и второе для земной теологии, тогда как энциклопедисты помещали богооткровенную и земную теологии на одно и то же древо, подчиняя их разуму.

* * *

Скрытый смысл всех этих стрижек, прививок и вырываний с корнем Бэкона проявился в даламберовском «Предварительном рассуждении». Даламбер подробно комментирует древо знания в центральной части своего эссе, посвященной системным связям искусств и наук. Эту часть он поместил между обсуждением генезиса знания в индивидуальном разуме, с одной стороны, и историей его развития внутри общества — с другой. Таким образом, «Предварительное рассуждение» являет собой нечто вроде триптиха, в котором центральное панно дает морфологическую картину знания, тогда как боковые представляют эпистемологический и исторический взгляды.

Трехчастная структура «Предварительного рассуждения», впрочем, трудноразличима. Хотя эссе по праву считается одним из манифестов Просвещения, его никак нельзя назвать

образцом ясности. Подобно Бэкону, Даламбер вознамерился, совершив кругосветное путешествие и охватив весь мир знания, составить его *mappemonde*, но, пробираясь среди новых земель, возникших со времен Бэкона, сбился с пути, налетел на противоречия и увяз в бессвязности. Поскольку именно эти трудности и сделали его путешествие столь важным, стоит поподробнее проследить за его метаниями.

Даламбер отправился в плавание решительным локковским курсом. Все знание происходит от чувственного восприятия и рефлексии, объяснял он. Мышление началось с бурления чувств, а не с некоего интроспективного развертывания врожденных идей: я чувствую, следовательно, существую. От осознания себя я продвигаюсь к познанию внешних объектов, ощущению удовольствия и боли, а оттуда к понятиям морали. Даламбер выводит этику из своего рода прагматизма, после чего переходит от рассмотрения того, как в индивидууме вызревают идеи, к вопросу о том, как индивидуумы формируют общество. Этот курс привел его обратно к началу, к человеку в природном состоянии. Первобытные люди жили скорее как Гоббсовы скоты, по «варварскому праву неравенства, называемому законом более сильного»[28], чем по Локкову естественному праву, но опыт угнетения возбудил в них нравственное чувство и вынудил отстаивать свои законные права, организуясь в общества. Раз включившись в общественную жизнь, они стали доискиваться источника своей новообретенной нравственности. Происходить из физического мира она не могла, следовательно, она должна была возникнуть из некоего глубинного морального принципа, побудившего нас к размышлениям над справедливостью и несправедливостью. Мы осознаем работу двух принципов, души и тела, и в процессе этого осознания чувствуем свое несовершенство, что подразумевает уже заложенное в нас понятие совершенства. Тем самым мы в конце концов приходим к Богу.

То была странная аргументация. Разделавшись с Гоббсом и таким образом предвосхитив Руссо, Даламбер запутался с Декартом. От гипотетической истории он перешел к эпистемологической интроспекции. Даламбер утверждал, что пробуждение этической мысли вынудило человека исследовать собственную мыслящую субстанцию, или душу, которую он тут

же определил как не имеющую ничего общего с телом. Иными словами, Даламбер логически вывел Декартов дуализм и, сразу вслед за этим, — Декартова Бога: «Это рабство [тела и души. — *Р. Д.*], столь независимое от нас, в связи с размышлениями о природе этих двух начал и их несовершенств, которым мы вынуждены предаваться, возносит нас к созерцанию всемогущего разума, которому мы обязаны своим бытием и который, следовательно, требует нашего почитания »[29].

Даламбер Локковым путем пришел к картезианскому Богу. Следуя поначалу в русле Локковой аргументации о сочетании все более сложных и абстрактных идей, он круто изменил курс и пришел к высшей абстракции в манере Декарта, мгновенно перешагнув от сознания несовершенства к логически предшествующему понятию совершенства. С этой высокой онтологической основы Декарт двинулся дальше и вывел протяженный мир, придя к тому, с чего Локк начал. Даламбер, начав там же, где Локк, проследовал в противоположном направлении; таким образом, эпистемология его рвалась вперед, а метафизика назад. В самом деле, его аргументация предстает собранием не вытекающих друг из друга положений:

> «Итак, очевидно, что чисто интеллектуальные понятия порока и добродетели, начало и необходимость законов, духовная жизнь души, существование Бога и наши обязанности по отношению к Нему, — одним словом, истины, которые нам нужны прежде всего и без которых мы не можем обойтись, суть плоды первичных рассудочных идей, обусловливаемых нашими ощущениями»[30].

Даламбер, не столь уж ортодоксальный в религиозных вопросах, отнюдь не был дураком. Почему же он втиснул в единую систему доказательств несовместимые постулаты? Довольно небрежный стиль изложения заставляет предполагать, что он задумывал «Предварительное рассуждение» не как чинный философский трактат, а как введение к энциклопедии и потому не разменивался на мелочи. Так, запросто переключившись с этической аргументации на эпистемологическую, он отметил, что идея существования души «естественным образом» вытекает из соображений морали. «Не нужно особенно глубоко изучать природу нашего тела», добавил он, чтобы

осознать дуализм тела и души[31]. С Декартовым доказательством бытия Бога Даламбер расправился в одной фразе, едва ли не мимоходом. Нарочитая спешка давала понять, что для современного философа метафизические вопросы труда не представляют или, во всяком случае, что ему нет необходимости на них задерживаться. Мальбранш и другие превратили картезианство в новую ортодоксию. Укрепляя свою репутацию доброго католика, Даламбер вторил их доводам и тут же — возможно, намеренно — выбивал из-под них почву, нанизывая их на цепочку противоречий. Как было отмечено выше, «Предварительное рассуждение» завершалось переработанным вариантом «Проспекта», рассуждавшим о Боге в духе глоссы к «Опыту о человеческом разуме». «Энциклопедия» смотрелась то сбивчиво-картезианской, то бесстрашно-локковской. Читателю оставалось лишь делать собственные выводы.

Не стоит, однако, считать, что Даламбер намеренно затуманивал свою логику противоречивыми постулатами. Аргументация трещит по швам не потому, что таково было желание автора, а потому, что он бессознательно использовал разные способы выражения. Даламбер писал в то время, когда в философском дискурсе соперничали схоластический, картезианский и Локков языки. Едва он ослаблял внимание или пытался разобраться со сложным вопросом, как тут же переключался с одного языка на другой. По правде говоря, это в определенной мере отвечало бессвязному характеру «Предварительного рассуждения». В разделе, следующем за эпистемологическим описанием знания, Даламбер высказывается против излишней стройности научных трудов. Вместо того чтобы выдвигать строго последовательный ряд предпосылок и прибегать к дедукции, настаивает он, философам следовало бы брать природу в ее естественном виде, сводить ее феномены к их основополагающим принципам и затем систематически реконструировать эти принципы. Такого рода *esprit systématique* (систематичность) строится на том, что основополагающие принципы реально существуют, но, в отличие от *esprit de système* (в русском переводе — «духа системы», точнее «педантизма». — *С. К.*), не считает их существование отправной точкой. Тем не менее следует возразить, что столь

эффектный Даламберов постулат — «вселенная для того, кто мог бы обнять ее одним взглядом, была бы, если можно так выразиться, одним-единственным фактом и одной великой истиной»[32] — относился к области веры, а не знания. Никто, и Даламбер в том числе, не поручился бы, что знание в конце концов окажется непротиворечивым.

* * *

Даламбер не стал впрямую заниматься этим вопросом, а попытался продемонстрировать взаимосвязь искусств и наук, перечислив все их отрасли и ответвления. От эпистемологической аргументации он перешел к морфологической, завершив свои рассуждения древом знания, но и тут продолжал колебаться между несовместимыми способами изложения. То он углублялся в «философскую историю»[33] искусств и наук, возвращаясь к проблеме их генезиса из первобытного состояния, то выстраивал их в соответствии с «философским порядком»[34] или логическими связями.

Даламбер начал с собственно логики, которую считал первой по значимости, хотя и не по времени открытия. При этом он заявлял о намерении рассматривать науки в соответствии с гипотетической хронологией их развития. В той же бессвязной манере продирался он сквозь грамматику, риторику, историю, хронологию, географию, политику и изящные искусства, пока не дошел до энциклопедического древа. Оно-то и позволило ему разом обозреть все, поскольку воплощало полноту знания и «в энциклопедическом», и в «генеалогическом порядке»[35], то есть сводило воедино два способа аргументации, тянувшие его в разные стороны с самого начала «Предварительного рассуждения». Здесь Даламбер последовал примеру Бэкона, чье древо доказывало, что знание, будучи порождением различных свойств разума, вырастает в единое целое, но не подводило под это сколько-нибудь аргументированную эпистемологическую базу. Если оно и предполагало какую бы то ни было эпистемологию, то скорее вызывающую ассоциации с Аристотелем или Фомой Аквинским. Даламбер и Дидро хотели обновить старую университетскую психологию. Для этого они подстригли Бэконово древо на Локков манер и тем поставили морфологию в один ряд с эпистемологией.

Еще более усилил аргументацию второй трюк, поставивший вне закона любое знание, которое нельзя было вывести из ощущения или рефлексии. Даламбер предусмотрительно оставил место для «фактов откровения»[36] под рубрикой «история», но поверил откровение разумом в важнейшем разделе знания, философии. Разумеется, то же самое сделал и Фома Аквинский, но «Сумма» последнего включала все, что могло стать предикатом силлогизма, тогда как «сумма» Дидро и Даламбера исключала все, чего нельзя было постичь разумом через чувства. На их древе, в отличие от Бэконова, «естественное богословие» (уравновешенное «религией») было на равных с «ревеляционным богословием» (уравновешенным «суеверием»), а традиционные догматы церкви повисали в воздухе. Конечно, они принадлежали истории и память могла вызвать их оттуда, но в царстве философии они были бы не более уместными, чем стоицизм или конфуцианство. На самом деле они вообще перестали относиться к знанию. Совместными усилиями морфологическая и эпистемологическая аргументации стерли ортодоксальную религию с карты, причислив ее к непознаваемому и тем исключив из современного мира знания.

* * *

Довершила дело историческая аргументация. История представлялась Даламберу триумфом цивилизации, а цивилизация — детищем ученых. В последнем разделе «Предварительного рассуждения» история сводится к деятельности великих людей, причем исключительно философов[37]. Осудив средние века и восславив Возрождение, Даламбер перешел к лучшим из лучших: Бэкону, Декарту, Ньютону и Локку.

На этом величественном полотне Бэкон был изображен провозвестником философии, первым человеком, рассеявшим тьму и ограничившим разум его прямой обязанностью — исследованием природных явлений. Да, он не сумел окончательно порвать со схоластикой. Эта задача выпала на долю Декарта, уничтожившего оковы, которые препятствовали движению философии со времен Фомы Аквинского, если не Аристотеля. Даламбер славил Декарта-скептика, а не Декарта-метафизика. Теория врожденных идей, пояснял он, была на

самом деле шагом назад, поскольку заводила разум в сферу, недоступную чувственному опыту, тогда как схоластики хотя бы восприняли «от перипатетиков единственную истину, которой они учили, о происхождении идей из чувств»[38]. Хотя в такой формулировке Фома Аквинский звучал как Локк, она обладала тем преимуществом, что подрубала корни неоортодоксии в метафизике и расчищала путь Ньютону, придавшему «философии вид, который она, кажется, должна сохранить»[39]. Даламберов Ньютон служил образцом современного философа не только потому, что открыл фундаментальный закон Солнечной системы, но и потому, что ограничил философию изучением наблюдаемых феноменов. В отличие от Декарта, пытавшегося познать все, он ограничил знание познаваемым: то был Ньютон-скромник. От этого Ньютона, героя скорее вольтеровских «Философских писем», чем Апокалипсиса, был всего один шаг до Локка и «экспериментальной физики души»[40]. Локк олицетворял крайнюю скромность и бесповоротное обуздание философии, поскольку установил окончательные границы познаваемого. Сведя все знание к ощущению и рефлексии, он, наконец, изгнал из мира учености внеземную истину.

После того как гении ввели знание в определенные рамки, их преемникам осталось только заполнить лакуны. Даламбер рассматривает ведущих ученых и философов, переходя от Галилея, Гарвея, Гюйгенса и Паскаля к Фонтенелю, Бюффону, Кондильяку, Вольтеру, Монтескье и Руссо. Когорта получилась внушительная, но Даламберу было трудно выстроить всех по ранжиру. Он предположил, что каждый мыслитель закреплялся на части территории, завоеванной Бэконом, Декартом, Ньютоном и Локком, так что история со времен Возрождения представляла собой поступательное движение разума. Но некоторые философы обогнали четверых головных (*chefs de file*), а остальные хотя и шагали в строю, но не в ногу. Паскаль вряд ли мог сойти за приверженца естественной религии, а Лейбниц — за противника педантизма. Поэтому Паскаль был представлен как физик-экспериментатор со слабостью к теологии, а Лейбниц как математик, ударившийся в метафизику. Самой большой проблемой оказался Руссо, поскольку его «Рассужде-

ние о науках и искусствах» подрывало все энциклопедическое предприятие. Даламбер обошел это затруднение, заметив, что сотрудничество Руссо с «Энциклопедией» делом опровергает его парадоксальное отрицание ценности искусств и наук. Тем самым создавалось впечатление, что вся философская братия, независимо от разногласий, двигалась в одном направлении, сметая на своем пути предрассудки и победно неся знамя просвещения, подхваченное «Энциклопедией».

Для Даламбера это была захватывающая история, хотя современному читателю она может показаться несколько прямолинейной. «Предварительное рассуждение» изобилует яростно-героическими метафорами: разбивание оков, срывание покровов, столкновение учений, штурм крепостей. Так, Декарт

> «дерзнул показать здравым умам путь к освобождению от ига схоластики, от общепризнанного мнения, от авторитета — одним словом, от предрассудков и варварства... Его можно рассматривать как вожака заговорщиков, у которого хватило мужества подняться первым против деспотичной и произвольной державы и который, подготовляя огромную революцию, положил основания более справедливого и более счастливого государственного устройства, установление которого ему не суждено было видеть»[41].

Такая трактовка истории отводит философам героическую роль. Гонимые или презираемые, они в одиночку бьются за будущие поколения — те, что даруют им признание, в котором отказывали современники. Даламбер признает существование настоящих полководцев, ведущих настоящие войны, но пишет так, как будто нет истории, кроме интеллектуальной, и философы — пророки ее.

Эта тема возникает в связке с культом философа во всей просветительской литературе середины XVIII века. Развил ее Даламбер в своем «Эссе об обществе ученых и великих», опубликованном через год после «Предварительного рассуждения». Там он вновь восславил ученого как одинокого борца за цивилизацию и обнародовал декларацию независимости ученых (*gens de lettres*) как социальной группы. Хотя временами они бывали унижены и обойдены вниманием, в заслугу им можно поставить то, что они способствовали делу Просвеще-

ния начиная с Возрождения и особенно с царствования Людовика XIV, когда тон в высшем свете задавал «философский дух»[42]. Этим взглядом на историю мы во многом обязаны Вольтеру, который в своих «Философских письмах» (1734) возвеличил ученых, а в «Веке Людовика XIV» (1751) связал с ними поступательное движение истории. Собственные статьи Вольтера в «Энциклопедии», особенно статья «Ученые», развивали ту же тему и проясняли ее скрытый смысл. История продвигалась к совершенству искусств и наук; искусства и науки совершенствовались благодаря усилиям ученых, и ученые в своем качестве философов были движущей силой этого процесса. «Пожалуй, именно философский дух создал характер ученого»[43]. Статья «Философ» била в ту же точку. Она была переработана из знаменитого одноименного трактата 1743 года, создавшего идеальный образ — ученый, преданный делу Просвещения[44]. На протяжении 50-х годов XVIII века в памфлетах, пьесах, журналах и трактатах философов превозносили или хулили как своего рода партию мирских апостолов цивилизации, противостоящих защитникам традиции и религиозной ортодоксии[45]. Многие из них писали для «Энциклопедии» — настолько многие, что слова «энциклопедист» и «философ» стали практически синонимами и как термины потеснили своих соперников (слова *savant, érudit, homme d'esprit*) на семантическом поле, которое покрывалось понятием *gens de lettres*[46]. Такому сдвигу значений способствовал в конце «Предварительного рассуждения» Даламбер, под пером которого его собратья-философы оказались сливками *gens de lettres*, наследниками Ньютона и Локка. Сама «Энциклопедия» провозглашала себя на титульном листе трудом «общества ученых», а друзья и враги, не сговариваясь, относили ее к *philosophie*[47]. Она словно ставила знак равенства между цивилизацией, учеными и философами, направляя все прогрессивные течения истории в единое русло — партию Просвещения.

Так историческая аргументация «Предварительного рассуждения» довершила труд, начатый эпистемологическими и морфологическими доводами. Она узаконила существование философов, приравняв их к *gens de lettres* и представив последних движущей силой истории. Если первая часть эссе де-

монстрировала, что нет легитимного знания вне ветвей Бэконова древа, то последняя показывала, что нет легитимных ученых вне круга философов. Во второй части древо подстригли в соответствии с требованиями сенсуалистской эпистемологии, а в первой вынесли за скобки всякое знание, лишенное эмпирической основы. Тем самым неэмпирическое знание, т.е. учение Церкви, оказалось вытеснено за границу, стражами которой были в третьей части объявлены философы.

* * *

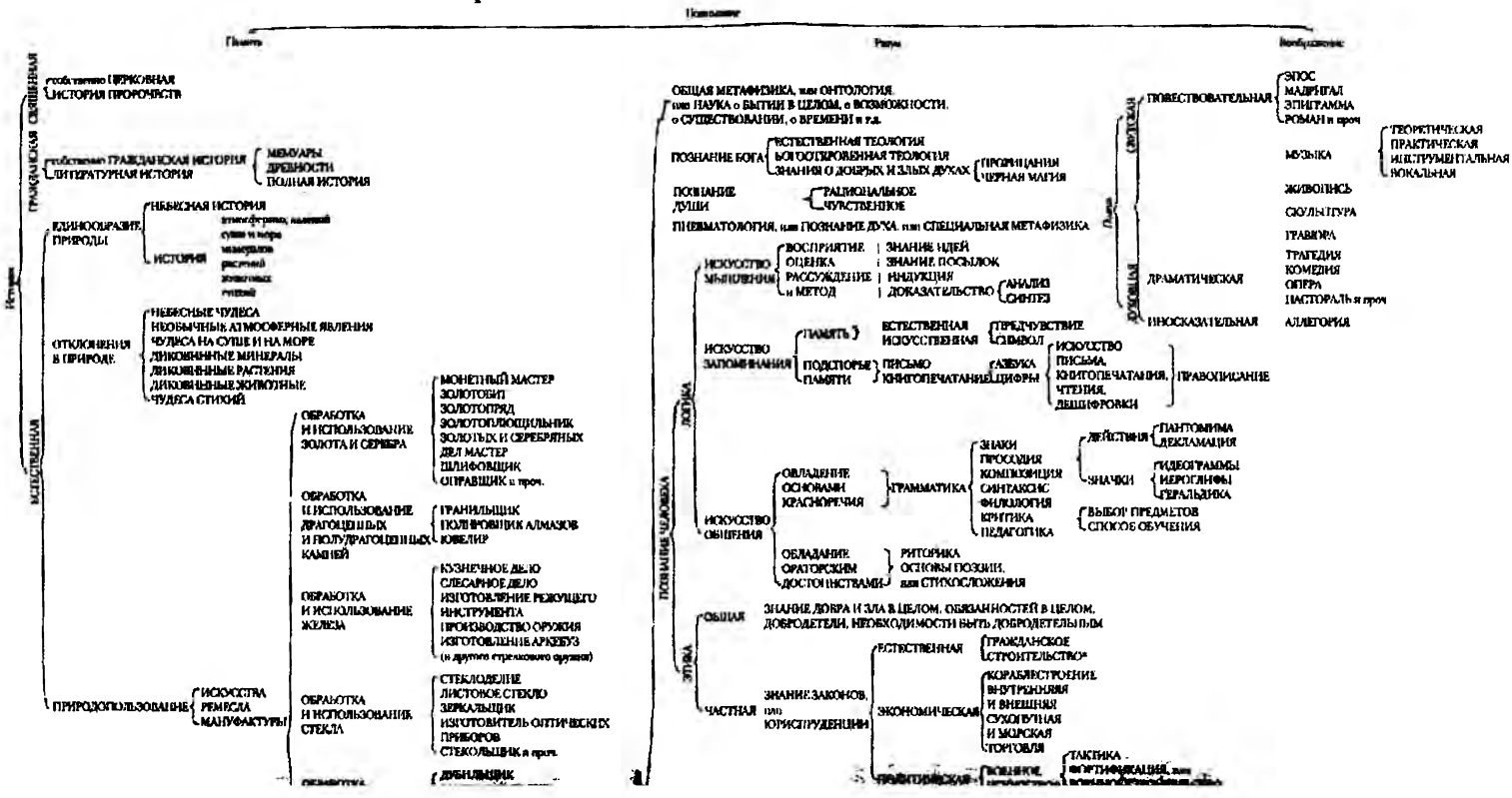
При всех натяжках, несообразностях и несогласованности между собой, разделы «Предварительного рассуждения» вели единую стратегическую линию, посредством которой удалось свергнуть с престола прежнюю царицу наук и посадить на ее место философию. Не довольствуясь ролью беспристрастного компендия информации, новая *Summa* преобразовала познание, отобрав его у духовенства и передав в руки преданных Просвещению интеллектуалов. Такая стратегия окончательно восторжествовала с секуляризацией образования и появлением в XIX веке современных научных дисциплин, но генеральное сражение было выиграно в 50-х годах XVIII века, когда энциклопедисты поняли, что знание — сила, и отправились покорять мир знания, нанося его на карту.

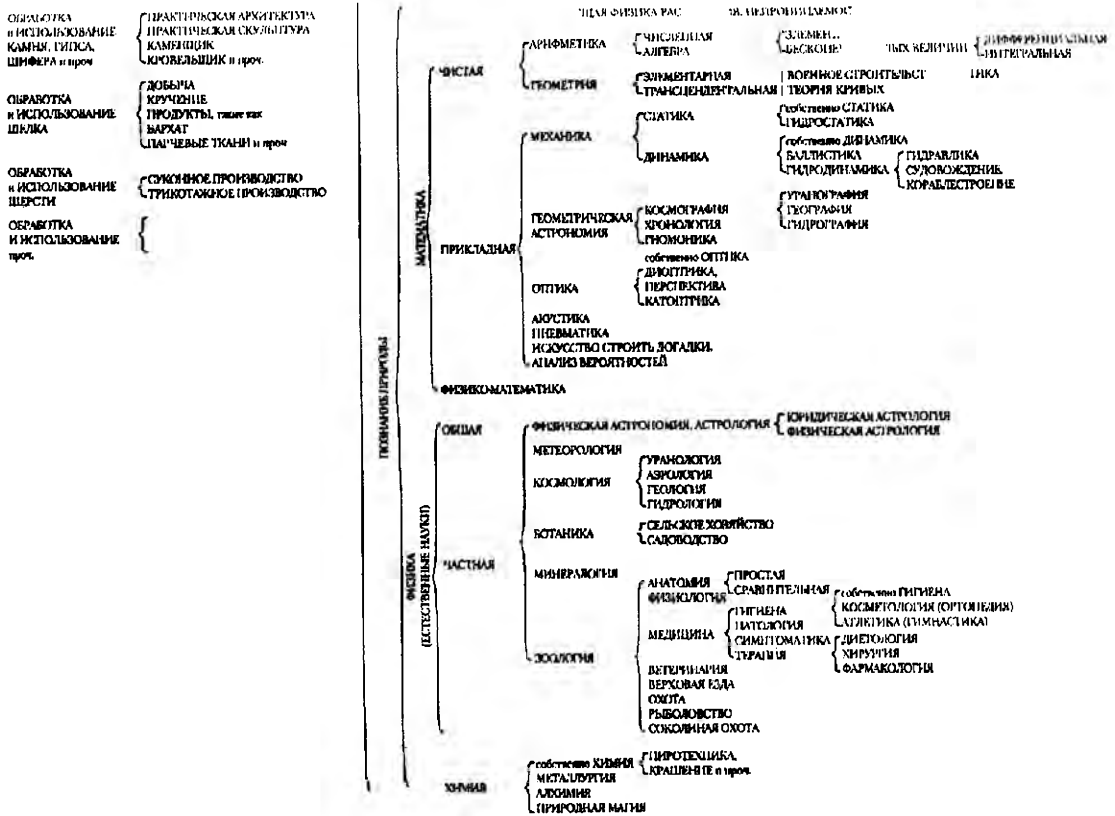
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Три древа знания

Приводимые ниже схематические изображения человеческих познаний взяты из «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, «Циклопедии» Эфраима Чэмберса и «О достоинстве и приумножении наук» Франсиса Бэкона. Первые два изображают это древо в виде схем, тогда как Бэкон изобразил его в форме рисунка, который был затем преобразован в схему.

Древо Дидро и Даламбера

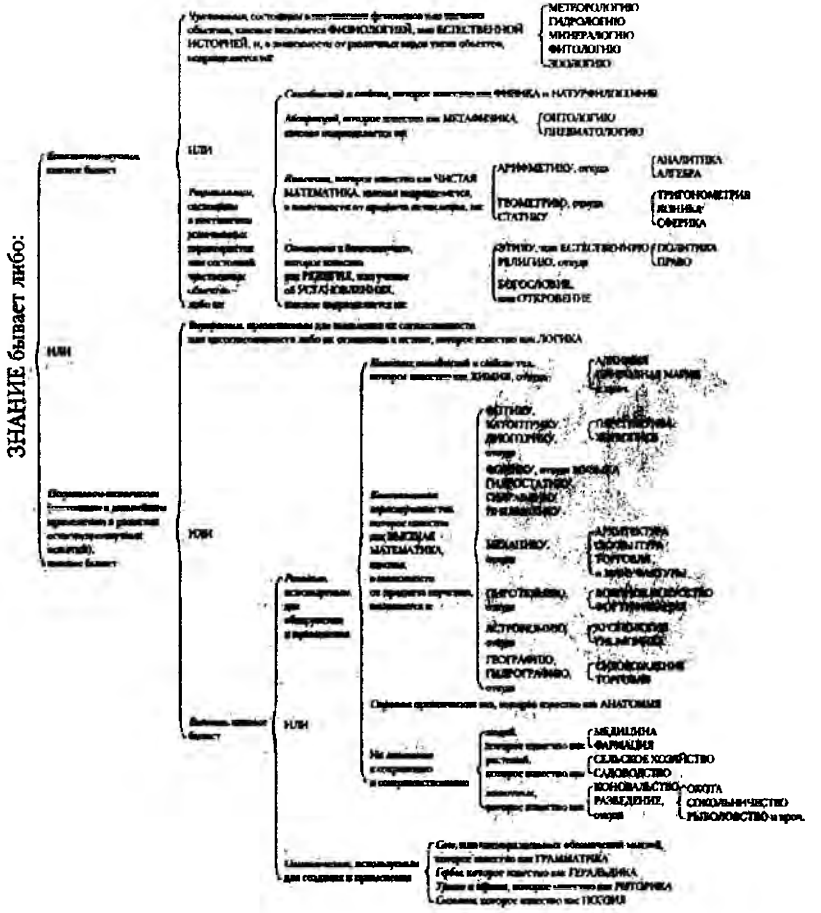
Подробная система человеческого знания




ОБРАБОТКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМНЯ, ГИПСА, ШИФЕРА и проч
ПРАКТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
ПРАКТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА
КАМЕНЩИК
КРОВЕЛЬЩИК и проч.
ОБРАБОТКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕЛКА
ДОБЫЧА
КРУЧЕНИЕ
ПРОДУКТЫ, такие как
БАРХАТ
ТКАЧЕВЫЕ ТКАНИ и проч
ОБРАБОТКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕРСТИ
СУКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРИКОТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ проч.
ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ
МАТЕМАТИКА
ЧИСТАЯ
АРИФМЕТИКА
ЧИСЛОВАЯ
АЛГЕБРА
ЭЛЕМЕН...
БЕСКОНЕЧ
ТЫХ ВЕЛИЧИН
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ
ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТ
ТИКА
ТЕОРИЯ КРИВЫХ
ПРИКЛАДНАЯ
МЕХАНИКА
СТАТИКА
собственно СТАТИКА
ГИДРОСТАТИКА
ДИНАМИКА
собственно ДИНАМИКА
БАЛЛИСТИКА
ГИДРОДИНАМИКА
ГИДРАВЛИКА
СУДОВОЖДЕНИЕ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ
КОСМОГРАФИЯ
ХРОНОЛОГИЯ
ГНОМОНИКА
УРАНОГРАФИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ГИДРОГРАФИЯ
ОПТИКА
собственно ОПТИКА
ДИОПТРИКА
ПЕРСПЕКТИВА
КАТОПТРИКА
АКУСТИКА
ПНЕВМАТИКА
ИСКУССТВО СТРОИТЬ ЛОГАРИФ
АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА (ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)
ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЯ
КОСМОЛОГИЯ
УРАНОЛОГИЯ
АЭРОЛОГИЯ
ГЕОЛОГИЯ
ГИДРОЛОГИЯ
ЧАСТНАЯ
БОТАНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
САДОВОДСТВО
МИНЕРАЛОГИЯ
ЗООЛОГИЯ
АНАТОМИЯ
ФИЗИОЛОГИЯ
ПРОСТАЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА
ГИГИЕНА
ПАТОЛОГИЯ
СИМПТОМАТИКА
ТЕРАПИЯ
собственно ГИГИЕНА
КОСМЕТОЛОГИЯ (ОРТОПЕДИЯ)
АЛЕКТИКА (ГИМНАСТИКА)
ДИЕТОЛОГИЯ
ХИРУРГИЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
ОХОТА
РЫБОЛОВСТВО
СОКОЛИНАЯ ОХОТА
ХИМИЯ
собственно ХИМИЯ
ПИРОТЕХНИКА
КРАШЕНИЕ и проч.
МЕТАЛЛУРГИЯ
АЛХИМИЯ
ПРИРОДНАЯ МАГИЯ

Два древа Бэкона

Древо Чэмберса



ГЛАВА 6

ЧИТАТЕЛИ РУССО ОТКЛИКАЮТСЯ: СОТВОРЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ОГДА ФИЛОСОФЫ отправились завоевывать мир, нанося его на карту, они знали, что успех предприятия будет зависеть от их способности внушить читателям свое видение мира. Но как можно было этого добиться? Чем на самом деле было чтение во Франции XVIII века? Чтение, даже став повседневным занятием, остается загадкой. Это переживание нам настолько привычно, что кажется вполне доступным пониманию. Более того, если бы мы и впрямь могли понять его, если бы мы осознали, как извлекаем смысл из напечатанных на листе бумаги значков, мы бы приблизились к разгадке еще более глубокой тайны — того, как люди ориентируются в мире символов, сотканном вокруг них культурой. Но и тогда мы были бы не вправе полагать, будто знаем, как читали другие, в других странах и в другие времена, ибо история или антропология чтения неизбежно поставит перед нами проблему инаковости чужого менталитета[1]. Рассмотрим в качестве примера место чтения в погребальных обрядах балийцев*.

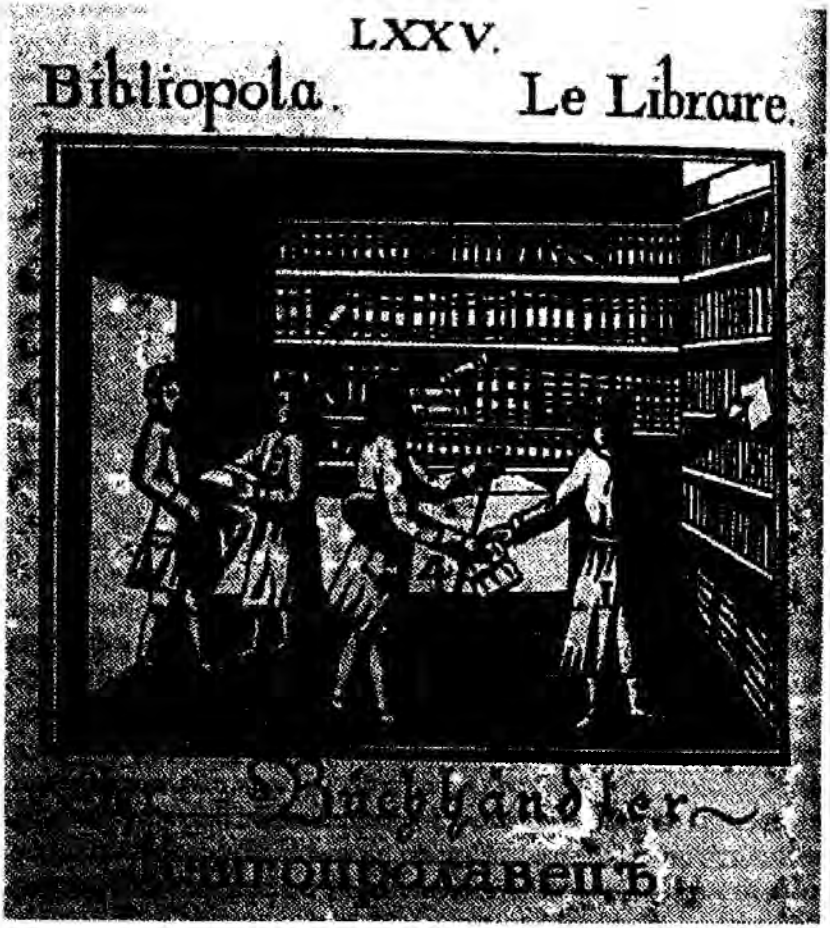
Готовя умершего к погребению, балийцы читают вслух разные истории, самые обычные истории из сборников самых известных сказок. Читают они непрерывно, двадцать

* Жителей о-ва Бали (Индонезия).

четыре часа в сутки, в течение двух или трех дней — и не для того, чтобы отвлечься, а для защиты от злых духов, охотящихся за душами умерших сразу после кончины, когда те всего уязвимее. Истории отгоняют демонов. Каждая история, как матрешка или английская живая изгородь, заключает в себе несколько себе подобных. Погрузившись в одну историю, человек одновременно погружается в другую, встречая за каждым поворотом новый сюжет, пока не достигнет сердцевины, скрытой внутри повествовательного пространства, как покойник во внутреннем дворе. Духи туда проникнуть не могут, потому что не умеют поворачивать за угол. Они беспомощно бьются лбом о построенный чтецами повествовательный лабиринт, и чтение становится крепостной стеной вокруг балийского ритуала. Эта стена слов действует по тому же принципу, что глушение радиопередач. Чтение не развлекает, не наставляет, не совершенствует нравы и не помогает скоротать время: смычкой повествования и какофонии оно защищает души[2].

Возможно, на Западе чтение никогда не было настолько экзотическим, хотя наше применение Библии — при клятвах, конфирмациях и прочих обрядах — могло бы показаться экстравагантным балийцу. Тем не менее из балийского примера явствует, насколько опасно, воссоздавая ощущение читателя прошлого, исходить из того, что чтение было для него тем же, чем для нас. История чтения, если ее в принципе возможно воссоздать, отведет неизведанному место в своей системе координат так же, как это делает человек, осмысляющий мир. Ведь чтение, в отличие от плотницкого дела или вышивания, не просто навык: это средство создания смысла внутри коммуникативной системы. Понять, как французы в XVIII веке читали книги, значит понять способ мышления по крайней мере тех из них, что умели воспринимать мысли через напечатанные на бумаге значки.

Такая задача кажется непосильной, ибо нельзя заглянуть через плечо читателей XVIII века и с пристрастием допросить их, как поступает с сегодняшним читателем современный психолог. Мы можем только выискивать в библиотеках и архивах следы их переживаний. Чаще всего это ретроспектив-



Книгопродавец. — Ил. в кн.: Коменский Я.А. Зрелище вселенныя... — Санктпетербург, 1788

ные отзывы немногих великих людей о немногих великих книгах — скажем, воспоминания Руссо о чтении Плутарха или Стендаля о чтении Руссо. В архивах Франции и Швейцарии, да и всего мира, мне известно только одно собрание, дающее возможность ознакомиться с кругом чтения обычного буржуа на протяжении двух предреволюционных десятилетий его вполне обыденной жизни в провинциальной Франции.

* * *

Я хочу представить вам это собрание со всеми мыслимыми оговорками относительно степени его репрезентативности и самой возможности обнаружить типичного француза, жившего при старом порядке. Оно хранится в архивах Типографического товарищества Невшателя (ТТН) (Société typographique de Neuchâtel — STN), одного из основных швейцарских издательств, печатавших в дореволюционный период французские книги, и относится к Жану Рансону, торговцу из Ларошели[3]. Переписку с ТТН Рансон начал в 1774 году, в возрасте двадцати семи лет. После смерти отца он унаследовал семейное дело, торговлю шелком, и жил с матерью в самом сердце протестантской общины Ларошели. Рансоны были людьми состоятельными, хотя и не такими богатыми, как некоторые семьи, сколотившие капитал на заокеанской торговле. В наследство от отца Жан получил 20 тысяч ливров. Когда в 1777 году он женился, жена принесла ему в приданое еще 10 тысяч. Вступив после ее смерти, в 1788 году, во второй брак, он обогатился на такую же сумму (8 тысяч ливров единовременно и ежегодная рента с капитала в 2 тысячи). К тому времени состояние самого Рансона, не считая приданых, составляло 66 тысяч ливров — кругленькая сумма, особенно учитывая резкий спад местной экономики в результате войны в Америке[4]. Чем больше процветало дело Рансона, тем более высокую ступень он занимал в муниципальной и церковной иерархии родного города. Он был чиновником местного монетного двора (*lieutenant de prévôt de la Monnaie*), возглавлял основанную в 1765 году его отцом протестантскую больницу. Во время революции он, как президент *Bureau de bienfaisance* (Комитета общественного призрения), отвечал за пособия

беднякам, а кроме того был членом городской управы и (после окончания террора) совета по надзору за тюрьмами.

То, что Рансон принадлежал к сливкам ларошельской торговой олигархии, явствует из его брачного контракта 1777 года. Контракт подписали семьдесят шесть свидетелей; почти все, за исключением троих, отрекомендовались негоциантами. В их числе были бывший мэр, президент торговой палаты, два бывших ее президента и цвет ларошельских торговых династий — Работо, Сеньеты, Белены, Жарнаки, Роберы и сами Рансоны. Все мужчины — родственники Рансона были обозначены в контракте как негоцианты. То же относится и к родственникам его невесты, Мадлен Работо, что неудивительно, поскольку она приходилась ему троюродной сестрой.

Хранящиеся в Невшателе письма Рансона подтверждают впечатление от документов из Ларошели. Из них видно, что он был серьезным, ответственным, трудолюбивым, богатым человеком с чувством гражданского долга — истинным провинциальным буржуа. Но прежде всего он был протестантом. Его родители, как и большинство французских адептов «т. н. реформатской веры» (*religion prétendue réformée — r.p.r.*), формально приняли католичество, дабы обеспечить своим детям гражданские права: государство не признавало существования протестантов, хотя и разрешало им с 1755 года занимать должности в Ларошели. В то же время Рансоны, желая дать сыну настоящее кальвинистское образование, отправили мальчика в невшательский *collège*, где его наставником был именитый и образованный гражданин этого города, Фредерик-Самюэль Остервальд, который несколькими годами позже, в 1769 году, основал ТТН. Французский ученик привязался к швейцарскому учителю и, вернувшись в Ларошель, начал с ним переписываться. Когда же Остервальд занялся книгоизданием, Рансон стал приобретать у него книги. Накупил он их немало, ибо читал запоем, а ТТН, которое, в дополнение к издательской деятельности, вело крупномасштабную оптовую книготорговлю, было в состоянии снабдить его практически всем чем угодно. В отличие от прочих корреспондентов ТТН, в основном книготорговцев, Рансон, заказывая книги, писал и о своих литературных интересах и семейной жизни. Его ар-

хив — сорок семь писем из пятидесяти тысяч архивных документов ТТН — стоит особняком среди коммерческой переписки именно потому, что не имеет отношения к коммерции. Он дает нам редкую возможность увидеть читателя, обсуждающего — наряду с течением жизни в тихом провинциальном уголке — свой круг чтения.

При обращении к письмам Рансона следует первым делом задаться вопросом: что он читал? Воссоздать полностью его библиотеку невозможно, поскольку у него было много книг и помимо заказанных у ТТН. Кое-что досталось ему от родителей, многое он покупал у Гийома Пави, своего излюбленного книгопродавца в Ларошели. Однако его писем в ТТН, где Рансон в течение одиннадцати лет заказал пятьдесят девять книг, достаточно для того, чтобы составить общее представление о его вкусах и читательских привычках. Заказы его можно сгруппировать следующим образом (библиографические детали см. в приложении):

I. Религия (12 названий)
  Священное Писание, молитвенные книги
    Библия
    «Псалмы Давида»
    «Краткий катехизис» Остервальда
    «Сборник молитв» Рока
    «Пища для души» Остервальда
    «Евангелическая мораль» Бертрана
    «Христианское благочестие»
  Проповеди
    «Реформатский год» Дюрана
    «Проповеди о догматах» Шайе
    «Проповеди» Бертрана
    «Проповеди» Пердрио
    «Проповеди» Ромийи

II. История, путешествия, география (4 названия)
    «Философская история» Рейналя
    «Путешествие на Сицилию и Мальту» Бридона
    «Путешествие по Швейцарии» Зиннера
    «Описание гор Невшателя» Остервальда

III. Беллетристика (14 названий)
  Сочинения
    Мольер
    Лагарп
    Кребийон-отец
    Пирон
    Руссо (1775)
    Руссо (1782)
    Посмертно опубликованные произведения Руссо
  Романы
    «История Франсиса Виллса» Пратта
    «Развращенный крестьянин» Ретифа де ла Бретонна
    «Адель и Теодор» г-жи де Жанлис
    «Дон Кихот» Сервантеса
  Прочее
    «Светский театр» г-жи де Жанлис
    «Год 2440» Мерсье
    «Мой ночной колпак» Мерсье

IV. Медицина (2 названия)
    «Забота о сохранении зубов» Бурде
    «Предостережение, содержащее средство от бешенства»

V. Детские книги, педагогика (18 названий)
  Развлечения
    «Обучающий театр» г-жи де Жанлис
    «Новые нравоучительные сказки» г-жи Лепренс де Бомон
    «Детский сборник» г-жи Лепренс де Бомон
    «Друг детей» Беркена
    Басни Лафонтена
    «Нравоучительные игрушки» Монже
    «Детские игры» Фетри
    «Чтение для детей»
    «Беседы Эмилии» г-жи д'Эпине
    «Нравоучительные беседы, пьесы и сказки» г-жи де Лафит
  Обучение
    «Хроники добродетели» г-жи де Жанлис

«Начальный курс географии» Остервальда
«Истинные принципы чтения» Виара
«Краткий курс всеобщей истории» Лакроза
Педагогика, нравственное воспитание
«Завещание отца дочерям» Грегори
«Рассуждение о физическом воспитании» Баллексера
«Нравственное воспитание» Компаре
«Наставления отца детям» Трамбле

VI. Прочее (9 названий)
«Энциклопедия» Дидро и Даламбера
«Сельский Сократ» Гирцеля
«Хромой посланец»
«Тайные воспоминания» Башомона
«Повествование о последних днях Ж.-Ж. Руссо» Ле Бега де Преля
«Рассуждение о политической экономии» Руссо
Письма Галлера против Вольтера
«Картины Парижа» Мерсье
«Портреты французских королей» Мерсье

Перечисленные рубрики соответствуют тому, как членились каталоги в библиотеках XVIII века, но не включают многих обычных для литературы того времени тем. Рансон не заказывал ни античных писателей, ни юридических трудов, ни книг по естественным наукам, не считая двух популярных медицинских сочинений. Конечно, он мог получать книги такого рода из других источников, хотя их можно было заказать и в ТТН, но, так или иначе, основные его интересы были ограничены следующими областями:

Детская литература и педагогика. Эти книги — самое удивительное во всем собрании. При том, что они, видимо, не занимали большого места в тех (правда, немногочисленных) библиотеках XVIII века, которые изучались историками[5], среди изданий, заказанных Рансоном в ТТН, они составляют почти треть. Повышенное внимание к этим книгам может объясняться заботой о собственных детях, но, как мы увидим, дело было не только в этом.

Религия. Из писем Рансона видно, что он был истовым протестантом, а выбор книг заставляет предполагать, что набожность его временами переходила в святошество. К богословию он интереса не проявлял, но жаждал Священного Писания — нового протестантского издания Библии, псалмов и особенно проповедей. В письмах он постоянно требовал «хороших новых проповедей; Франция уже давно изголодалась по ним»[6]. Он жаловал нравоучения швейцарских и голландских богословов, вызывающие в памяти савойского викария из четвертой книги «Эмиля».

История, путешествия, документально-научная литература. Религиозные принципы Рансона не помешали ему заказать «Энциклопедию» и столь же откровенную «Философскую и политическую историю учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» аббата Рейналя. Путешествия и исторические книги, излюбленная рубрика библиотек XVIII века, часто были ширмой теневого театра, на которую авторы Просвещения проецировали критику современного им общества. Рансон приобрел даже две запрещенные книги, где критика была явной: «Картины Парижа» Мерсье и «Тайные воспоминания об истории литературной республики» Башомона. Однако более острых и радикальных изданий из каталога ТТН он избегал, сосредоточившись на сентиментальных и нравоучительных книгах, приобретавших в предромантическую эпоху все большую популярность.

Беллетристика. Эти книги стоят особняком среди заказанных Рансоном художественных произведений. Хотя он покупал кое-кого из классиков XVII века (Мольера, Сервантеса), ему больше нравились современники вроде г-жи де Жанлис, Мерсье и Ретифа де ла Бретонна. Но больше всего места у него на полках и в письмах занимал Руссо — «Друг Жан-Жак» (l'Ami Jean-Jacques), как называл его Рансон, хотя этого друга он никогда не встречал и мог знать только через посредство печатного слова. Рансон проглатывал все, что ему попадалось из Руссо. Он заказал два полных собрания сочинений и двадцатитомник посмертно изданных трудов. Первое издание, опубликованное Самюэлем Фоше в Невшателе в 1775 году, было лучшим из того, что удалось достать Рансону при жизни Руссо, но включало всего одиннадцать томов ин-октаво. Второе, выпущенное Типографическим товариществом Жене-

вы в 1782 году, насчитывало 31 том и содержало много ранее не опубликованных произведений. Рансон заказал его не переплетенным, а только сброшюрованным, «чтобы получить полное удовольствие от этого труда, как только он поступит, а не дожидаться, когда переплетчик, который бывает весьма нерадив, сделает свое дело»[7]. Сведений об авторе он жаждал не меньше, чем его книг. «Благодарю Вас, сударь, — писал он Остервальду в 1775 году, — за то, что Вы были столь любезны, сообщив мне о Друге Жан-Жаке. Вы доставляете мне огромное наслаждение всякий раз, когда присылаете что-нибудь о нем»[8]. Рансон был образцовым руссоистским читателем. Но как он читал?

* * *

Переход от изучения того, *что* люди читают, к тому, *как* они это делают, — необычайно трудный шаг. Можно подойти к этой проблеме окольным путем, поставив еще один предварительный вопрос: как Рансон смотрел на книгу, беря ее в руки? Книги XVIII века выглядели иначе, чем сегодняшние, да и читатели воспринимали их по-другому.

Восприятие Рансона угадывается из его писем в ТТН, ибо он часто рассуждал о внешнем виде книг. Скажем, прежде чем предпринять новое издание Библии, Остервальд выяснял у него, какой формат предпочли бы читатели Ларошели. Рансон, посоветовавшись с друзьями, ответил: «Все высказались за ин-фолио. Это величественнее и внушительнее в глазах масс, которым предназначена сия божественная книга»[9]. Обсуждая проект переиздания «Начального курса географии», Рансон выказывал неподдельную заботу о типографских тонкостях: «Надеюсь, книга будет набрана более красивым шрифтом и на лучшей бумаге, чем третье издание, которое в этих отношениях сильно уступает второму, изданному в Берне»[10]. Особенно его заботил материал. «Красивая бумага, насколько это возможно», раз за разом повторял он в своих заказах[11]. Подчеркивал он и необходимость гармоничного сочетания бумаги, гарнитуры и переплета. Когда Остервальд попросил его осмотреть книги, взысканные ТТН с обанкротившегося торговца в Ларошели, Рансон в ответ сообщил: «Как могли Вы истратить три ливра пятнадцать су на переплеты для книг, столь плохо напечатанных на столь плохой бумаге, которые

Вы несброшюрованными продаете за пятнадцать су? Возможно, я и нашел бы покупателя на те, что в бараньем сафьяне [более дешевый переплетный материал. — *Р. Д.*], но насчет остальных у меня надежды мало»[12].

Подобные замечания были в XVIII столетии обычны. ТТН часто получало письма клиентов, жаловавшихся на небрежный набор, и книготорговцев, обеспокоенных тем, что из-за того или иного шрифта или сорта бумаги книга станет неходовой. Например, Пави, Рансонов книгопродавец в Ларошели, которому ТТН предложило «Систему природы», дал в ответном письме понять, что внешнее оформление книги столь же важно, сколь и ее содержание:

> «Мне известно четыре издания "Системы природы". Первое, голландское, — великолепно. Второе и третье вполне с ним сравнимы. Четвертое, лист из которого я прилагаю для примера, — отвратительно и по части набора, изобилующего ошибками, и по части бумаги, которая омерзительна. Я бы за него не дал и тридцати су. Если предлагаемое Вами издание сродни четвертому, не трудитесь высылать его. Вы можете легко справиться с образцом. Но, поскольку Вы говорите, что Ваше издание весьма красиво, полагаю, что оно — одно из трех первых. В таком случае можете выслать мне десять экземпляров, в листах или сброшюрованных»[13].

Теперь, когда книги производятся в массовом порядке для массового читателя, подобная забота о качестве издания исчезает. В XVIII веке книги делали вручную. Каждый лист бумаги изготавливался отдельно, при помощи сложной процедуры, и отличался от всех других листов той же книги. Каждая буква, каждое слово, каждая строчка набирались по всем правилам искусства, что давало ремесленнику возможность выразить свою индивидуальность. Каждая книга была самобытна, и у каждого экземпляра было свое лицо. Дореволюционный читатель обращался с книгами бережно, ибо принимал во внимание не только содержание литературы, но и то, как оно преподносилось. Он трогал бумагу, оценивая ее вес, прозрачность и упругость (существовал целый словарь для обозначения эстетических качеств бумаги, стоимость которой до начала XIX века составляла почти половину расходов на издание). Он изучал внешний вид шрифта, интервалы и пробелы, проверял, на месте ли ленточка-закладка, оцени-

вал формат и тщательно исследовал однородность печати. Он выбирал книгу так, как мы пробуем вино, ибо созерцал буквы, а не просто постигал через них содержание. И, едва вступив в окончательное владение книгой во всей ее материальности, он устраивался поудобнее и принимался за чтение.

* * *

Это возвращает нас к изначальному вопросу: как Рансон читал? К ответу мы вроде бы не приблизились, но можно пойти по иному пути и постараться понять чтение, которому в XVIII столетии обучали в школах и которое описывали в учебниках. По счастью, Рансон упомянул в письмах свой любимый учебник и заказал несколько экземпляров для родных и друзей. Заглавие этого пособия Никола-Антуана Виара, данное здесь в переводе, подразумевает, что оно, наряду со способами познания печатного слова, рисовало и картину мира: «Истинные принципы чтения, правописания и французского произношения, сопровождаемые небольшим трактатом о пунктуации, началах грамматики и французской просодии и различными выдержками для чтения, способными дать простые и доступные представления обо всех областях нашего знания».

Учебник Виара, видимо, оставил свой след в умах нескольких поколений французских читателей. В Национальной библиотеке имеется пять его изданий XVIII века и девятнадцать, вышедших с 1800 по 1830 год. Сомнительно, чтобы сам Рансон учился читать по этому учебнику, ибо наиболее ранний сохранившийся экземпляр относится к 1763 году, когда Рансону уже исполнилось пятнадцать. Однако из его писем видно, что он пользовался Виаром во время обучения в Невшателе — видимо, для повторения грамматики — и что он собирался учить по нему собственных детей. Впрочем, одна особенность учебника Виара — его ультраортодоксальный католицизм, явственно проявляющийся в подборе отрывков для чтения, — была для Рансона неприемлема[14]. Остервальд, возможно, выбросил эти пассажи из учебника, предназначенного для коллежа в Невшателе, поскольку, заказывая книгу, Рансон особо отметил, что хотел бы получить «несколько экземпляров "Принципов чтения" Виара, которые я был бы рад иметь с теми изменениями, что Вы туда внесли»[15]. В более

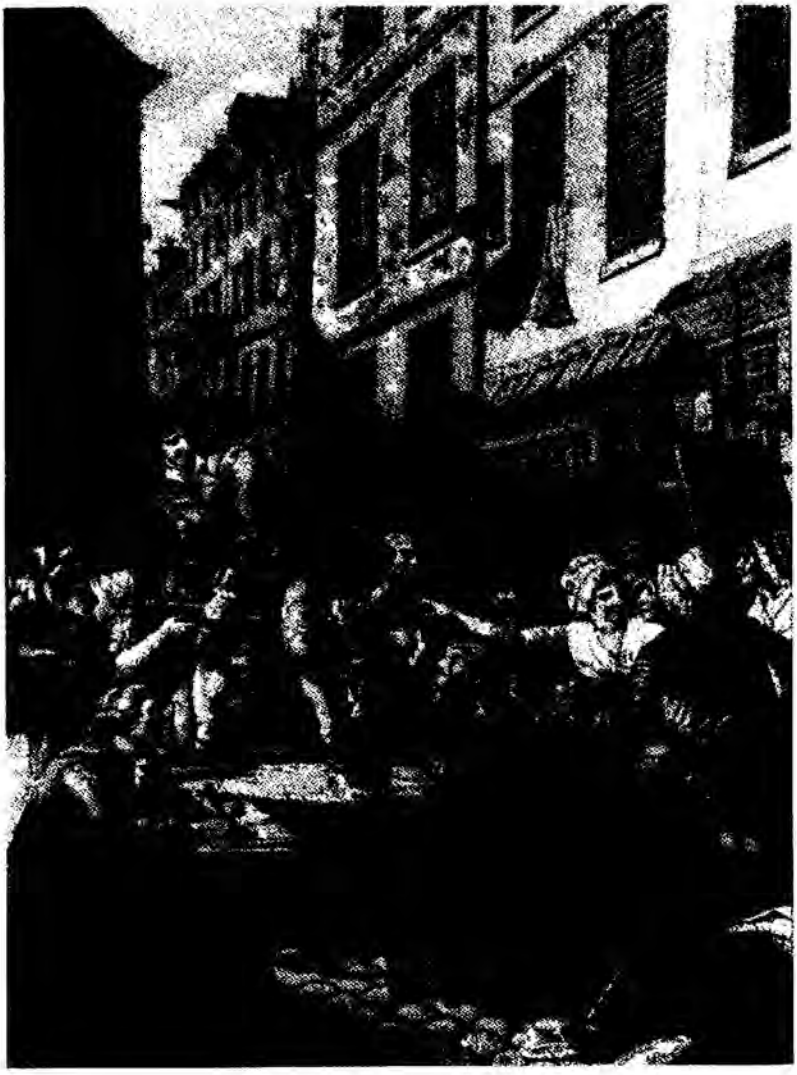
позднем письме он подчеркивал, что заказывал «Принципы чтения, исправленные для реформатов»[16]. Мне не удалось обнаружить этого протестантского Виара, но Виар классический, за вычетом некоторых религиозных текстов в материалах для чтения, представляется надежным плацдармом для исследования чтения в XVIII столетии.

Сам Виар начинает с мельчайших единиц звучания. Он демонстрирует, как они соотносятся с буквами, слогами и словами, идя от простого к сложному и избегая исключений, чтобы связь между звуками и типографскими значками твердо укрепилась в мозгу ученика. Чтению надо учиться устно, настаивает он, письмо придет потом. Следует прежде всего упростить звуки и не заниматься правописанием: это единственный способ сделать сочетания звуков значимыми для ученика»[17]. Виар требует некоторой зубрежки, но, при всех нудных упражнениях и путаных правилах, он прежде всего озабочен тем, чтобы заставить ребенка думать: «Память легко запечатлевает вещи, прочитанные несколько раз; поэтому, дав ребенку прочитать краткий отрывок, неплохо позадавать ему вопросы, помогая уяснить смысл этого отрывка»[18]. Чтение для Виара не пассивно, он считает его не механическим процессом расшифровки, но активным созиданием интеллекта.

Тем не менее Виар разочарует всякого, кто надеется найти в нем тогдашнюю стратегию понимания книг. Он ничего не говорит об *explication de texte* (анализе текста) или способах его толкования. Будучи поглощен проблемой извлечения смысла из сочетаний букв, он сосредотачивается на примерах такого рода[19]:

Les bons livres s'impriment soigneusement	Les mauvais livres se suppriment promptement*

* Это упражнение призвано помочь ученику разобраться с непоследовательным соотношением звуков и сочетаний букв,в данном случае элемента *—ment* [который в окончании третьего лица множественного числа глаголов произносится как [*m*], а в качестве суффикса наречий как [*mɑ̃*] с носовым *a*. — *С. К.*]. Хотя в переводе смысл упражнения теряется, приведенные фразы можно передать следующим образом: «Хорошие книги тщательно издаются. Плохие книги быстро запрещаются» (*Примеч. Р. Дарнтона*).



[Уличная распродажа имущества]. — Ил. в кн.: Vade J.J. Oeuvres poissardes... — Paris, 1796

Для Виара понимание означает овладение словами. Если читатель в состоянии правильно понять простейшие элементы, он сумеет понять и смысл целых трактатов, ибо значение содержится в мельчайших смысловых единицах, а не в грамматике или структуре. Посему Виар остается на уровне слова, как будто понимание текстов должно прийти само собой.

Кое-какие тексты он дает, но они едва ли иллюстрируют его мысль, поскольку насыщены скрытой идеологической тенденциозностью. Так, «Богородице Дево, радуйся» и «Отпущение грехов» не содержат читаемых двояким образом слогов, зато исполнены контрреформационного пафоса. Прочие подборки — «Геральдика», «Генеалогия», «Политика», «Мир» — читаются как оправдание статус-кво в социальных и политических вопросах. Виар ожидал, что учитель обратит внимание на важность этих тем в беседах с учениками: «Цель в том, чтобы дать детям некоторые простейшие представления об искусстве, науках, религии, войне, торговле и всем том, о чем необходимо иметь ясное и четкое понятие. Для ребенка важно, чтобы учитель прервался и рассмотрел вместе с ним каждый из этих сюжетов, так сказать, поворачивая их у него перед глазами. Каждый сюжет прорастет как зерно, которое при умелом взращивании обогатит разум и сделает его плодородным»[20]. В консервативной природе данного текста сомневаться не приходится, но метафора вполне могла быть заимствована и из «Эмиля». Подобно Руссо, Виар ратует за терпение и мягкость со стороны учителя. Вместо того чтобы пичкать учеников бесполезными сведениями, нужно дать им возможность развивать свои способности. Прежде всего они должны научиться быть хорошими людьми, ибо чтение — род духовного упражнения: оно готовит не к литературе, а к жизни.

Тем самым учебник Виара, при всей своей ортодоксальности, мог привлечь читателя Руссо. Непосредственно о процессе чтения книга, однако, мало что может поведать. Собственно, из нее следует, что во Франции XVIII века дети постигали слова примерно так же, как в наши дни. Сам Руссо такой педагогики на дух не выносил. В «Эмиле» он настаивал, чтобы ребенок учился читать поздно, когда созреет для учения, без специальных упражнений: «Тут ему подойдет любая метода»[21]. Однако же тема чтения, весьма занимавшая Руссо, возникает

во всех его трудах. Если мы постигнем его понимание чтения, возможно, мы сумеем продвинуться дальше того места, где нас оставил Виар, и по-новому взглянуть на проблему чтения в XVIII веке.

Собственное приобщение к чтению Руссо анализирует на первых страницах «Исповеди»:

> «Не знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения, и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери [она умерла через несколько дней после рождения Жан-Жака. — *Р. Д.*] остались романы. Мы с отцом стали их читать после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу, не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: "Идем спать. Я больше ребенок, чем ты"»[24].

Истощив свой запас романов, они стали брать тома Боссюэ, Мольера, Лабрюйера, Овидия и Плутарха у родственников матери Жан-Жака, происходившей из более образованной среды, чем его отец-часовщик. Пока отец работал у себя в мастерской, сын читал ему вслух и они обсуждали прочитанное. Воображение Жан-Жака разгоралось, особенно когда он с пафосом декламировал Плутарха. Он перевоплощался в героев, о которых читал, и разыгрывал драмы античной истории в своей женевской квартире так, как если бы пережил их в Афинах или Риме. Впоследствии, оглядываясь назад, он полагал, что этот опыт оставил в его душе след на всю жизнь. С одной стороны, он так никогда и не научился отличать литературу от действительности, наполнив свой ум «понятиями самыми странными и романтическими; ни опыт, ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них». С другой, в нем развился отчаянно независимый дух. «Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, этот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни...»[25].

Персонажи великого романа Руссо, «Новой Элоизы», отдаются чтению с тем же самозабвением. Поскольку роман эпистолярный, сюжет его разворачивается посредством обмена письмами. Жизнь неотличима от чтения, как любовь неотличима от писания любовных посланий. И впрямь, любовники учат друг друга читать так же, как они учат друг друга любить. Сен-Пре наставляет Юлию: «Читать немного, но много размышлять о прочитанном, или, что одно и то же, подолгу беседовать друг с другом — вот средство, помогающее лучше усвоить знания» [24]. В то же время он учится у нее читать. Подобно учителю Эмиля, он разрабатывает «методу», наиболее соответствующую независимому духу ученицы: «...ведь вы умеете вложить в прочитанное еще и свой, лучший смысл, и ваш живой ум создает как бы вторую, подчас лучшую книгу. Так станем же обмениваться мыслями: я буду рассказывать вам, что думали другие, а вы будете мне рассказывать, что вы сами думаете об этом предмете, и порою, закончив урок, я уйду более просвещенный вами, нежели вы мной» [25]. Так Руссо учился читать у своего отца — и так он впоследствии читал с г-жой де Варанс: «Иногда [я. — *С. К.*] читал подле нее: это доставляло мне большое удовольствие; а вместе с тем чтение хороших книг принесло мне пользу... Мы читали вместе Лабрюйера — он нравился ей больше Ларошфуко... Иной раз она начинала морализировать и порой заносилась слишком далеко, но я, целуя время от времени ее губы и руки, вооружался терпением и не страдал от ее долгих рассуждений» [26]. Чтение, жизнь, любовь — для писателя, жившего в своем воображении более полной жизнью, чем в повседневной действительности, они были неразделимы.

Итак, у заклятого врага «методы» на деле была собственная метода, которой он обучился у своего отца. Она состояла в столь тщательном «усвоении» книг, что они включались в реальную жизнь. Но Руссо не просто описывал чтение, каким оно было для него и его героев. Он направлял читателей, показывая им, как подойти к его книгам, вводя их в тексты, помогая им сориентироваться и силой убеждения заставляя играть определенную роль. Руссо хотел научить читателей читать и через чтение пытался прикоснуться к их внутренней жизни. Такая стратегия требовала разрыва с привычной ли-

тературой. Вместо того чтобы прятаться за повествованием и дергать персонажей за ниточки в манере Вольтера, Руссо с головой погружался в свои труды и ждал того же от читателя. Он преобразил отношения между писателем и читателем, между читателем и текстом. Осмыслив эти перемены, мы могли бы представить себе идеального читателя, каким его видел Руссо, и сравнить искомый идеал с реальным человеком, читателем Жаном Рансоном.

* * *

Рассмотрим два ключевых текста — предисловия к «Новой Элоизе», где Руссо довольно пространно рассуждает о чтении вообще и о том, как читать его роман. Оба предисловия — краткое вступление к книге и диалог, в котором Руссо изображает себя защищающим свое творение от скептически настроенного критика, — противостоят упреку, которого следовало ожидать от любого читателя Руссо: как мог Жан-Жак докатиться до написания романа? В наши дни вопрос этот может показаться абсурдным, но он прекрасно встраивается в заботы века, в котором романы воспринимались как угроза нравственности, особенно если речь в них шла о любви, а читателями были юные девушки. Руссо завоевал скандальную известность отрицанием всех искусств и наук из-за их пагубного влияния на нравственность — и вот он, как ни в чем не бывало, беззастенчиво кичится своим именем на титульном листе самого что ни на есть развращающего вида литературы: не просто романа, но истории о наставнике, соблазняющем свою ученицу и затем составляющем с нею и ее мужем *ménage à trois**!

Руссо с открытым забралом встретил этот упрек в первом же предложении первого предисловия: «Большим городам надобны зрелища, развращенным народам — романы»[27]. Этот аргумент вторил его «Письму к Даламберу о зрелищах», где он клеймил театры, романы и всю современную литературу, включая труды энциклопедистов, за подрыв общественной нравственности в здоровых республиках вроде Женевской, но соглашался, что они могут быть полезны в разлагающих-

* Сожительство втроем (*фр.*).

ся монархиях вроде Франции. Руссо написал и «Новую Элоизу», и «Письмо Даламберу» во время тяжелого кризиса 1757/58 годов, завершившегося разрывом с Дидро и партией философов. Тем не менее обе книги продолжали тему растленной природы современной культуры, которую Руссо поднял еще в произведении, сделавшем его знаменитым, — в «Рассуждении о науках и искусствах» (1750). Вопрос этот тяготил его всю жизнь, и, начиная историю современной Элоизы, он вновь должен был им заняться. Великий романист всегда осуждал романы. Как же он мог сочинить роман?

Ответ Руссо в предисловиях обманчиво прост: «Это вовсе не роман»[28]. Это собрание писем, которое Руссо представляет в качестве редактора, о чем ясно говорится в подзаголовке и имени «издателя» на титульном листе: «Письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп. Собраны и изданы Ж.-Ж. Руссо». Но подобное притворство не устроило бы никого, и меньше всего Руссо, который гордился своим произведением и не мог удержаться, чтобы не поговорить о нем: «Я выступаю в роли издателя, однако ж не скрою, в книге есть доля и моего труда. А быть может, я сам все сочинил, и эта переписка — лишь плод воображения? Что вам до того, светские люди [*gens du monde*]! Для вас все это и в самом деле лишь плод воображения»[29]. Под завесой этой *coquetterie** Руссо переносит центр тяжести с собственной роли на роль, предлагаемую читателю. Книга якобы задумана ради социокультурной элиты (*le monde* — выражение, исполненное глубокого смысла и для Руссо, и для прочих писателей и ученых), но тем, кто сумеет прочесть ее наивными глазами, она покажется воплощением истины. Где же располагает эту истину Руссо? Как можно дальше от салонного общества: «Книга эта не такого рода, чтобы получить большое распространение в свете [*le monde*], она придется по душе очень немногим... Она, конечно, не угодит ни набожным людям, ни вольнодумцам, ни философам»[30]. Идеальный читатель должен суметь отбросить литературные условности и предрассудки общества, только тогда он сможет включиться в повествование так, как предписано Руссо: «А тот, кто решится прочесть эти пись-

* Кокетство (*фр.*).

ма, пускай уж терпеливо сносит ошибки языка, выспренний и вялый слог, ничем не примечательные мысли, облеченные в витиеватые фразы; пускай заранее знает, что писали их не французы, не салонные острословы, не академики, не философы, а провинциалы, чужестранцы, живущие в глуши, юные существа, почти дети, восторженные мечтатели, которые принимают за философию свое благородное сумасбродство»[31].

Направленность этих противопоставлений — общественно-политическая, ибо Руссо видел литературу одним из элементов в системе власти, свойственной старому порядку. Все это он отверг, все — и *belles-lettres* (беллетристику, художественную литературу), и *beau monde* (высший свет), порвав тем самым с философами. В его глазах Дидро, Даламбер и другие энциклопедисты принадлежали к светскому кругу театров и салонов. Сама философия стала высшим проявлением парижской утонченности, модой, которая, распространяясь за пределы Парижа, угрожала здоровым частям государства. Олицетворением этого процесса стала Даламберова статья о Женеве для «Энциклопедии». Высмеивая отсталых пуритан, воспротивившихся намерению Вольтера учредить в их городе театр, она демонстрировала, что раковая опухоль культуры разъедает последний бастион добродетели, республику Кальвина — и Руссо. Статья эта задела «Жан-Жака Руссо, гражданина Женевы»[32] за живое не только потому, что он отождествлял себя со своей родиной, но и потому, что угрожавший ей недуг снедал и его. Разве он, некогда невинный ребенок, не погружался все глубже в греховность? Разве не пытался он прорваться в высший свет и разве не использовал для этого музыку, театр, литературу, философию? Он жил в соответствии с собственной формулой: культура = развращенность. Что ж, он придумает иную форму культуры, антилитературную литературу, в которой вступится за дело добродетели, адресуясь непосредственно к неискушенным. В «Новой Элоизе» Руссо обрел пророческий глас, но взывал только к имеющим уши слышать*, т.е. к имеющим глаза читать.

Поэтому-то для «Новой Элоизы» требовался новый вид чтения, имевший тем больше шансов привести к желаемому

* Намек на библейское выражение «Кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф 11.15, 13.9; Мр. 4.9, 23; ср. также Иез. 12.2).

результату, чем дальше духовно был читатель от парижского высшего общества. «В смысле нравственном, по-моему, не может быть чтения, полезного для светских людей [*gens du monde*]... Чем дальше от деловой суеты, от больших городов, от многочисленных кружков, тем меньше препятствий [для нравственно полезного чтения. — *Р. Д.*]. И есть предел, где препятствия уже перестают быть непреодолимыми, а тогда книги могут принести некоторую пользу. Когда люди живут в уединении, они не спешат проглотить книгу, чтобы похвастать своей начитанностью, читают меньше, зато больше размышляют над прочитанным; и так как высказанные в книгах мысли не встречают столь большого противодействия извне, они сильнее влияют на внутренний мир»[33]. То был ответ на ужасную фразу Дидро*, ускорившую его разрыв с Руссо: «Только дурной человек живет в уединении»[34]. Красноречие Руссо открыло новый канал связи между двумя одинокими существами, писателем и читателем, и перераспределило их роли. Руссо становился Жан-Жаком, гражданином Женевы и пророком добродетели. Читатель становился провинциальным юношей, землевладельцем, женщиной, задыхающейся среди изысканных условностей общества, ремесленником, чуждым изысканности, — неважно кем, лишь бы он или она могли возлюбить добродетель и понимать язык сердца.

Тем самым Руссо призывал читателя не столько перевоплотиться в швейцарского крестьянина, сколько отринуть господствовавшие в литературе и обществе ценности. Всякий, кто хотел прочитать письма любовников так, как они того заслуживали, должен был душой перенестись «к подножию Альп», где литературные красоты ничего не значили. Письма эти были написаны не для того, чтобы понравиться в Париже, — стремление «нравиться» (*plaire*) было одним из проявлений утонченности, идеализировавшимся в XVII веке, — а чтобы дать волю чувству.

> «Если вы их станете читать как произведения сочинителя, желающего понравиться [*plaire*] или возомнившего себя большим писателем, они покажутся вам отвратительными. Но примите их такими, каковы они есть, и судите их, как подобает этому виду писаний. Два-три человека,

---

* Из предисловия к «Побочному сыну».

молодые годами, простодушные, но чувствительные, ведут между собою беседу о том, что важно для их сердец. Они вовсе не собираются блистать. Они друг друга хорошо знают, их соединяет взаимная и столь глубокая любовь, что самолюбию здесь нет места. Они еще дети — разве они могут мыслить как взрослые? Они чужестранцы — разве могут они писать правильно? Они живут отшельниками — разве могут они знать свет и общество [*le monde*]?.. Ничего этого они не умеют. Они умеют только любить и все связывают с поглощающей их страстью»[35].

В письмах Юлии и Сен-Пре нет рафинированности, поскольку они подлинны. Они не имеют ничего общего с литературой, поскольку правдивы. Подобно музыке, они передают от одной души другой только чувство: «Тут не письма пишешь, а создаешь гимны!»[36]. Руссо дает читателю возможность приникнуть к этой правде, но с условием, что тот поставит себя на место корреспондентов и станет провинциалом, отшельником, чужеземцем и ребенком душой. Чтобы этого добиться, читателю придется отречься от культурного багажа взрослого мира и заново научиться читать, как читал Жан-Жак со своим отцом, который умел стать «больше ребенком, чем ты». Так руссоистское чтение должно было покончить с условностями, введенными Буало в разгар классицизма. Оно должно было перевернуть отношения между читателем и текстом и открыть дорогу романтизму. В то же время оно должно было возродить вид чтения, предположительно господствовавший в XVI и XVII столетиях: чтение ради того, чтобы впитать Слово Божие. Руссо требовал читать себя так, как если бы он был пророком божественной правды, и Рансон понимал его именно в этом смысле, так что упор на религиозную литературу в заказах Рансона не противоречил его руссоизму, а скорее дополнял его. Что отличало чтение по Руссо от заветов его религиозных предшественников — будь то кальвинисты, янсенисты или пиетисты, — так это призыв читать самую подозрительную форму литературы, роман, как Библию. С помощью этого парадокса Руссо мог бы возродить *le monde* (мир).

Однако же, ища самовыражения в предисловии к «Новой Элоизе», новый вид чтения натолкнулся на другой парадокс. Руссо, утверждавший, что письма любовников подлинны, написал их сам, со всем красноречием, на которое только он один и был способен. Он представил свой текст как непосред-

ственное общение двух душ — «...есть чувство; мало-помалу оно передается сердцу»[37], но истинное общение происходит между читателем и самим Руссо. Эта двусмысленность грозила погубить те новые отношения между писателем и читателем, которые он стремился наладить. С одной стороны, она ставила Руссо в ложное положение, объявляя его всего-навсего издателем. С другой — вынуждала читателя смотреть на происходящее со стороны, уподобляясь подглядывающему в замочную скважину извращенцу. Разумеется, такие двусмысленности, как и солидная доза вуайеризма, всегда присутствуют в эпистолярных романах. Этот жанр утвердился во Франции задолго до Руссо и благодаря популярности Ричардсона переживал второе рождение. Но Руссо не мог укрыться за условностями жанра, поскольку хотел, чтобы текст был нелитературным и «правдивым». Он не мог отрицать своего авторства писем, не погрешив против правды, и не мог признать вложенного в них мастерства, не испортив впечатления.

Нынешнему читателю это может показаться ложной дилеммой, однако современников Руссо она мучила. Многие читатели «Новой Элоизы» верили и хотели верить в подлинность писем. Руссо заранее понял их потребность и заставил во втором предисловии, или *préface dialoguée* (предисловии в форме диалога) своего интервьюера, искушенного литератора N., вновь и вновь возвращаться к вопросу: «Это настоящая или вымышленная переписка?»[38]. N. никак не может отвлечься от этого навязчивого вопроса, объясняя, что его «мучило сомнение»[39]. Позволив оппоненту выразить подозрения, Руссо уладил дело с читателем и мог теперь во всеоружии встретить присущий эпистолярному жанру парадокс, который не мог разрешить, но которым вознамерился пренебречь ради высшей правды. Он попросил читателя временно воздержаться от недоверия и, отбросив прежнюю манеру читать, погрузиться в письма так, как если бы они и в самом деле были излиянием невинных сердец у подножия Альп. Такое чтение требовало веры — веры в автора, сумевшего вжиться в чувства своих героев и преобразовать их в правду, которая выше литературы.

Раз так, то воздействие романа проистекало в конечном итоге из силы личности Руссо. Он положил начало новому

Ж.Ж. Руссо на ботанической прогулке. — Ил. в кн.: Lacroix P. XVIII-ème siècle: lettres, sciences et arts: France 1700 — 1789. — Paris, 1878

взгляду на автора как на Прометея, взгляду, которому в XIX веке была уготована завидная популярность. В «Новой Элоизе» Руссо не стал прятаться за кулисами, а вышел на авансцену. В предисловиях он все примеряет к себе, к своему «я». Покончив с отрицанием собственного авторства, он возвещает N., что является издателем писем:

> «R. [Руссо]: Разве честный человек скрывает свое имя, когда обращается к публике? Разве он осмелится напечатать произведение, которое не решается признать своим? Я издатель этой книги, и назову себя в ней издателем.
>
> N. Назовете свое имя? Вы?
>
> R. Да, я самый.
>
> N. Что? Так и поставите свое имя?
>
> R. Да, сударь.
>
> N. Настоящее свое имя? *Жан-Жак Руссо*, черным по белому?
>
> R. *Жан-Жак Руссо*, черным по белому»[40].

Затем Руссо поясняет, что не только хочет нести ответственность за написанное, но и не желает, «чтобы меня считали лучше, чем я есть на самом деле»[41]. Ту же позицию он займет и в «Исповеди». Каясь в прегрешениях, он тем самым подчеркивает свою честность и в то же время создает идеального Жан-Жака, способного от всего сердца говорить с представленным в книге идеальным читателем. Автор и читатель вместе торжествуют над искусственностью литературного общения. Этот металитературный импульс, который найдет свое крайнее выражение в «Исповеди», побудил Руссо поднять свой флаг над «Новой Элоизой» — жест необычный в век, когда авторы редко подписывали романы собственными именами. Но Руссо не стремился стать романистом-новатором (*novelesque*). Он хотел через литературу проникнуть в жизнь, свою и своих читателей.

Таким образом, влияние руссоизма — во многом дело рук самого Руссо. Он обращался к самым сокровенным переживаниям читателей и побуждал их видеть за текстом себя, Жан-Жака. Неудивительно, что многие из них пытались познакомиться с ним лично — настолько многие, что ускользать от тех, кто докучал ему в его убежище на острове Сен-Пьер, приходилось через специальный люк. Руссо разрушил барьеры,

отделявшие писателя от читателя. Он создал искусство, которое пропагандировал в «Эмиле»: «искусство говорить с отсутствующими и слышать их, искусство без какого бы то ни было посредства передавать тем, кто далеко, наши чувства, желания, стремления»[42]. Он разработал это искусство, но как отозвались на него читатели — настоящие, а не просто воображаемые в тексте читатели? Этот вопрос возвращает нас к Жану Рансону.

С самого начала переписки с Остервальдом Рансон дал понять, что «Друг Жан-Жак» интересует его не меньше, чем творения Руссо. Швейцарский издатель был способен удовлетворить его интерес, поскольку время от времени ездил по делам в Париж и посылал своему молодому другу в Ларошель отчеты о собранных там литературных сплетнях. К сожалению, письма Остервальда до нас не дошли, но вполне вероятно, что в них содержались рассказы о встречах с Руссо, ибо Рансон не переставал требовать известий о своем *Ami* и жаловался, если они не поступали: «Как! Вы видели Друга Жан-Жака и не сказали мне об этом! Надеюсь, вы просто отложили свой рассказ до следующего письма»[43]. Не меньше ждал Рансон и книг Руссо. Как бы он ни беспокоился о качестве набора, больше всего его волновала подлинность текстов. «Единственное, почему я не решаюсь купить больше, — объяснял он Остервальду, — так это потому, что несчастный гений отрекся от всех изданий, продававшихся два или три года назад; он согласен признать только первое издание, которое сам помогал готовить и которое уже давно распродано»[44]. Весной 1777 года, когда Остервальд в очередной раз собирался в Париж, Рансон написал ему: «Вы наверняка увидите Друга Жан-Жака. Пожалуйста, выясните у него, получим ли мы хорошее издание его трудов. Особо же прошу Вас послать мне до Вашего возвращения весточку о его здоровье»[45]. Сам Руссо и его произведения всегда поминались в письмах Рансона только вместе.

Отзывы о Руссо Рансон сопровождал замечаниями о собственной жизни. В июне 1777 года, когда ему должно было исполниться тридцать, он писал: «Уверен, сударь, Вы будете счастливы услышать, что я собираюсь покончить с холостяцкой жизнью. Я избрал для себя мадемуазель Работо, мою ку-

зину, сестру молодой дамы, на которой в прошлом году женился г-н Роше из Нанта, и получил ее согласие. По отцовской линии она в той же степени, что и со мной, состоит в родстве с Жарнаком. Кроткий характер этой чудесной особы в сочетании с тем, как она заботится о соблюдении приличий, заставляет меня надеяться, что сей союз самым... [на этом месте в бумаге дыра. — *Р. Д.*]» Затем Рансон переходит непосредственно к своей излюбленной теме: «Хотя я вновь и вновь просил Вас, сударь, сообщать мне новости о Друге Жан-Жаке, который меня глубочайшим образом интересует, Вы так жестоки, что ничего о нем не говорите. Ведь у Вас был случай увидеть его в Париже и Вы имели счастье перебросить с ним несколькими словами. Умоляю, поведайте мне об этом при первом удобном случае, если не хотите, чтобы я затаил обиду»[46].

Ассоциации между собственной женитьбой и своим *Ami* для Рансона не случайны. В следующем письме он поясняет:

> «Горячо благодарю Вас за добрые пожелания по случаю перемен в моем жизненном укладе. Жена не менее моего тронута тем, что вы написали на ее счет. Надеюсь, мне нетрудно будет выполнять свой долг по отношению к дражайшей супруге так, как Вы предписываете и как сам я для себя наметил. Раз я умел обходиться без женщин почти до тридцатилетнего возраста, хотя, разумеется, никогда не был равнодушен к прекрасному полу, уверен, что одной мне будет достаточно до конца дней. Все, что Друг Жан-Жак писал о долге мужей и жен, матерей и отцов, оказало на меня глубочайшее воздействие, и признаюсь Вам, я буду неукоснительно следовать его советам, какого бы положения я ни достиг»[47].

В письме, написанном Рансоном несколько месяцев спустя, отсылки к Руссо только подразумеваются. Теперь настал черед Рансона посылать поздравления: «Горячо поздравляю вас всех, Вас и г-на и г-жу Бертранов [зять и дочь Остервальда. — *Р. Д.*] с благополучным рождением Вашей внучки, которую мать, без сомнения, будет кормить сама, как прежде поступала с остальными детьми»[48]. В конце того же года Рансон узнал, что и ему предстоит стать отцом. К новым обязанностям он готовился по книгам: «Прошу Вас приобрести для меня, если возможно, прекрасный трактат о физическом воспитании детей, изданный г-ном Баллексером из Женевы. Я вскоре ста-

ну отцом и думаю о том, как лучше выполнять свои обязанности»[49]. Из традиционного мира, где детей воспитывали в соответствии с семейными традициями, мы перешли в мир доктора Спока, где они растут по инструкциям печатного слова. Рансон прежде всего искал совета у Руссо, поборника кормления грудью и материнской любви. В мае 1778 года он радостно писал: «Моя жена родила мне девочку, которая прекрасно растет и которую мать с большим успехом кормит»[50].

Вскоре, однако, он узнал о смерти своего духовного пастыря.

> «Итак, сударь, мы потеряли несравненного Жан-Жака. Как больно, что я его так и не увидел, не услышал. Я преисполнился к нему необычайным восхищением при чтении его книг. Если когда-нибудь я окажусь в окрестностях Эрменонвиля, то не премину сходить на его могилу и, быть может, поплачу. Умоляю Вас, скажите, что Вы думаете об этом прославленном человеке, чья судьба всегда вызывала во мне самые теплые чувства, тогда как Вольтер часто возбуждал мое негодование... Несколько лет назад Руссо сказал, что ни одно из новых изданий его трудов не достоверно, что все они изобилуют искажениями, купюрами и изменениями, даже издание Рея, на которое он горько жаловался. Надеюсь, после него остались рукописи, которые сделают возможным издание, свободное от ошибок. Если Вам что-нибудь станет известно на сей счет или дойдут еще какие-либо сведения относительно Руссо, прошу Вас поделиться со мной. Вы доставите мне этим величайшее удовольствие».

Затем с ходу следуют семейные новости: «Мы с женой весьма тронуты добрыми словами, что Вы высказали по поводу рождения нашей дочери, которую мать по-прежнему с большим успехом кормит, не испытывая ни малейшего неудобства»[51].

Рансон и дальше рассуждал о Руссо в долгой череде писем. Он хотел знать все о жизни и смерти своего *Ami*. Он поглощал любые анекдоты, попадавшие ему в руки, сравнивая версии «Куррье де л'Эроп», «Л'анне литтерер», «Меркюр де Франс», «Анналов» Ленге и многих других периодических изданий. Гравюру с изображением могилы в Эрменонвиле он повесил на стене своего кабинета. Он скупал надгробные речи, брошюры и даже обрывки приписывавшихся Руссо неопубликованных рукописей, которые начали распространяться после его

смерти. Собирал Рансон и слухи, особенно те, что передавались через лавку его книгопродавца Пави. Кое-кто утверждал, что Жан-Жака отравили. Но разве не правдоподобнее была версия о желудочном заболевании, на которой настаивал «Куррье де л'Эроп»? Или же его свели в гроб страдания, вызванные пропажей рукописи «Исповеди»? Говорили, что министр юстиции приобрел список, вызвал Жан-Жака и потребовал объяснить, как книга стала распространяться, если он обещал никогда не публиковать ее. Должно быть, Тереза Левассер продала рукопись без его ведома. В последнее время, когда Жан-Жак бросил переписывать ноты, они отчаянно нуждались. Почему же никто не вызвался спасти их от нищеты? Разве не предложил Жан-Жак в феврале 1777 года в открытом письме завещать свои рукописи любому покровителю, который бы выручил семью? Пенсии, выплачивавшейся Терезе Марком Мишелем Реем, — а Рансон знал все подробности домашнего быта Руссо, — им обоим на жизнь не хватало. Возможно, теперь, после смерти мужа, Тереза обратилась к Рею с просьбой опубликовать его рукописи. По словам Пави, некоторые парижские книгопродавцы уже предлагали рукописные экземпляры «Исповеди» по пятнадцать ливров.

Какое сокровище, должно быть, эта «Исповедь»! Рансон сгорал от желания прочитать и ее, и все остальное наследие Руссо. Он хотел знать тайны души своего ментора, подробности его прошлого, все, что вышло из-под его пера, вплоть до музыкальных сочинений, которые Рансон специально заказывал у ТТН. В письмах из Ларошели в Невшатель и обратно множество упоминаний о планах издать Руссо, поскольку ТТН конкурировало с Типографским товариществом Женевы и сворой других издателей, стремившихся наложить лапу на рукописи, оставленные маркизу де Жирардену и Александру Дю Перу. Эта драка за право опубликовать полное собрание сочинений Руссо стала последним генеральным сражением в истории книгоиздания при старом режиме. Но для Рансона не имело особого значения, кому достанется главный трофей, женевцам или его друзьям из Невшателя, лишь бы только в кратчайшие сроки было опубликовано исчерпывающее и надежное издание. Больше всего ему хотелось иметь полного

Руссо, включить его в свой внутренний мир и отражать в повседневной жизни.

Таким образом, имя Руссо продолжает возникать в письмах Рансона как своеобразная глосса к сообщениям о собственной семье. В сентябре 1778 года он связывает длинное рассуждение о смерти и посмертных произведениях Руссо с размышлениями о своей новорожденной:

> «По той нежности, которую внушает мне моя дочь, я вижу, насколько счастье детей влияет на счастье отцов. Как бы я хотел знать побольше, чтобы давать уроки собственным детям, ибо никакой учитель не может обучать с увлеченностью отца. Но если я могу дать им урок высокой нравственности, если мои усилия окупятся хотя бы в этом, без остального я смогу обойтись. Я говорю «дети», а ведь у меня только пятимесячная дочь»[52].

В феврале 1780 года родился сын, в декабре 1782-го — еще один. Старшего Рансоны назвали Жаном Исааком в честь деда по материнской линии, а второго — Эмилем. Этот жест символизировал впечатляющий разрыв с семейной традицией, ибо Рансоны и Работо почти всегда придерживались ограниченного списка семейных имен, где несколько Жанов, Пьеров и Полей терялись среди множества любимых протестантами ветхозаветных имен: Авраамов, Исааков, Илий, Вениаминов, Самуилов и Иоакимов[53]. Маленький Эмиль должен был стать живым свидетельством веры родителей в Руссо и его учение о воспитании и человеческой природе в целом.

По мере появления детей на свет Рансон рассылал соответствующие оповещения, присовокупляя к ним замечания о кормлении грудью и рассуждения о Руссо. Он знал об этой своей двойной одержимости: «Прошу у Вас прощения за то, что столь часто и столь многословно упоминаю о Жан-Жаке, но я успокаиваю себя тем, что воодушевление, которое он мне внушает и которое вызвано исключительно его собственным воодушевлением по отношению к добродетели, извинит меня в Ваших глазах и побудит Вас время от времени писать мне об этом друге добродетели»[54]. Чуть позже, уже в связи с дочерью: «Какое удовольствие нахожу я в том, чтобы следить за

жить и дальше, а я хорошим воспитанием сумею развить ее природные достоинства. Вы, сударь, сами отец, так что извините мои рассказы о деталях, которые не представили бы интереса для человека, таковым не являющегося»[55].

Подход Рансона к отцовству объясняет, почему среди его заказов в ТТН столь важное место занимает педагогическая и детская литература. Эти книги олицетворяли новое отношение к детям и невиданное прежде желание родителей наблюдать за их образованием [56]. Любимые авторы Рансона, особенно г-жа де Жанлис и г-жа Лепренс де Бомон, писали для самих детей и делали это не просто для развлечения, но для развития в них благонравия. Особое внимание, уделяемое нравоучительности, проявляется в самих названиях новых детских книг: «Нравоучительные игрушки, или Сказки для детей» и «Чтение для детей, или Подборка сказок, одинаково пригодных и для того, чтобы их развлечь, и для того, чтобы научить их любить добродетель». Нравоучительность главенствовала и в новых учебниках для родителей, таких, как «Нравственное воспитание, или Ответ на вопрос, как следует направлять ум и сердце ребенка, дабы однажды он достиг состояния человека счастливого и полезного». Эти книги исходили из руссоистской предпосылки о том, что дети добры и хороши от природы, и развивали педагогику, исполненную руссоизма. В дополнение к этим книгам у Рансона было по меньшей мере два экземпляра «Эмиля». Замечательным, однако, было не то, что он читал тот или иной трактат о детях, а то, что он вообще читал какие бы то ни было трактаты. Он пришел к отцовству через чтение и надеялся при помощи книг воспитать из своего потомства новых Эмилей и Эмилий.

Такое поведение отражало новое отношение к печатному слову. Рансон читал не для того, чтобы наслаждаться литературой, а для того, чтобы справляться с трудностями жизни, прежде всего семейной, — именно так, как замышлял Руссо. В письмах Рансона он и его жена являют собой образец читателей, которым Руссо адресовал «Новую Элоизу»: «Мне приятно воображать, как супружеская пара, читая вместе этот сборник писем, почерпнет в нем новое мужество для того, чтобы сообща нести бремя своих трудов, быть может, новый взгляд на свои труды и стремление сделать их полезными», —

писал Руссо во втором предисловии. «Неужели, увидев в этой книге картину семейного счастья, они не испытают желания подражать столь милому образцу?»[57]. Рансон свой семейный очаг создавал именно по этому подобию, читая Руссо в полном соответствии с пожеланиями последнего. «Моя жена шлет Вам поклон, — писал он Остервальду в сентябре 1780 года. — Она, слава Богу, по-прежнему пребывает в добром здравии, как и младенец, прекрасно себя чувствующий на молоке своей мамочки. Замечательный характер его старшей сестры, большой девочки двух с половиной лет, тоже демонстрирует благотворное влияние материнского молока. Добродетельный Жан-Жак! Тебе моя нижайшая благодарность»[58].

Остальные письма собрания выдержаны в том же тоне — искреннем, сердечном, сентиментальном, нравоучительном, — тоне, который Руссо задал всем своим читателям, независимо от их жизненных обстоятельств. Трудно вообразить что-нибудь более обычное, но значение писем Рансона и состоит в их обыденности. Они показывают, как руссоизм проникал в повседневный мир самого обычного буржуа и помогал ему осмыслить вещи, более всего для него значимые: любовь, брак, отцовство — большие события маленькой жизни и материю, из которой повсюду во Франции была соткана эта жизнь[59].

* * *

Рансонов подход к чтению сегодня невообразим, а «Новая Элоиза» нечитабельна если не для всех, то, по крайней мере, для многих «простых» читателей современного пошиба, которые не могут пробиться через шесть книг сплошного чувства, не оживляемого ни насилием, ни откровенно описанным сексом, ни какой бы то ни было интригой. Это чувство захлестывало в XVIII столетии не только Жана Рансона, но многие тысячи читателей Руссо. Изучая их отклики, мы сможем увидеть его случай в истинном свете и лучше представить себе пропасть, отделяющую читателей дореволюционной Франции от наших современников.

Хотя у нас очень мало данных о книготорговле при старом режиме, ясно, что «Новая Элоиза» была, по всей видимости, главным бестселлером века. Спрос на нее настолько пре-

вышал предложение, что книгопродавцы, по свидетельству Л.С. Мерсье, ссужали ее для прочтения на несколько дней, а то и часов, по 20 су за том в час. До 1800 года было опубликовано по меньшей мере 70 изданий «Новой Элоизы»— навряд ли какой-нибудь роман мог в этом с нею соперничать. Да, наиболее искушенные литераторы, буквоеды и пуристы вроде Вольтера и Гримма, находили стиль книги напыщенным, а предмет тошнотворным, но обычные читатели из всех слоев общества были сражены наповал. Они рыдали, задыхались, восторгались, вглядывались в собственную жизнь и решали изменить ее к лучшему, изливали свою душу в слезах — и в письмах к Руссо, у которого собралась здоровенная пачка их свидетельств, сохраненных для потомства [60].

В письмах о «Новой Элоизе» повсюду слышатся рыдания: «слезы», «вздохи» и «мучения» молодого издателя Ш.-Ж. Панкука; «сладостные слезы» и «восторг» женевца Ж.-Л. Бюиссона; «слезы» и «сладостные излияния сердца» А.-Ж. Луазо де Молеона; «столь сладостные слезы» Шарлотты Бурстт из Парижа, что сама мысль о них заставляла ее плакать снова и снова; такое множество «сладких слез» Ж.-Ж.-П. Фромаже, что «на каждой странице душа моя таяла». Аббат Каань читал друзьям одни и те же пассажи по меньшей мере десять раз, неизменно трогая слушателей до слез: «Поневоле ловишь ртом воздух, поневоле бросаешь чтение, поневоле пишешь Вам, что тебя душат чувства и рыдания». Роман уложил Ж.-Ф. Бастида в постель и едва не довел до сумасшествия (так, по крайней мере, считал он сам), тогда как на Даниэля Рогена произвел прямо противоположное действие: отчаянные рыдания излечили того от жестокой простуды. Барон де Ла Сарра заявлял, что читать эту книгу можно только за закрытыми дверьми, чтобы слуги не мешали рыдать в свое удовольствие. Ж.В. Каппронье де Гофкур читал всего по нескольку страниц зараз: волноваться больше не позволяло слабое здоровье. Зато его друг, аббат Жак Пернетти, гордился тем, что благодаря отменной конституции одолел, несмотря на сердцебиение, все шесть книг без передышки. Маркиза де Полиньяк добралась до сцены смерти Юлии в шестой книге, но на этом месте сломалась: «Не смею сказать Вам, какое воздействие это на меня оказало. Нет, я уже не рыдала, меня терзала острая боль. Серд-

Могила Ж.Ж. Руссо. — Ил. в кн.: Lacroix P. XVIII-ème siècle: lettres, sciences et arts: France 1700 — 1789. — Paris, 1878

це мое было разбито. Умирающая Юлия вдруг стала близка мне. Я вообразила себя ее сестрой, ее подругой, ее Кларой. Муки мои были таковы, что, не отложи я книгу, я бы слегла, как те, кто находился при этой добродетельной женщине в ее последние минуты». На более низких ступенях социальной лестницы происходило то же самое: Шарлотта де Ла Тай выплакала всю душу от жалости к Юлии и неделю не могла прийти в себя. Луи Франсуа, армейский офицер в отставке, чувствуя, что конец героини близок, не смог продолжать чтение, хотя предыдущие книги мужественно одолел, глотая слезы:

> «Она свела меня с ума. Представьте, что было бы со мной при известии о ее смерти. Поверите ли, три дня не смел я прочесть последнее письмо от г-на де Вольмара к Сен-Пре. Я предвкушал впечатление от него, но не мог смириться с мыслью об умершей или умирающей Юлии. Как бы то ни было, в конце концов я превозмог себя. Никогда ранее не проливал я столь сладостных слез. Чтение так сильно повлияло на меня, что, думаю, я бы с радостью умер в этот возвышенный миг».

Старому вояке вторили читатели из всех слоев общества и из всех уголков континента. Обычно сдержанный швейцарский рецензент писал: «После чтения этой книги хочется умереть от наслаждения... или, скорее, жить, чтобы перечитывать ее снова и снова»[61].

То был не первый взрыв чувств в истории литературы. Волны рыданий уже шли по Англии от Ричардсона и по Германии от Лессинга. Руссо отличало от них то, что он внушал читателям непреодолимое желание прикоснуться к жизням, скрывающимся за печатной страницей, — жизням его персонажей и его собственной. Так, признавшись конфидентке, что выплакала всю душу над героями Руссо, г-жа де Полиньяк объясняла подруге, что побудило ее искать встречи с самим Руссо:

> «Вы знаете, что, пока он казался мне только философом, умницей, мне и в голову не приходило навязывать ему свое знакомство. Но возлюбленный Юлии, человек, любивший ее так, как она того заслуживала... о, это совсем другое дело. Первым моим порывом было велеть заложить лошадей и ехать в Монморанси, чтобы любой ценой добиться свидания с ним и сказать, насколько присущая ему нежность ставит его в моих глазах выше других мужчин, убедить показать мне портрет Юлии, рас-

целовать этот портрет, опуститься перед ним на колени и поклоняться божественной женщине, что оставалась образцом добродетели, даже лишившись оной»[62].

Как и предвидел в своих предисловиях Руссо, его читатели хотели верить, что Юлия, Сен-Пре, Клара и прочие существовали в действительности. Они видели в нем возлюбленного Юлии или, во всяком случае, того, кто испытал все чувства персонажей — иначе он не смог бы столь убедительно изобразить их. Поэтому они жаждали написать ему, послать собственные письма, уверить Руссо, что, при всей серости их существования, они тоже пережили нечто подобное, а сердца их откликались на его чувства — одним словом, что они все понимали.

Так корреспонденция Руссо стала логическим продолжением его эпистолярного романа. Посылая автору письма, читатели тем самым подтверждали, что его идеи дошли до них, что частичка его души через печатное слово проникла в их души. «Мне кажется, с Вами невозможно обмениваться мыслями, не проникаясь Вашим духом, — писал Луи Франсуа. — ...Едва ли я могу соперничать в добродетели с Юлией, но Сен-Пре просто заполонил мою душу. А Юлия мертва! После этого я вижу в природе лишь ужасающую пустоту. Вправе ли я сказать, что равного Вам на земле нет? Кто, кроме великого Руссо, может так потрясти своих читателей? Кто еще так владеет пером, чтобы вложить в них собственную душу?» Тот же порыв увлекал и относительно трезвомыслящих читателей вроде протестантского священника Поля-Клода Мульту:

> «Нет, сударь, я более не могу сохранять спокойствие. Вы потрясли мою душу. Она готова разорваться от полноты чувств и должна поделиться с Вами... О Юлия! О Сен-Пре! О Клара! О Эдуард! На какой планете обитают ваши души и как мне соединить с ними свою? Они — дети Вашего сердца, сударь, один Ваш разум не мог бы сделать их такими, как они есть. Откройте это сердце для меня, чтобы я мог созерцать живые образцы героев, чьи добродетели заставили меня проливать столь сладкие слезы»[63].

Следует, конечно, сделать скидку на сверхчувствительный стиль того времени, но многие из этих писем звучат искрен-

не. Некая г-жа Дю Верже из затерянного в провинции местечка написала Руссо только ради того, чтобы узнать, существовали ли его персонажи в действительности:

> «Многие из тех, кто прочитал Вашу книгу и обсуждал ее со мною, утверждают, что с Вашей стороны это просто ловкая выдумка. Я в это не верю. Будь они правы, как могло бы ошибочное толкование породить чувства, подобные тем, что ощущала я, читая Вашу книгу? Молю Вас, сударь, скажите: была ли на самом деле Юлия? Жив ли Сен-Пре? Где обитает он на этой земле? Клара, милая Клара, последовала ли она в могилу за своей сердечной подругой? Господин де Вольмар, милорд Эдуард, все эти люди, ужели они плод воображения, как пытаются меня уверить некоторые? Если это правда, значит, мы живем в мире, где добродетель — не более чем отвлеченное понятие? Быть может, Вы единственный счастливый смертный, знающий и исповедующий ее».

Но больше всего г-жа Дю Верже хотела лично познакомиться с Руссо: «Я бы не позволила себе подобных вольностей, не будь ваш образ мысли известен мне по Вашим трудам. Кроме того, скажу сразу, что, если Вы настроены покорять женщин, победа надо мной Вам вряд ли польстит»[64].

Мысль о соблазнении проходит через множество писем от обожательниц Жан-Жака. Кто мог лучше понять любовь, чем возлюбленный, или, во всяком случае, создатель, Юлии? Женщины вешались ему на шею в письмах и при паломничестве в его убежище в Монморанси. Мари-Анн Алиссан де Ла Тур изобразила из себя Юлию, а ее подруга Мари-Мадлен Бернардони приняла на себя роль Клары. Обе они обрушили на Руссо лавину столь искусно составленных писем, что вскоре он оказался Сен-Пре в длившейся несколько лет переписке[65]. Руссо впоследствии с некоторым удовлетворением отмечал в «Исповеди», что его роман, выражавший неприятие света (*le monde*), взволновал дам из высшего общества: «Литераторы разошлись во мнениях, но приговор света был единодушен; в особенности женщины сходили с ума от книги и от автора до такой степени, что даже и в высшем кругу немного нашлось бы таких, над которыми я, при желании, не одержал бы победу». Он повествует о некоей знатной даме, начавшей читать книгу после ужина, наряжаясь для бала. В полночь, все еще

читая, она приказала заложить лошадей. В два часа слуги напомнили ей, что карета ждет, но дама продолжала читать, и читала до четырех. У нее остановились часы, она справилась, который час, и решила отослать лошадей обратно в конюшню, лечь в постель и провести остаток ночи в упоительном общении с Сен-Пре, Юлией и Жан-Жаком[66].

Конечно, «Новая Элоиза» — рассказ о любви, но когда читатели Руссо пытались передать чувства, которые она в них всколыхнула, они говорили о любви к добродетели. «Мне бы хотелось крепко стиснуть Вас в объятиях, — писал мелкий налоговый служащий Жан-Жозеф-Пьер Фромаже. — ...Я должен, сударь, выразить свою признательность за наслаждение, которое Вы мне доставили, за все сладкие слезы, что исторгли из меня Сен-Пре, Юлия, г-жа Д'Этанж. Я бы с радостью стал любым из созданных Вами персонажей. На каждой странице душа моя таяла; о, как прекрасна добродетель!»[67]. К переписке с Руссо многих его читателей побуждала потребность исповедаться ему так же, как он, по их мнению, исповедовался им — в «Новой Элоизе» еще не прямо, через письма, а в «Исповеди» открыто, с душой нараспашку. Они стремились рассказать ему, что отождествляют себя с его героями, что и они любили, грешили, страдали и решились вновь стать добродетельными в порочном и глухом к их чувствам мире. Они верили в правдивость романа, ибо вычитывали его идеи из своих жизней.

Анонимный заграничный читатель объяснял, что ему когда-то пришлось оставить свою Юлию во Франции. Рыдая над «Новой Элоизой», он увидел перед собой собственную жизнь и испытал порыв «обнять Вас и тысячу раз поблагодарить за сладостные слезы, что Вы из меня исторгли». Некая молодая особа писала, что может примерить к себе персонажей Руссо, потому что они, в отличие от героев всех прочих читанных ею романов, не занимают определенного социального положения, а представляют скорее манеру мыслить и чувствовать, которую каждый может соотнести с собственной жизнью и тем стать добродетельнее. Один суровый женевец, не одобрявший романы как таковые, был, несмотря на свои принципы, увлечен «Новой Элоизой»: «Сознаюсь, все выраженные в

этих письмах чувства словно воплотились во мне при чтении, и я становился то Юлией, то Вольмаром, то Бомстоном, зачастую и Кларой, а вот Сен-Пре редко, разве что в первой книге». Панкук, едва отложив роман, взялся за перо, движимый потребностью высказаться, — хотя сказать ему, в общем-то, было нечего (его издательская деятельность только начиналась, и он еще и не мечтал взять на откуп всю торговлю трудами Вольтера):

> «Ваши божественные сочинения, сударь, — всепоглощающий огонь. Они проникли ко мне в душу, укрепили сердце, просветили разум, который долго витал в поисках истины, подверженный обманчивым мечтам бурной юности. Я искал счастья, а оно ускользало от меня... Труды некоторых современных авторов утвердили меня в моих заблуждениях, и в сердце своем я был уже законченным негодяем, хотя не сделал ничего постыдного. Нужно было божество, могущественное божество, чтобы оттащить меня от пропасти, и Вы, сударь, и есть божество, сотворившее это чудо. Чтение "Элоизы" довершило начатое другими Вашими книгами. Сколько слез пролил я над нею! Сколько было стенаний и мучений! Как часто прозревал я собственную вину! Прочтя Ваш благословенный труд, я сгораю от любви к добродетели, и сердце мое, которое я считал испепеленным, бьется сильнее прежнего. Я заново обрел способность чувствовать: любовь, сострадание, добродетель, сладостная дружба навсегда покорили мою душу»[68].

Читатели раз за разом твердили одно и то же: Жан-Жак открыл им смысл жизни. Они могли ошибаться, как Юлия и Сен-Пре, но они любили добродетель и теперь посвятят себя ей — не какой-нибудь абстрактной, а посконной добродетели, которую вплетут в ткань своей семейной жизни. М. Руссло, Б.Л. де Ланфан де ла Патриер, А.-Л. Лалив де Жюлли прочитали, разрыдались и решились изменить свою жизнь. Ф.-К. Констан де Ребек полюбила мужа, воображая его Сен-Пре, а себя Юлией. Ж.-Л. Ле Куэнт увидел в новом свете собственную семью: «Искренне преданный молодой жене, я, как и она, только от Вас узнал, что нас связывает не просто приязнь, основанная на привычке к совместной жизни, а самая что ни на есть нежная любовь. В свои двадцать восемь лет я отец четверых детей и буду следовать вашим урокам, дабы воспитать из них людей — но людей не того склада, что по-

стоянно видишь вокруг, а того, который воплотился в Вас одном» [69].

Не стоит отметать эти излияния как восторги обожателей, хотя сами письма от незнакомых поклонников были важным нововведением, частью культа писателя, который помогал создавать Руссо. Какими бы наивными и сентиментальными ни казались эти письма сегодня, они свидетельствуют, что двести лет назад красноречие Руссо было действенным. Поклонники читали его так, как он к тому призывал, и наслаждались ролью, предложенной им в предисловиях. «Воистину, сударь, не думаю, чтобы нашелся бы на земле более достойный Вас читатель, нежели я, — писал А.-Ж. Луазо де Молеон. — В Вашей книге нет ни одного описания, чувства, соображения или принципа, которые бы не соответствовали моей несчастной судьбе». Живописуя, как они отказались от критического настроя, отождествили себя с героями и отдались чувствам, читатели вольно или невольно перефразировали или прямо цитировали указания, данные им автором в тех же предисловиях. Некий поклонник уверял, что любовь Юлии не может быть вымыслом, иначе она не тронула бы его так глубоко, а «выдумкой» ее могут считать только бездушные светские снобы. Еще один читатель почти дословно воспроизвел нравоучительную аргументацию предисловий, заключив: «Я чувствую, что стал лучше, прочитав Ваш роман, который, надеюсь, и не роман вовсе». Третий высказался без обиняков: «Ваша книга произвела на меня воздействие, которое вы предвосхитили в своем предисловии» [70]. Потоки слез, высвобожденные «Новой Элоизой», не следует считать очередной волной предромантической сентиментальности. Они были ответом на новую риторическую ситуацию. Читатель и писатель общались за пределами печатного текста, принимая каждый предписанный книгой идеальный вид. Жан-Жак открывал душу тем, кто мог его правильно прочесть, а его читатели чувствовали, как возвышаются над серым прозябанием своей души. Соприкоснувшись с «Другом Жан-Жаком», они ощущали в себе силы вновь стать хозяевами собственной жизни в качестве супругов, родителей и граждан. То же произошло через несколько лет с Рансоном, начавшим читать Руссо.

* * *

Итак, Рансон не был отклонением от нормы. В его письмах Остервальду 1774–1785 годов мы видим, в диахронии, ту самую реакцию, которую письма, полученные Руссо в 1761-м, выразили синхронно. Оба измерения дополняют друг друга и заставляют предполагать, что руссоистское чтение было в предреволюционной Франции значимым феноменом. Насколько значимым — измерить невозможно, зато можно проверить, совместимо ли оно с господствующей в ученом мире (точнее говоря, единственной в зарождающейся науке об истории чтения) гипотезой, согласно которой в конце XVIII столетия в Европе произошла «революция в чтении» (*Leserevolution*).

«Революция в чтении» в том виде, в каком это понятие разработали Рольф Энгельзинг и другие немецкие ученые, делит эволюцию чтения на две фазы [71]. С эпохи Возрождения до середины XVIII века европейцы читали «интенсивно». Им было доступно весьма малое количество книг — Библия, духовная литература, изредка сборник баллад или календарь, — и они перечитывали их снова и снова, размышляя над ними или вслух делясь их содержанием с окружающими на семейных и общественных посиделках (*Spinnstube, veillée*). Во второй половине XVIII века образованные люди начали читать «экстенсивно». Они пролистывали огромное количество печатных изданий, особенно романов и газет, излюбленных жанров читательских клубов (*Lesegesellschaften, cabinets littéraires*), которыми были наводнены все крупные города, но читали любое произведение не больше одного раза, для развлечения, после чего тут же переходили к следующему.

Различение интенсивного и экстенсивного чтения — неплохой способ сравнить поведение читателей пять столетий назад и сегодня, но доказывает ли он, что поворотным пунктом в этом отношении была именно вторая половина XVIII века? Если случай Рансона был сколько-нибудь типичным, то нет. Да, Рансон читал много романов и газет, иногда с друзьями, что несколько напоминает тип общения в немецких *Lesegesellschaften*. Так, в письме Остервальду от 1774 года он замечает: «Норден, который читает со мной газеты, просил Вас больше не присылать ему их, поскольку моего экземпляра хватит нам обоим» [72]. Впрочем, такого рода чтение не ис-

ключает интенсивности, и спустя семь лет Рансон пишет, что урезает подписку на газеты, чтобы читать еще более вдумчиво: «Должен сказать, что завален периодическими изданиями, отнимающими время, которое следовало бы посвятить более серьезному чтению. Одним словом, вместо того чтобы увеличивать их количество, я делаю все, чтобы его сократить»[73]. Рансонов интерес к современным романам не означает, что он пренебрегал классиками или прочитал великих французских писателей наспех и всего один раз. Ему понравился Мерсье и его «Картины Парижа», хотя, писал Рансон, «я не могу ему простить того, что он сказал о Расине, божественном поэте, всякий раз покоряющем меня заново»[74]. Трудно найти читателя вдумчивее Рансона, а чем больше он читал, тем интенсивнее становилось его чтение. Если его пример что-то и иллюстрирует, то исключительно «революцию в чтении» наоборот.

О том, что Рансонова манера читать не противоречила господствующим тенденциям того времени, можно судить по немецкому аналогу книги Виара, учебнику чтения Иоганна Адама Берка (Johann Adam Bergk, *Die Kunst Bücher zu lesen*, Jena, 1799), который не мог не стать воплощением *Leserevolution*, если бы таковая имела место. В отличие от Виара, Берк не останавливается на проблемах произношения, а выдвигает разработанную концепцию «искусства чтения». Начинает он с советов чисто практического свойства. Не следует читать стоя или после еды. Куда лучше умыться холодной водой и выйти с книгой на свежий воздух, где ее можно почитать на лоне природы — и притом вслух, ибо голос способствует усвоению идей. Но самое главное — правильное расположение духа. Вместо того чтобы пассивно реагировать на текст, нужно кидаться в него очертя голову, ловить его смысл и применять к собственной жизни. «Мы должны соотносить все, что читаем, со своим "я", размышлять обо всем с нашей личной точки зрения и никогда не терять из виду то, что учение делает нас свободнее и независимее и должно помочь нам излить свое сердце и разум»[75]. Эту концепцию чтения Берк приписывал Жан-Жаку Руссо. Последнему Берк посвятил ключевую главу своего труда, на титульный лист которого была вынесена столь много значившая для читателей вроде Рансона цитата из «Новой Элоизы»: «Читать не много, но много

размышлять о прочитанном, или, что одно и то же, подолгу беседовать друг с другом — вот средство, помогающее лучше усвоить знания»*[76]. Такое представление вполне совместимо с виаровским упором на чтение как нравственную подготовку к жизни. На самом деле то чтение, которое описывали учебники, то, к которому призывал Руссо, и то, которому отдавался Рансон, были в основе своей одинаковы, но к «экстенсивному» чтению Энгелзинговой революции отношения не имели.

Короче говоря, сдается мне, что такой революции не было. Тем не менее в конце XVIII века в восприятии читателями текстов что-то изменилось. Сколько было этих читателей? Сколько текстов? На количественные вопросы у нас ответов нет, можно только утверждать, что к концу «старого режима» качество чтения среди широкой, но неисчисляемой публики изменилось. Хотя дорогу переменам пролагали многие писатели, главную роль в этом я отвожу руссоизму. Руссо учил читателей столь тщательно «переваривать» книги, что литература оказалась поглощена жизнью. Руссоистские читатели, погружаясь с головой в текст, влюблялись, женились и воспитывали детей. Разумеется, не они первые столь живо реагировали на книги. Манера чтения самого Руссо выдает влияние глубокой личностной религиозности, объясняющейся наследием кальвинизма. Его аудитория, видимо, применила ту же старую манеру религиозного чтения к новому материалу, прежде всего к роману, ранее казавшемуся несовместимым с нею. Возможно, искорка этого духа сквозит и в реакции читателей на Ницше или Камю, или даже на современную популярную психологию, но искать параллели руссоистскому чтению в иных веках значит сглаживать его специфику и смазывать его значение. Рансон и его современники принадлежали к особой породе читателей, появившейся в XVIII столетии и начавшей вымирать в век госпожи Бовари. Руссоистские читатели предреволюционной Франции ныряли в текст с пылом, который мы едва можем представить, ибо он так же чужд нам, как норманнская страсть к разбоям... или балийский страх перед духами.

---

* Письмо XII.

[Крестьяне]. — Ил. в кн.: Causes amusantes et connues. — Berlin, 1769

Если бы мне пришлось искать этому виду чтения место на общей шкале, я бы поместил его между чтением конца XVII века, призванным нравиться (*plaire*), и чтением конца XIX века, призванным развлекать (*distraire*). Впрочем, и эта схема чересчур упрощена. В ней нет места тем, кто читает, дабы вознестись на небеса, познать законы природы, улучшить свои манеры или, в конце концов, починить радиоприемник. Чтение обрело слишком много форм и перестало следовать по единому пути развития, но его руссоистская разновидность должна быть признана особым историческим феноменом, который не стоит смешивать с чтением нашего времени, ибо духовный мир, в котором жили читатели дореволюционной Франции, сегодня едва ли представим.

Необходимость представить себе непредставимое и уловить различие в том, как люди конструировали мир, возвращает нас к Жану Рансону. Я все-таки должен признать, что считаю его пример показательным: не потому, что он соответствует какой-либо статистической модели, а потому, что он был именно тем «другим», к которому обращены сочинения Руссо. В нем воплотился и предусмотренный текстом идеальный читатель, и реальный покупатель книг, а то, как он совмещал эти роли, свидетельствует о том, насколько действенной оказалась руссоистская риторика. Наложив на повседневную жизнь Рансона свое видение мира, Руссо показал, что может прикоснуться к любой жизни, а Рансон, впитав тексты так, как учил его Руссо, продемонстрировал возникновение новых отношений между читателем и печатным словом. Преображенный читателем и писателем способ общения вышел далеко за рамки литературы и оставил свой след в нескольких поколениях революционеров и романтиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Книги, заказанные Рансоном 1775–1785

В нижеследующий список внесены все книги, заказанные Рансоном в ТТН с 1775 по 1785 год. Поскольку он писал сокращенно, все названия вместе с прочей библиографической

информацией (включая формат для многотомных изданий) сверены с различными библиографиями литературы XVIII века. Выяснить, какие именно издания получал Рансон, невозможно, поэтому приводятся годы публикации, максимально близкие по времени к Рансоновым заказам. Какие издания были в наличии, я определял прежде всего по каталогам ТТН, регулярно высылавшимся в Ларошель. В дополнение к издательской деятельности ТТН вело крупномасштабную оптовую книготорговлю — в каталоге 1785 года перечислено 800 названий — и выписывало отсутствовавшие на складе книги из других швейцарских издательств, так что Рансон мог получить от своего поставщика в Невшателе практически любую новую книгу. Кроме того, не следует забывать, что книги поступали к нему и из других источников, особенно от ларошельского книгопродавца Гийома Пави, поэтому приводимый ниже список имеет некоторый крен в сторону швейцарских изданий и дает лишь общее представление о круге чтения Рансона, не будучи исчерпывающим каталогом его библиотеки.

В названиях сохранена орфография оригиналов и приведенные на титульных листах места издания. Три книги мне идентифицировать не удалось.

I. Религия (12 названий)

Священное Писание, молитвенные книги

La Sainte Bible, qui contient le vieux & le nouveau Testament, revue à corrigée sur le texte hébreu & grec, par les pasteurs à professeurs de l'église de Génève, avec les arguments & les réflexions sur les chapitres de l'Ecriture-sainte, & des notes, par J.F. Ostervald (Neuchâtel, 1779), 2 vols. in-folio.

Les psaumes de David, mis en vers françois, avec les cantiques pour les principales solemnités (Vévey, 1778).

Abrégé de l'histoire-sainte & du catéchisme d'Ostervald (Neuchâtel, 1784).

Recueil de prières, précédé d'un traité de la prière, avec l'explication et la paraphrase de l'Oraison dominicale (Celle, 1762), par J.-E. Roques.

La nourriture de l'âme, ou recueil de prières pour tous les jours de la semaine, pour les principales fêtes de l'année & sur les différents sujets intéressans (Neuchâtel, 1785), par J.F. Ostervald.

Morale évangélique, ou discours sur le sermon de N.S.J.C. sur la montagne (Neuchâtel, 1776), 7 vols. in–8°, par J.-E. Bertrand.

Проповеди

Année évangélique, ou sermons pour tous les dimanches & fêtes de l'année (Lausanne, 1780), 7 vols. in–8°, par J.-F. Durand.

Sermons sur les dogmes fondamentaux de la religion naturelle (Neuchâtel, 1783), par H.-D. Chaillet.

Sermons sur différens textes de l'Ecriture-sainte (Neuchâtel, 1779), 2 vols., in–8°, par J.-E. Bertrand.

Sermons de Jean Perdriau [выходные данные не установлены].

Sermons sur divers textes de l'Ecriture-sainte (Genève, 1780), 2 vols. in–8°, par J. E. Romilly.

II. История, путешествия, география (4 названия)

Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes (Genève, 1780), 4 vols. in–4°, par G.-T. Raynal.

Voyage en Sicile et & Malte, traduit de l'anglois de M. Brydone, par M. Démeunier (Londres, 1776), 2 vols. in–8°, par Patrick Brydone.

Voyage historique à littéraire dans la Suisse occidentale (Neuchâtel, 1781), 2 vols. in–8°, par J.-R. Sinner.

Description des montagnes & des vallées qui font partie de la principauté de Neuchâtel à Valengin (Neuchâtel, 1766), par F.-S. Ostervald.

[*Abrégé élémentaire de l'histoire universelle et Cours de géographie élémentaire*: см. в разделе «Детские книги»].

III. Беллетристика (14 названий)

Сочинения

Oeuvres de Molière (Rouen, 1779), 8 vols. in–12.

Oeuvres de M. La Harpe (Paris, 1778), 6 vols. in–8°.

Oeuvres de Crébillon père (Paris, 1774), 3 vols. in–12.

Oeuvres complètes d'Alexis Piron (Neuchâtel, 1777), 7 vols. in–8°.

Oeuvres de J.-J. Rousseau (Neuchâtel, 1775), 11 vols. in–8°.

Oeuvres de J.-J. Rousseau (Genève, 1782), 31 vols. in–12.

Oeuvres posthumes de J.-J. Rousseau, ou recueil de pièces manuscrites pour servir de supplement aux éditions publiées pendant sa vie (Neuchâtel et Genève, 1782–83), 12 vols. in–8°.

Романы

Histoire de François Wills ou le triomphe de la bienfaisance (Neuchâtel, 1774), par S. J. Pratt.

Le paysan perverti, ou les dangers de la ville, histoire récente mise au jour d'après les véritables lettres des personnages (La Haye, 1776), 4 vols. in–12, par N.-E. Restif de la Bretonne.

Adèle et Théodore ou lettres sur l'éducation, contenant tous les principes relatifs aux trois différens plans d'éducation des princes, des jeunes personnes, à des hommes (Paris, 1782), par S.-F. Ducrest de Saint-Aubin, marquise de Sillery, comtesse de Genlis.

Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche (Lyon, 1781), 6 vols. in–12, par Miguel de Cervantes y Saavedra.

Прочее

Théâtre de société (Neuchâtel, 1781), 2 vols. in–8°, par Mme de Genlis.

L'an deux mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut jamais (Londres, 1775), par L.-S. Mercier.

Mon bonnet de nuit (Neuchâtel, 1784), 2 vols. in–8°, par L.-S. Mercier.

IV. Медицина (2 названия)

Soins faciles pour la propreté de la bouche & pour la conservation des dents, par M. Bourdet, dentiste, suivi de l'art de soigner les pieds (Lausanne, 1782), par Bernard Bourdet.

Avis, contenant la manière de préparer une remède contre la rage, publié à Berlin par ordre du Roi de Prusse [выходные данные не установлены].

V. Детские книги, педагогика (18 названий)

Развлечения

Théâtre d'éducation, à l'usage des jeunes personnes (Paris, 1785), par Mme de Genlis.

Nouveaux contes moraux (Lyon, 1776), 2 vols. in–12, par Marie Leprince de Beaumont.

L'ami des enfants (Lausanne, 1783), 5 vols. in–12, par Arnaud Berquin.

Fables de La Fontaine (Paris, 1779), par Jean de La Fontaine.

Les hochets moraux, ou contes pour la première enfance (Paris, 1784), 2 vols. in–12, par Monget.

Les jeux d'enfans, poème tiré du hollandois (Neuchâtel, 1781), par A.-A.-J. Feutry.

Lectures pour les enfans, ou choix de petits contes également propres à les amuser à à leur faire aimer la vertu (Genève, 1780), без указания автора.

Magasin des enfans, par Mad. le Prince de Beaumont, suivi des conversations entre la jeune Emilie & sa mère (Neuchâtel, 1780), 2 vols. in–12, par Marie Leprince de Beaumont.

Conversations d'Emilie, ou entretiens instructifs & amusans d'une mère sa fille (Lausanne, 1784), 2 vols. in–12, par L.-F.-P. Tardieu d'Esclavelles, marquise d'Epinay.

Entretiens, drames, et contes moraux à l'usage des enfans (La Haye, 1778), par M.-E. Bouée de Lafite.

Обучение

Annales de la vertu, ou cours d'histoire à l'usage des jeunes personnes (Paris, 1781), 2 vols. in–8°, par Mme de Genlis.

Cours de géographie élémentaire, par demandes & réponses (Neuchâtel, 1783), par F.-S. Ostervald.

Les vrais principes de la lecture, de l'orthographe et de la prononciation françoise, suivis d'un petit traité de la ponctuation, des premiers élémens de la grammaire et de la prosodie françoise et de différentes pièces de lecture propres à donner des notions simples & faciles sur toutes les parties de nos connoissances (Paris, 1763), par N.-A. Viard.

Abrégé élémentaire de l'histoire universelle destiné à l'usage de la jeunesse (s.l., 1771), par Mathurin Veyssière de Lacroze et J.-H.-S. Formey.

Педагогика, нравственное воспитание

Legs d'un père à ses filles (Lausanne, 1775), par John Gregory.

Dissertation sur l'éducation physique des enfants (Paris, 1762), par J. Ballexerd.

Education morale, ou réponse à cette question comment doit-on gouverner l'esprit et le coeur d'un enfant, pour le faire parvenir un jour à l'état d'homme heureux et utile (1770), par J.-A. Comparet.

Instructions d'un père à ses enfans sur le principe de la vertu à du bonheur (Genève, 1783), par Abraham Trembley.

VI. Прочее (9 названий)

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts & des métiers (Genève et Neuchâtel, 1778–79), 36 vols. du texte et 3 vols. des planches in–4°.

Le socrate rustique, ou description de la conduite économique et morale d'un paysan philosophe (Lausanne, 1777), par Hans Caspar Hirzel.

Le messager boiteux (Berne, 1777).

Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la republique des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours (Londres, 1777–83), 21 vols. in–12, приписывается Луи Пети де Башомону и другим.

Relation ou notices des derniers jours de M. J.-J. Rousseau, circonstances de sa mort et quels sont les ouvrages posthumes qu'on peut attendre de lui (Londres, 1778), par A.-G. Le Bègue de Presles et J.-H. Magellan.

Discours sur l'économie politique (Genève, 1785), par Jean-Jacques Rousseau.

Lettres de feu M. de Haller contre M. de Voltaire (Berne, 1778), par Albrecht von Haller.

Tableau de Paris (Neuchâtel, 1783), 8 vols. in–8°, par L.-S. Mercier.

Portraits des rois de France (Neuchâtel, 1784), 4 vols. in–8°, par L.-S. Mercier.

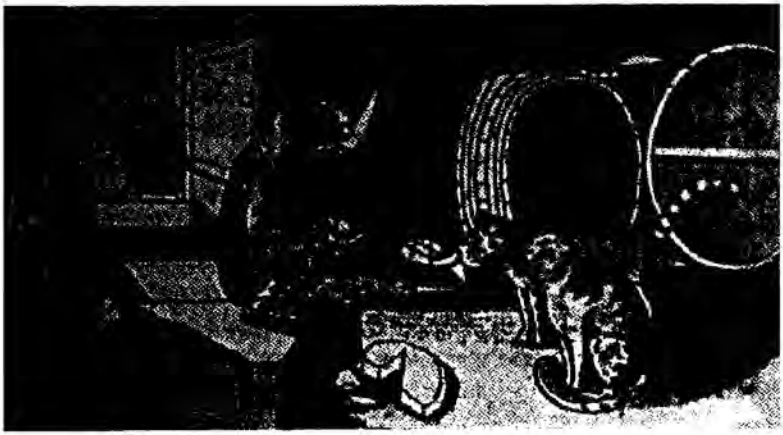
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕГЛО ОСТАНОВИВШИСЬ на культуре XVIII века, можем ли мы теперь сделать какие-либо выводы об истории ментальностей? Это течение исторической мысли остается неясным, хотя французы постарались снабдить его пролегоменами и рассуждениями о методе. Наиболее четко их программные заявления выражены в статье Пьера Шоню «Новое поле деятельности для статистической истории: Подсчеты на третьем уровне» (Pierre Chaunu «Un nouveau champ pour l'histoire sérielle: Le quantitatif au troisième niveau»). Шоню формулирует ряд положений, которые молчаливо принимаются едва ли не всей французской историографией последнего времени, объединяют марксистов и ревизионистов, определяют содержание лучших докторских диссертаций и отражаются в названии наиболее влиятельного во Франции исторического журнала — «Annales: économies, sociétés, civilisations», т.е. «Анналы: Экономика, общества, цивилизации». Эти положения включают в себя, в частности, мысль о том, что в прошлом можно выделять разные уровни, что третий уровень (культура) является производным от двух первых (экономики и демографии, а также структуры общества) и что в явлениях третьего уровня можно разбираться точно так же, как в феноменах нижних уровней (т.е. с помощью статистических исследований, через понимание того, как видоизменяется структура общества под влиянием обстоятельств, и с учетом не столько событий, сколько долговременной эволюции). Это историографическое направление, не слишком точно именуемое «школой "Анналов"», оказало

огромное воздействие на наше понимание истории — как мне кажется, наибольшее воздействие из всех направлений, существовавших с начала XX века. Однако все три идеи — в особенности третья — представляются мне сомнительными [1].

Французы пытаются измерять отношения через подсчеты — они считают литургии, отслуженные по покойникам, картины с изображением чистилища, новые книги, речи, произнесенные в стенах академий, предметы мебели в описях имущества, преступления в картотеках полиций, упоминания Девы Марии в завещаниях, а также фунты воска, сожженного в свечах перед изображениями святых — покровителей храмов. Цифры могут завораживать, особенно если они вышли из-под мастерской руки Мишеля Вовеля или Даниэля Роша, но это не более чем вычлененные самим историком внешние признаки, которые можно интерпретировать самыми разными способами. Вовель видит в снижении числа литургий, отслуженных по душам в чистилище, дехристианизацию, тогда как Филипп Арьес усматривает в этом становление новой духовности, более глубокой и более устремленной в себя. Если у левых атеистов (Вовеля, Роша, Роже Шартье) статистические кривые указывают на *embourgeoisement* (обуржуазивание) картины мира, то религиозным правым (Арьесу, Шоню, Бернару Плонжерону) они открывают новые формы семейно-родственной привязанности и любви к ближнему. Похоже, объединяет тех и других только изречение Эрнеста Лабрусса: «Все вытекает из кривой». По Шоню, работа Лабрусса олицетворяет высшую ступень «рассуждения о методе» в современной французской историографии, однако культурные феномены она искажает. В отличие от ценового ряда в экономике, от статистики естественного движения населения в демографии и (что более проблематично) от профессиональных категорий в социальной истории, объекты культуры создает не сам историк, но люди, которых он изучает. Смысл исходит от них, и его нужно вычитывать, а не подсчитывать. Резво взяв когда-то с места, история *mentalités* во Франции, кажется, утрачивает свои позиции. Если я прав, это может объясняться чрезмерным пристрастием к количественному выражению культуры и недооценкой символического элемента в общественных отношениях [*].

Французские рецепты с их скрытыми отсылками к марксизму и структурализму никогда не пользовались особой популярностью среди народов, объединяемых во Франции названием англосаксов, но и в нашей традиции с культурной историей не все гладко. Посмотрите, сколько книг начинается описанием социального фона, а заканчивается культурой. Эта тенденция проходит через всю серию «Рождение современной Европы» («The Rise of Modern Europe») под редакцией Уильяма Лангера, виднейшего американского историка своего поколения, и особенно наглядно проявляется в томе, написанном им самим. Она правомерна как способ изложения, и то лишь потому, что мы молчаливо признаем: главное — передать общественные условия, а уж за истолкованием культуры дело не станет. Самой структурой нашей работы подразумевается, что культура вытекает из общественного строя. Допустим, однако каким образом это происходит? Этот вопрос настоятельно требует ответа, а о нем склонны забывать. Не разрешив его, мы рискуем впасть в наивный функционализм. Кит Томас начинает свой авторитетный труд «Религия и упадок магии» («Religion and the Decline of Magic») с главы о тяжелых и нестабильных условиях жизни в XVI—XVII веках, когда процветала черная магия, и заканчивает главой об их улучшении в XVIII веке, когда колдовство отмирает. Тем самым он дает понять, что народные верования определяются социальными условиями. Однако этот простой, как правда, вывод Томаса не устроил, и он пошел на попятный. То был мудрый шаг, ибо такой вывод неизбежно привел бы его к упрощенному взгляду на формирование мировоззренческих установок (типа «раздражитель—реакция») и даже противоречил бы хронологии. Между 1650 и 1750 годами жизнь в английских деревнях кардинально не улучшилась. Более того, как показал в своем исследовании семейной жизни в Англии Лоренс Стоун, видение мира часто менялось в периоды относительной стабильности и оставалось стабильным во время всякого рода катаклизмов. Филипп Арьес обнаружил ту же тенденцию во Франции, и даже Мишель Вовель в конце своего монументального труда «Барочное благочестие и дехристианизация» («Piété baroque et déchristianisation») сознался,



[Кошки и обезьяна]. — Ил. в кн .: Petite galerie de gravures à l'usage des jeunes gens... — Berlin, 1794

крестьянства нам просто не найти. Рискуя вызвать отповедь в духе Ранке, скажу даже, что к этому виду истории культуры неприменимы требования, обычные в истории международных отношений и политической истории. Мировоззрение не добыть с помощью привычных доказательств. Оно размыто и выскальзывает из рук, словно рыбешка.

Уходя от неуместного позитивизма, важно не впасть в противоположную крайность и не вообразить, что в антропологической истории все дозволено. Неверно истолковать культуру так же просто, как допустить ошибку в речи. Данных о мировоззрении хватает, нужно только уметь добраться до них не наитием, а корпением над источниками. В применении к исторической фольклористике мы можем изучить все версии некоей сказки в некоей традиции и сопоставить их со сказками других традиций. Возможно, нам и не удастся продвинуться дальше общих соображений о стиле культуры (да и то я боюсь, что мои обобщения покажутся чересчур субъективными), но мы непременно почувствуем инаковость иных культур.

Лучший способ соприкоснуться с другой культурой — поискать в ней «темные» места. Как я пытался показать на примере кошачьего побоища на улице Сен-Севрен, самое загадочное может оказаться и самым многообещающим, нечто совершенно невообразимое — ключом к чужой ментальности. Раз пробившись к точке зрения туземца, мы получаем возможность изучать мир его символов изнутри. Разобраться, в чем соль отнюдь не смешной шутки вроде ритуального убийства кошек, значит сделать первый шаг к постижению культуры.

Вот тут и встает перед нами проблема репрезентативности. Не произволен ли выбор материала, и не берем ли мы на себя слишком большую смелость, основывая на нем свои обобщения? Как я могу быть уверен, что нащупал чувствительную точку всей культуры, а не характерные черты отдельной личности, будь то склонность к буйству особо жестокого печатника или навязчивые идеи особо словоохотливого жителя Монпелье? Должен признаться, что подобные вопросы задевают меня за живое, и хочется заранее от них отмахнуться. Итак, оговорюсь сразу: я никоим образом не претендую на то, что изобразил типичного крестьянина, ремесленника, буржуа,

чиновника, философа-просветителя или романтика. В отличие от частей академического трактата, главы моей книги взаимосвязаны, но не взаимозависимы. Они имеют форму эссе, поскольку я хотел лишь выдвинуть некоторые идеи и испробовать некоторые способы интерпретации культуры. Я старался писать непринужденно и не скрывая собственного мнения, хотя рисковал показаться самонадеянным и злоупотребить первым лицом единственного числа — формой, которой я обычно избегаю.

При всем том признаюсь, что не вижу способа четко разграничить личность и средства выражения. Могу лишь подчеркнуть, насколько важно переходить от текста к контексту и обратно. Вероятно, это трудно назвать сколько-нибудь полноценной методикой, но у нее есть свои преимущества. Не сглаживая индивидуальности и самобытности, она учитывает и общий исторический опыт. Мне кажется невозможным следовать в обратном порядке: сначала описывать язык, а затем объяснять конкретные выражения в речи индивидуума. Мы никогда не сталкиваемся с языком в чистом виде, мы занимаемся интерпретацией текстов. Но в документах, оставленных нам иными культурами, должна выражаться их грамматика, и мы обязаны научиться извлекать ее. Возможно, другим исследователям удастся добыть из их недр то, что не удалось мне.

Тем не менее сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сумел дать окончательные ответы на все вопросы. Вопросы постоянно меняются, ход истории неостановим. Нам не суждено поставить точку или сказать последнее слово; но если бы такое было возможно, следовало бы предоставить это слово Марку Блоку, который знал, что, отправляясь в прошлое, историки стремятся наладить связь с исчезнувшими поколениями. Ученого, будь то мастер или подмастерье, должно вести чутье. «Настоящий [...] историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча»*[5].

---

* Пер. Е.М. Лысенко. Цит. по изд.: *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 18.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА 1

1. Как данный текст, так и другие французские сказки, о которых пойдет речь в этой главе, взяты из книги: Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze, *Le conte populaire français* (Paris, 1976), 3 vols. Это лучшая антология французских народных сказок, поскольку в ней перечисляются все записанные варианты каждой сказки, а также приводятся сведения о том, когда и при каких обстоятельствах они были собраны из устных источников. Деларю и Тенез также располагают сказки по типам в соответствии с общепринятой классификацией Аарне–Томпсона, давая возможность исследователям сравнивать их со сказками тех же типов в фольклоре других народов. См.: Aanti Aarne and Stith Thompson, *The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography* (2nd rev. ed.; Helsinki, 1973). Ниже я в каждом случае отсылаю к номерам сюжетов по Аарне–Томпсону, что позволяет в случае необходимости легко находить тексты у Деларю–Тенез. Данная сказка относится к AT 333 («Обжора»), и Деларю–Тенез рассматривают 35 вариантов (*Le conte*, I, 373–381). Я выбрал для перевода наиболее распространенную ее версию. Более подробно о народных сказках как историческом источнике см. в: Stith Thompson, *The Folktale* (Berkeley and Los Angeles, 1977; 1st ed. 1946), а также примеч. 7 и 8 к данной главе.

2. Erich Fromm, *The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths* (New York, 1951), цит. с. 240.

3. Об источниках «Красной Шапочки» и ее распространении см.: Johannes Bolte und Georg Polivka, *Anmerkungen zu Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm*, 5 Bde. (Leipzig, 1913–1932), I, 234–237, а также IV, 431–434. Из более поздних работ см.: Wilhelm Schoof, *Zur Entstehungsgeschichte der Grimmschen Märchen* (Hamburg, 1959), S. 59–61, 74–77. Мое толкование имеющихся сведений подкрепляет мнения, которые высказываются в следующих работах: H. V. Velten, «The Influence of Charles Perrault's *Contes de ma mère l'Oie*», *The Germanic Review* V (1930), 4–18, и Paul Delarue, «Les contes merveilleux de

Perrault et la tradition populaire», *Bulletin folklorique d'Ile-de-France* (новая серия, июль-октябрь 1951), pp. 221–228, 251–260. Братья Гримм опубликовали и второй вариант сказки, с концовкой, напоминающей «Три поросенка» (AT 124). Эту сказку рассказала им Доротея Вильд, будущая жена Вильгельма Гримма, а та, в свою очередь, узнала ее от своей служанки, *die alte Marie* (старой Марии), которую Шооф идентифицировал как Марию Мюллер, вдову кузнеца, убитого во время американской Войны за независимость: Schoof, *Zur Entstehungsgeschichte*, S. 59–61. Хотя братья Гримм старались как можно точнее записывать все рассказываемые им сказки, они перерабатывали тексты, значительно изменяя их от издания к изданию. О том, как они переписывали «Красную Шапочку», см.: Bolte und Polivka, *Anmerkungen*, IV, 455.

4. Bruno Bettelheim, *The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales* (New York, 1977), pp. 166–183.

5. В интерпретации сказок Беттельгеймом можно выделить четыре неверных тезиса: что сказки обычно предназначались детям (ibid., p. 15), что у них непременно должен быть счастливый конец (ibid., p. 37), что они «вневременны» (ibid., p. 97) и что их варианты, известные современному американцу, можно рассматривать в применении к «любому обществу» (ibid., p. 5). Критикуя психоаналитическое прочтение народных сказок, я вовсе не хочу сказать, что в сказках не присутствует каких-либо подсознательных или иррациональных элементов. Я лишь возражаю против анахронистического и упрощенческого использования идей Фрейда. См. также интерпретации других сказок, таких, как «Король-лягушонок» (фаллическая фантазия), «Аладдин» (фантазия, связанная с мастурбацией), «Джек и бобовый стебель» (фантазия, связанная с эдиповым комплексом, хотя остается не совсем ясным, кто оказывается кастрирован, когда Джек подрубает стебель, — отец или сын) в: Ernest Jones, «Psychoanalysis and Folklore» and William H. Desmonde, «Jack and the Beanstalk» in *The Study of Folklore*, ed. Alan Dundes (Englewood Cliffs, 1965), pp. 88–102 and 107–109, а также в: Sigmund Freud and D.E. Oppenheim, *Dreams in Folklore* (New York, 1958).

6. Интерес одновременно к лингвистике, способам повествования и культурному контексту проявляется в следующих работах: Melville Herskovits and Frances Herskovits, *Dahomean Narrative: A Cross-Cultural Analysis* (Evanston, Ill., 1958); Linda Dégh, *Folktales and Society: Story-Telling in a Hungarian Peasant Community* (Bloomington, Ind., 1969); *The Social Use of Metaphor: Essays on the Anthropology of Rhetoric*, ed. J. David Sapir and J. Christopher Crocker (Philadelphia, 1977); and Keith H. Basso, *Portraits of «the Whiteman»: Linguistic Play and Cultural*

Symbols among the Western Apache (New York, 1979). Образцом исследования устного повествования в более не существующей фольклорной традиции может служить: Dell H. Hymes, «The 'Wife' Who 'Goes Out' Like a Man: Reinterpretation of a Clackamas Chinook Myth,» in *Structural Analysis of Oral Tradition*, ed. Pierre Maranda and Elli Köngäs Maranda (Philadelphia, 1971).

7. См.: Aarne and Thompson, *Types of the Folktale*; Thompson, *Folktale*; and Vladimir Propp, *Morphology of the Folktale* (Austin, 1968) [Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969 и др. издания] *. Аарне и Томпсон использовали предложенную Каарле Кроном «историко-географическую», или «финскую» методику, на основе которой сделали обзор сказок разных стран мира и создали их классификацию. Другие ученые, работавшие в том же ключе, выпустили монографии по отдельным сказкам или сказочным циклам, например: Marian R. Cox, *Cinderella: Three Hundred and Forty-Five Variants* (London, 1893) и Kurt Ranke, *Die Zwei Brüder: eine Studie zur Vergleichenden Märchenforschung*, FF (Folklore Fellows) Communications No. 114 (Helsinki, 1934). И все же наиболее значительным трудом по европейским народным сказкам остается пятитомник Болте и Поливки (*Anmerkungen*). Более поздние исследования, особенно в США, чаще всего посвящены лингвистическим и этнографическим аспектам сказок, соотнесению их с другими видами фольклора, а также анализу скорее исполнительского мастерства сказителей, чем самих произведений как письменных текстов. См.: Dundes, *Study of Folklore*; Alan Dundes, *Interpreting Folklore* (Bloomington, Ind., 1980); Richard M. Dorson, *Folklore: Selected Essays* (Bloomington, Ind., 1972); and *Toward New Perspectives in Folklore*, ed. Américo Paredes and Richard Bauman (Austin, 1972).

8. Эти сведения заимствованы из предисловия Поля Деларю к *Le Conte*, I, 7–99, где дается наилучший обзор фольклорных исследований во Франции и приводится весьма подробная библиография. Помимо антологии Деларю и Тенез, к наиболее ценным сборникам следует отнести: Emmanuel Cosquin, *Contes populaires de Lorraine* (Paris, 1886), 2 vols.; Paul Sébillot, *Contes populaires de la Haute Bretagne* (Paris, 1880–1882), 3 vols.; и J. F. Bladé, *Contes populaires de la Gascogne* (Paris, 1886), 3 vols. Тексты и анализ отдельных сказок появлялись также в журналах по французскому фольклору, в частности, в *Arts et traditions populaires*, *Mélusine* и *Bulletin folklorique d'Ile-de-France*. Я пользовался всеми этими источниками, однако в основном опирался на книгу Деларю и Тенез.

9. Delarue, «Les contes merveilleux de Perrault».

---

* Здесь и далее заключенные в квадратные скобки сведения о переводах на русский язык добавлены переводчиками.

10. Термин «фольклор» был предложен Уильямом Томзом в 1846 году, за 20 лет до того, как Эдуард Тайлор ввел в обиход англоязычных антропологов сходный термин «культура». См. Thoms, «Folklore» and William R. Bascom, «Folklore and Anthropology» in Dundes, *Study of Folklore*, pp. 4–6 and 25–33.

11. Noël du Fail, *Propos rustiques de Maistre Leon Ladulfi Champenois*, ch. 5, in *Conteurs français du XVIe siècle*, éd. Pierre Jourda (Paris, 1956), pp. 620–621.

12. Французский фольклор можно подвергать и структуралистскому или формальному анализу, как это делают Клод Леви-Строс и Владимир Пропп. Я испробовал их методы на нескольких сказках, но потом предпочел более свободное изучение их строя, о чем рассказано в заключительной части данной главы. Успешно применяется структуралистский анализ к сказкам, доступным лишь на основе письменных источников, например, в: Hymes, «The 'Wife' Who 'Goes Out' Like a Man».

13. Albert B. Lord, *The Singer of Tales* (Cambridge, Mass., 1960).

14. Пропп, «Морфология сказки».

15. Это замечание Лоуи цитируется в: Richard Dorson, «The Debate over the Trustworthiness of Oral Tradition History» in Dorson, *Folklore: Selected Essays*, p. 202.

16. О различных аспектах историчности и преемственности в устном повествовании см.: Dorson, «The Debate over the Trustworthiness of Oral Tradition History»; Robert Lowie, «Some Cases of Repeated Reproduction» in Dundes, *Study of Folklore*, pp. 259–264; Jan Vansina, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology* (Chicago, 1965); and Herbert T. Hoover, «Oral History in the United States,» in *The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States*, ed. Michael Kammen (Itacha and London, 1980), pp. 391–407.

17. Frank Hamilton Cushing, *Zuñi Folk Tales* (New York and London), 1901, pp. 411–422. Хотя Кушинг был одним из первых ученых, освоивших язык зуньи, к его переводам следует относиться с некоторой осторожностью: в них зачастую привнесена викторианская набожность. См.: Dennis Tedlock, «On the Translation of Style in Oral Narrative,» in *Toward New Perspectives in Folklore*, pp. 115–118.

18. Jack Goody, *The Domestication of the Savage Mind* (Cambridge, 1977). См. также его книгу *Literacy in Traditional Societies* (Cambridge, 1968). Утверждая, что он не сторонник теории «крупных рубежей», Гуди тем не менее отделяет общества, которые уже обрели письменность, от других, которые остаются бесписьменными. Большинство фольклористов и антропологов отвергают такую дихотомию (или–или, до–после), считая, что фольклор во многих случаях сохраня-

ется и после распространения грамотности. См., в частности: Thompson, *The Folktale*, p. 437; Francis Lee Utley, «Folk Literature: An Operational Definition,» in Dundes, *Study of Folklore*, p. 15; and Alan Dundes, «The Transmission of Folklore,» ibid., p. 217.

19. Raymond D. Jameson, *Three Lectures on Chinese Folklore* (Peking, 1932).

20. Такая реплика присутствует в варианте Перро, который сильно переделал диалог крестьянских версий сказки в сторону большей изощренности. См.: Delarue et Tenèze, *Le Conte*, I, 306–324.

21. «Jean de l'Ours,» AT 301B.

22. См. «Le conte de Parle» (AT 328) и «La Belle Eulalie» (AT 313).

23. «Pitchin-Pitchot» (AT 327C).

24. Среди прочих трудов, в которых старый порядок выступает в качестве особого общественного строя, см.: Pierre Goubert, *L'Ancien Régime* (Paris, 1969 et 1973), 2 vols., и Roland Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598–1789* (Paris, 1974). В этих изданиях содержатся и солидные библиографические указатели по социальной истории дореволюционной Франции.

25. Le Roy Ladurie, «L'histoire immobile,» *Annales: Economies, sociétés, civilisations*, XXIX (1974), 673–692 [Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // THESIS, 1993, Вып. 2, с. 153–173]. См. также замечание Фернана Броделя о «квазизастывшей [*букв.* почти неподвижной] истории» в предисловии к его *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'epoche de Philippe II*, перепечатанном в: Fernand Braudel, *Ecrits sur l'histoire* (Paris, 1969), p. 11. Представление о «застывшей на месте» Франции раннего Нового времени в значительной степени объясняется мальтузианской теорией общественного развития, которую развивал в 40-х и 50-х годах XX века Жан Мевре. См., в частности, его наиболее важную статью: Jean Meuvret, «Les crises de subsistances et la démographie de la France d'Ancien Régime,» *Population*, II (1947), 643–647. В настоящее время историки-демографы начали оспарить эту точку зрения, о чем см., например, в: Jacques Dupâquier, «Révolution française et révolution démographique» in *Vom Ancien Régime zur Französischen Revolution: Forschungen und Perspektiven*, Hrsg. Ernst Hinrichs, Eberhard Schmitt und Rudolf Vierhaus (Göttingen, 1978), S. 233–260.

26. Из обширной литературы о крестьянстве, а также о городской и сельской бедноте см., например: Pierre Goubert, *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730: Contribution à l'histoire sociale de la France du XVIIe siècle* (Paris, 1960) и Olwen H. Hufton, *The Poor of Eighteenth-Century France, 1750–1789* (Oxford, 1974).

27. Обзоры демографической истории см. в: Dupâquier, «Révolution française et révolution démographique»; Pierre Guillaume et Jean-

Pierre Poussou, *Démographie historique* (Paris, 1970), и Pierre Goubert, «Le poids du monde rural» in *Histoire économique et sociale de la France*, éd. Ernest Labrousse et Fernand Braudel (Paris, 1970), pp. 3–158.

28. Delarue et Tenèze, *Le conte*, II, 143.

29. Ibid., II, 145.

30. Ibid., I, 279.

31. Ibid., I, 289.

32. Цит. по: ibid., I, 353, 357, 358 и 360.

33. Ibid., II, 398.

34. Ibid., II, 394.

35. Ibid., II, 269.

36. Ibid., I, 275.

37. Ibid., II, 480; II, 53; II, 182; I, 270.

38. Могут последовать возражения, что этими двумя контекстами выбор исчерпывался. Но ведь истории можно было строить на других противопоставлениях: город–деревня, север–юг, суша–море, настоящее–прошлое. Крестьяне дореволюционной Франции явно предпочитали для сказок эту оппозицию деревни большой дороге.

39. Delarue et Tenèze, *Le conte*, II, 216.

40. «Jean de Bordeaux» (AT 506A); «L'amour des trois oranges» (AT 408); «Courbasset» (AT 425A).

41. Delarue et Tenèze, *Le conte*, II, 569.

42. Так, в зачине одной из сказок («Les trois fils adroits,» AT 654 — ibid., II, 562) говорится: «Было у бедняка трое сыновей. И стоило сыновьям подрасти, как он объявил им, что нет у него для них никакой работы, а потому придется им покинуть родной дом, выучиться какому-нибудь ремеслу и самим кормить себя».

43. См. «Maille-chêne» (AT 650); «Le vieux militaire» (AT 475); «Le rusé voleur» (AT 653) и «La Mort dans une bouteille» (AT 331).

44. Цит. по: Delarue et Tenèze, *Le conte*, II, 415.

45. На этом, однако, и заканчивалась аргументация в тех немногих из работ, которые пытались связать фольклор с историей общества. См., в частности: Lutz Röhrich, *Märchen und Wirklichkeit: Eine Volkskundliche Untersuchung* (Wiesbaden, 1956); Charles Phythian-Adams, *Local History and Folklore: A New Framework* (London, 1975); Eugen Weber, «The Reality of Folktales,» *Journal of the History of Ideas*, XLII (1981), 93–113, а также Peter Taylor and Hermann Rebel, «Hessian Peasant Women, Their Families, and the Draft: A Social-Historical Interpretation of Four Tales from the Grimm Collection,» *Journal of Family History*, VI (1981), pp. 347–378.

46. Айона и Питер Оупи анализируют происхождение и связь с историей английских детских стишков в своем авторитетнейшем

собрании таких текстов: Iona Opie and Peter Opie, *The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes* (London, 1975). Мои последующие доводы опираются в первую очередь на этот источник.

47. В единственном из сохранившихся экземпляров этой антологии (в библиотеке Британского музея) не хватает первого тома. Продолжение же ее, изданное под названием *The Famous Tommy Thumb's Little Story-Book*, открывается сказкой про Мальчика с пальчик и заканчивается подборкой детских стихов. В других подобных книгах Мальчик-с-пальчик если и упоминается, то скорее косвенно (например, в таких стихотворных строчках, как «Был у меня муженек с ноготок» или «Пляши, пальчик, пляши»). Имя Матушки Гусыни связалось со стихами благодаря книге *Mother Goose's Melody, or Sonnets for the Cradle*, которая впервые вышла из печати в 60-х годах XVIII века и потом многократно переиздавалась. См.: Opie and Opie, *Oxford Dictionary of Nursery Rhymes*, 32–35.

48. Katharine M. Briggs, *A Dictionary of British Folk-Tales in the English Language*, 4 vols. (London, 1970–71), I, 531. Мои последующие аргументы опираются на это издание английских сказок, сопоставимое с трудом Деларю–Тенез для французских. Впрочем, я нередко пользовался также материалами Болте и Поливки о сказках братьев Гримм (*Anmerkungen*).

49. Briggs, *Dictionary of British Folk-Tales*, I, 331.

50. Эти цитаты заимствованы из сборника Деларю–Тенез (*Le conte*, I, 330–334), чтобы наглядно продемонстрировать диалог, типичный для французских сказок. Разумеется, нам не известно, какими именно словами пользовались сказители XVIII века.

51. Английский вариант сказки можно найти в «Словаре» Бриггз (Briggs, *Dictionary of British Folk-Tales*, I, 391–393), французский — у Деларю и Тенез (*Le conte*, I, 110–112). Хотя столь же авторитетного труда по итальянским сказкам просто не существует, есть несколько хороших сборников по отдельным районам Италии, например, Guiseppe Pitrè, *Novelle populare toscane* (Firenze, 1885). Наиболее известная итальянская антология (Italo Calvino, *Fiabe italiane* [Turin, 1956]) теперь переведена на английский Джорджем Мартином и доступна под названием *Italian folktales* (New York, 1980). Кальвино не знаком с академическими трудами по фольклору, но гораздо хуже то, что он иногда подвергает сказки стилистической обработке. Правда, он указывает такие исправления в примечаниях, и следует признать, что братья Гримм тоже постоянно переделывали свои тексты. Я по возможности обращался к замечательному сборнику сказок XVII века Джамбаттисты Базиле, но мне плохо доступен цветистый неаполитанский диалект, поэтому я чаще пользовался переводами: Benedetto

Croce, *Il pentamerone ossia la fiaba della fiabe* (Bari, 1925) и N. M. Penzer, *The Pentamerone of Giambattista Basile*, 2 vols. (London, 1932). Хотя английская книга переведена не с оригинала, а с итальянского издания Кроче, в ней есть отличные «Фольклорные дополнения». В данном случае я опираюсь на текст Кальвино в английском переводе (*Italian Folktales*, pp. 284–288).

52. Сказки братьев Гримм имеют стандартную нумерацию, благодаря которой их можно найти в любом издании. Я опирался на книгу Болте и Поливки *Anmerkungen*, где помещены варианты сказок и приводятся дополнительные сведения о каждой из них, но для удобства читателей ссылаюсь на самое доступное английское издание: Margaret Hunt and James Stern, *The Complete Grimms' Fairy Tales* (New York, 1972). Итальянскую версию сказки этого типа (Гримм 4) см. у Кальвино: *Italian Folktales*, pp. 3–4.

53. Calvino, *Italian Folktales*, pp. 75–76.

54. Ibid., pp. 26–30.

55. Hunt and Stern, *Complete Grimms' Fairy Tales*, p. 217.

56. Briggs, *Dictionary of British Folk-Tales*, I, 446–447.

57. Hunt and Stern, *Complete Grimms' Fairy Tales*, p. 209.

58. Delarue et Tenèze, *Le conte*, II, 456.

59. См., например: «La Tige de fève» (AT 555) и «De Fischer un sine Fru» (Grimm 19).

60. Delarue et Tenèze, *Le conte*, I, 181.

61. Танец в кустах терновника упоминается в двадцати из 39 вариантов сказки, записанных во Франции. В тринадцати из них злодеем выступает священник, и лишь в одном варианте — лотарингском — еврей.

62. По-французски — «il faut hurler avec les loups». André-Joseph Panckoucke, *Dictionnaire des proverbes françois et des façons de parler comiques, burlesques et familières* (Paris, 1749), p. 194.

63. См.: Paul Radin, *The Trickster: A Study in American Indian Mythology* (New York, 1956) and Lawrence Levine, *Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom* (New York, 1977).

64. Delarue et Tenèze, *Le conte*, I, 374.

65. См.: Jan De Vries, *Die Märchen von klugen Rätsellösern und das kluge Mädchen* (Helsinki, 1928) und Albert Wesselski, *Der Knabenkönig und das kluge Mädchen* (Praha, 1929).

66. Delarue et Tenèze, *Le conte*, I, 110. Пример того, как сказка может сводить крестьянина с сеньором в некоем подобии классовой борьбы, см. в: Cosquin, *Contes populaires de Lorraine*, I, 108–111. Тут нет и намека на волшебство или фантазию. Сеньор не замаскирован под

великана, и его сначала обдирает как липку, а потом убивает герой-крестьянин, который пользуется всего-навсего обманом и хитростью.

67. Delarue et Tenèze, *Le conte*, I, 331.

68. Ibid., I, 346.

69. Нижеследующие пословицы выбраны из «Словаря французских пословиц» 1749 года, а также из раздела «Пословицы» словаря *Nouveau petit Larousse* (1968), чтобы продемонстрировать преемственность и сугубо французский стиль образных выражений на протяжении двухсот лет. Естественно, многие пословицы восходят к средневековью, и их начали собирать еще с эпохи Возрождения. См.: Natalie Z. Davis, «Proverbial Wisdom and Popular Errors» in Davis, *Society and Culture in Early Modern France* (Stanford, 1975).

70. См.: Marc Soriano, *Les Contes de Perrault: Culture savante et traditions populaires* (Paris, 1968) и Soriano, *Le dossier Perrault* (Paris, 1972).

71. Проблемы социальных основ культуры и ее передачи во Франции раннего Нового времени весьма активно обсуждались в многочисленных трудах последнего десятилетия, посвященных истории народной культуры. Я скорее солидаризируюсь со взглядами, которые высказывает Питер Берк в своем замечательном библиографическом обзоре в: Peter Burke, *Popular Culture in Early Modern Europe* (London and New York, 1978), чем поддерживаю Робера Мюшамбле с его трудом обобщающего характера: Robert Muchembled, *Culture populaire et culture des élites dans la France moderne, XVe–XVIIe siècles* (Paris, 1968).

72. Это понятие культурного стиля позаимствовано у интерпретативного направления в антропологии культуры. См., в частности: Edward Sapir, «Culture, Genuine and Spurious,» in Sapir, *Culture, Language and Personality* (Berkeley, 1964) [*Сепир Э.* Культура, подлинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993, с. 465–493].

ГЛАВА 2

1. Nicolas Contat, *Anecdotes typographiques où l'on voit la description des coutumes, mœurs et usages singuliers des compagnons imprimeurs*, ed. Giles Barber (Oxford, 1980). Рукопись была датирована 1762 годом. В предисловии к оксфордскому изданию Барбер подробно рассказывает о ее происхождении и о жизни Конта. Кошачье побоище описывается на с. 48–56.

2. Contat, *Anecdotes typographiques*, p. 53.

3. Ibid., pp. 52 et 53.

4. См., в частности: Albert Soboul, *La France à la veille de la Révolution* (Paris, 1966), p. 140; и Edward Shorter, «The History of Work in the West: An Overview» in *Work and Community in the West*, ed. Edward Shorter (New York, 1973).

5. Нижеследующие рассуждения заимствованы из: Henri-Jean Martin, *Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598–1701)* (Genève, 1969), и Paul Chauvet, *Les ouvriers di livre en France, des origines à la Révolution de 1789* (Paris, 1959). Статистические данные основаны на исследованиях, проводившихся специалистами по Франции XVIII века, как они отражены в тех же трудах: Martin, II, pp. 699–700 и Chauvet, pp. 126 et 154.

6. Более подробно этот материал разбирается в: Robert Darnton, «Work and Culture in an Eighteenth-Century Printing Shop,» *Quarterly Journal*, Library of Congress (winter, 1982).

7. Contat, *Anecdotes typographiques*, pp. 68–73.

8. Из письма Криста (Christ) в Типографическое товарищество Невшателя от 8 января 1773 года (архив Société typographique de Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, Швейцария; далее в ссылках товарищество фигурирует как TTH).

9. Письмо TTH Жозефу Дюплену (Joseph Duplain) от 2 июля 1777 года.

10. Письмо TTH Луи Вернанжу (Louis Vernange) от 26 июня 1777 года.

11. Письмо Жозефа Дюплена в TTH от 10 декабря 1778 года.

12. Contat, *Anecdotes typographiques*, pp. 30–31.

13. Ibid., p. 52.

14. Более поздний обзор литературы по фольклору и французской истории, а также библиографию по этим темам см. в: Nicole Belmont, *Mythes et croyances dans l'ancienne France* (Paris, 1973). Нижеследующие рассуждения основаны прежде всего на материалах из: Eugène Rolland, *Faune populaire de la France* (Paris, 1881), IV; Paul Sébillot, *Le folk-lore de France* (Paris, 1904–1907), 4 vols., особенно III, 72–155 и IV, 90–98; а также, хотя и в меньшей степени, на книге: Arnold Van Gennep, *Manuel de folklore français contemporain* (Paris, 1937–1958), 9 vols.

15. В Германии и Швейцарии «кошачьи концерты» иногда включали в себя шутовские судебные процессы и казни. Происхождение идиомы «Katzenmusik» точно не установлено. См.: E. Hoffman-Krayer und Hans Bächtold-Stäubli, *Handwyrterbuch des deutschen Aberglaubens* (Berlin und Leipzig, 1931–1932), IV, 1125–1132, и Paul Grebe et al.,

Duden Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache (Mann 1963), S. 317.

16. О том, как гоняли кошек в городке Сен-Шамон, мне л но сообщила в письме Элинор Аккампо из колледжа Колорадо кая церемония описана в: A. Benoist, «Traditions et ancienne tumes du pays messin,» *Revue des traditions populaires*, XV (1900),

17. Contat, *Anecdotes typographiques*, pp. 30 et 66–67; Chauv *ouvriers du livre*, pp. 7–12.

18. Contat, *Anecdotes typographiques*, pp. 65–67.

19. Ibid., цит. на с. 39–40.

20. Один из примеров этого жанра (кстати, весьма нетр напечатан в приложении к сочинению Конта (Contat, *Anecdot graphiques*, pp. 101–110) под названием *La misère des apprentis imp* (1710). Другие подобные произведения можно найти в: A.C. Ca *Les misères de ce monde, ou complaintes facétieuses sur les apprentissa differents arts et métiers de la ville et faubourgs de Paris* (Paris, 1783).

21. Классическим трудом по этому ритуалу остается кни нольда ван Геннепа: Arnold Van Gennep, *Les rites de passage* (Paris, [*Ієннеп А., ван.* Обряды перехода. Систематическое изучение дов. М., 1999]. Ее дополняют более поздние этнографические дования, среди которых заслуживают особого внимания книг тора Тэрнера: Victor Turner, *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu* (Ithaca, N. Y., 1967), and *The Ritual Process* (Chicago, 1969) [Тэ Ритуальный процесс: Структура и антиструктура. //Тэрнер В вол и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 104–264]. Церемония, через рую проходит Жером, прекрасно вписывается в модель, пред мую Ван Геннепом и Тэрнером. Она отличается лишь некото деталями — в частности, Жерома во время церемонии не сч священным или опасным, хотя гильдия могла оштрафовать п терьев за то, что они пили с ним. Он жил не в изоляции от ег го сообщества, однако он покинул родительский дом и посели клетушке на задворках хозяйского дома. Его также не подве никакому таинству (*sacra*), хотя он должен был усвоить эзотер кий жаргон и этос печатного ремесла, пройти через немало мук товарищи окончательно не приняли его в свою среду, что и отпраздновано всеобщим пиршеством. Джозеф Моксон, Джент и Бенджамин Франклин описывают подобные ритуалы ствовавшие в Англии. В Германии обряд инициации был ещ сложнее, некоторые его структурные особенности напомина менные обряды в Африке, Новой Гвинее и Северной Амери на ученика напяливали грязную шапку с козлиными рогами привязывали лисий хвост, что символизировало его возвра

животному состоянию. В качестве получеловека-полуживотного (*Cornut* или *Mittelding*) он должен был пройти через ритуальные пытки, включавшие подпиливание пальцев. Во время завершающего обряда цеховой старшина сбивал с ученика шапку и давал ему оплеуху. После этого он считался как бы новорожденным, т.е. полноправным подмастерьем; иногда ему давали новое имя, его могли даже заново крестить. Так, во всяком случае, рассказывается в немецких учебниках по печатному делу, в частности, в: Christian Gottlob Täubel, *Praktisches Handbuch der Buchdruckerkunst für Anfänger* (Leipzig, 1791); Wilhelm Gottlieb Kircher, *Anweisung in der Buchdruckerkunst so viel davon das Drucken betrifft* (Brunswick, 1793) и Johann Christoph Hildebrand, *Handbuch für Buchdrucker-Lehrlinge* (Eisenach, 1835). Этот ритуал берет начало в старинном балаганном представлении под названием *Deposito Cornuti typographici*, текст которого был опубликован Якобом Редингером: Jacob Redinger, *Neu aufgesetzes Format Büchlein* (Frankfurt-am-Mein, 1679).

22. Contat, *Anecdotes typographiques*, pp. 65–66.

23. В тексте не приводится фамилии Жерома, но там подчеркивается смена имени и приобретение им статуса «месье»: «Месье — господином или сударем — тебя начинают величать только к концу ученичества: этого звания удостаиваются подмастерья, но никак не ученики» (с. 41). В книге записей жалованья в ТТН подмастерья неизменно фигурируют с приложением «месье», даже когда их называют не обычным именем, а по кличке (например, «месье Бошмен»).

24. Черный кот с полотна Мане «Олимпия» представляет собой весьма частый мотив, это типичный «домашний дух» обнаженной. О котах Бодлера см.: Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss, *Les chats* de Charles Baudelaire,» *L'Homme*, II (1962), 5–21, и Michel Riffaterre, «Describing Poetic Structures: Two Approaches to Baudelaire's *Les Chats*,» in *Structuralism*, ed. Jacques Ehrmann (New Haven, 1966).

25. Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London, 1966); and E. R. Leach, «Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse,» in *New Directions in the Study of Language*, ed. E. H. Lenneberg (Cambridge, Mass., 1964).

26. И Сервантес, и Золя обыгрывали в своих романах традиционные кошачьи поверья. В «Дон Кихоте» (ч. 2, гл. XLVI) посредине серенады героя к Альтисидоре на него вытряхивают мешок оглушительно мяукающих котов. Приняв животных за бесов, Дон Кихот пытается прикончить их мечом, но в конце концов терпит поражение в единоборстве с одним из котов. В «Жерминале» (ч. 5, гл. VI) символизм действует в противоположном направлении. Толпа рабочих преследует своего классового врага по имени Мегра, который,

словно «блудливый кот», спасается бегством по крышам. С криком «Ловите кота! Ловите! Свернуть ему шею!»* рабочие кастрируют его, когда Мегра падает с крыши и разбивается. Об убийстве котов как сатире на французскую приверженность букве закона см. в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле (кн. 5, гл. XV — призыв брата Жана уничтожать тиранов — Пушистых Котов).

27. Mikhail Bakhtin, *Rabelais and His World,* trans. Helene Iswolsky (Cambridge, Mass., 1968 [*Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле. М., 1965]. В литературе эпохи, когда жил Конта, кошачий фольклор наиболее полно отражен у Монкрифа: François Augustin Paradis de Moncrif, *Les chats* (Rotterdam, 1728). Хотя это был шуточный трактат, предназначенный для просвещенной аудитории, в нем представлен широкий спектр народных суеверий и пословиц, многие из которых были собраны фольклористами лишь спустя полтора столетия.

28. C. S. L. Davies, *Peace, Print and Protestantism* (St. Albans, Herts, 1977). Остальные примеры заимствованы из источников, которые перечисляются в примеч. 14. Из многочисленных словарей пословиц и жаргонов см., в частности: André-Joseph Panckoucke, *Dictionnaire des proverbes françois et des façons de parler comiques, burlesques et familières* (Paris, 1749), et Gaston Esnault, *Dictionnaire historique des argots français* (Paris, 1965).

29. Roland, *Faune populaire,* p. 118. Остальные источники см. в примеч. 14.

30. Emile Chautard, *La vie étrange de l'argot* (Paris, 1931), pp. 367–368. Следующие далее идиомы заимствованы из: Panckoucke, *Dictionnaire des proverbes françois;* Esnault, *Dictionnaire historique des argots français,* а также из *Dictionnaire de l'Academie française* (Paris, 1762), в котором содержится на удивление много приличных «кошачьих» выражений. Неприличный фольклор распространялся прежде всего через детские игры и стишки, часть из которых сохранилась еще с XVI века: Claude Gaignebet, *Le folklore obscène des enfants* (Paris, 1980), p. 260.

31. Sébillot, *Le folk-lore de France,* III, 93–94.

32. Panckoucke, *Dictionnaire des proverbes françois,* p. 66.

33. Эта и последующие цитаты см. в: Contat, *Anecdotes typographiques,* pp. 48–56.

34. Как пишет Джайлз Барбер (ibid., pp. 7 and 60), настоящий Жан Венсан, у которого работал Конта, сам поступил в ученики в 1690 году; следовательно, он родился примерно в 1675 году. Его жена была 1684 года рождения. Значит, когда в типографии появился Конта, хозяину было около 62 лет, хозяйке — примерно 53, а рас-

---

* Цит. по переводу И. Немчиновой.

путному священнику — от 20 до 30. Такое положение было обычным для печатного дела, где старик хозяин часто оставлял типографию молодой жене, которая, в свою очередь, заводила романы с еще более юными подмастерьями. Эта тема была классической для шаривари, участники которых сплошь и рядом зубоскалили по поводу рогоносцев, а также разницы в возрасте между новобрачными.

35. Pierre Caron, *Les massacres de septembre* (Paris, 1935).

ГЛАВА 3

1. Рукопись была опубликована Жозефом Бертеле под названием «Монпелье в 1768 году по анонимной неправленой рукописи» в: *Archives de la ville de Montpellier* (Montpellier, 1909), но мы будем называть ее «Описанием» (*Description*) по заголовку, данному ей автором. О жанре городских «описаний» см.: Hugues Neveux, «Les discours sur la ville» in *La ville classique: De la Renaissance aux révolutions*, éd. Roger Chartier, Guy Chaussinand-Nogaret, Hugues Neveux et Emmanuel Le Roy Ladurie (Paris, 1981). Эта книга представляет собой третий том труда *Histoire de la France urbaine*, который издается в настоящее время под руководством Жоржа Дюби. Что касается Монпелье, наш автор (к сожалению, я не могу найти для его обозначения лучшего термина) имел возможность опираться на два более ранних сочинения: Pierre Gariel, *Idée de la ville de Montpelier [sic], recherchée et présentée aux honestes gens* (Montpellier, 1665), и Charles d'Aigrefeuille, *Histoire de la ville de Montpellier depuis son origine jusqu'à notre temps* (Montpellier, 1737–1739), 2 vols. При том, что он несколько раз цитирует эти книги, его текст сильно отличается от них. В общем и целом рукопись гораздо ближе к «историческому альманаху» местного правоведа Доминика Дона: Dominique Donat, *Almanach historique et chronologique de la ville de Montpellier* (Montpellier, 1759). Поскольку в «Уведомлении» к альманаху Дона сообщает читателям, что намерен вскоре посвятить Монпелье целую книгу, вполне возможно, что «Описание» сочинил он. Но все попытки отыскать более твердые доказательства его авторства оказались безуспешными.

2. *Description*, p. 9. Далее в тексте встречаются предложения по тому, как улучшить местные органы власти, стиль которых позволяет заподозрить в их авторе не столько какого-нибудь Бедекера XVIII века, сколько просвещенного администратора, поэтому едва ли «Описание» задумывалось исключительно как путеводитель.

3. Charles Dickens, *Bleak House* (London, 1912), p. 1.

4. Эта фраза встречается как у Броделя с Лабруссом, так и у Мандру: *Histoire économique et sociale de la France*, éd. Ernest Labrousse et Fernand Braudel (Paris, 1970), II, 716; Robert Mandrou, *La France aux XVIIe et XVIIIe siècles* (Paris, 1970), p. 178. Сходным образом трактуется эта тема и в третьем учебнике, вышедшем в том же году: Albert Soboul, *La civilisation et la Révolution française* (Paris, 1970), chs. 17 et 18 (комментарии по поводу «le take-off» см. на с. 342–343). «Le take-off» также фигурирует в: Pierre Chaunu, *La civilisation de l'Europe des Lumières* (Paris, 1971), pp. 28–29, но в менее догматическом контексте. Было бы интересно проследить, как некоторые формулы кочуют из одного учебника в другой, зачастую независимо от разделяющих их авторов идеологических барьеров.

5. О возникновении во Франции целостной (или тотальной) истории см.: Jacques Le Goff, «L'histoire nouvelle» in Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, *La Nouvelle histoire* (Paris, 1978). Ортодоксальные взгляды на общественно-экономические и культурные перемены во Франции XVIII века излагаются в заключительных частях вышеупомянутых учебников: Braudel et Labrousse, *Histoire économique et sociale de la France*, pp. 693–740; и Soboul, *La civilisation et la Révolution française*, pp. 459–480. Другие точки зрения см. в: Roland Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598–1789*, 2 vols. (Paris, 1974–1980); et Régine Robin, *La société française en 1789: Sémur en Auxois* (Paris, 1970).

6. Несмотря на некоторые попытки набросать портрет буржуазии XVIII века, солидной литературы по этому вопросу крайне мало. Работа Элинор Барбер (Elinor Barber, *The Bourgeoisie in the 18th Century France* [Princeton, 1955]) слишком поверхностна, а лучшим трудом более узкого характера остается книга 1956 года (Bernhard Groethuysen, *Origines de l'esprit bourgeois en France* [Paris, 1956]), хотя она посвящена в основном истории мысли. Среди монографий социальных историков заслуживают внимания прежде всего следующие работы: Ernest Labrousse, «Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeosie occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles (1700–1850),» *Xe Congresso internazionale di Scienze Storiche: Roma, Relazioni* (Firenze, 1955), IV, 365–396; Adeline Daumard, «Une référence pour l'étude des sociétés urbaines aux XVIIIe et XIXe siècles: Projet de code socio-professionnel,» *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, X (июль–сентябрь 1963), 184–210; Roland Mousnier, «Problèmes de méthode dans l'étude des structures sociales des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles» in *Spiegel der Geschichte: Festgabe für M. Braubach* (Münster, 1964), pp. 550–564; *L'histoire sociale: sources et méthodes: Colloque de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud (15–16 mai 1965)*, коллективный труд, опубликованный издательством «Пресс

юниверситэр де Франс» (Paris, 1967); Adeline Daumard et François Furet, *Structures et relations sociales à Paris au XVIIIe siècle* (Paris, 1961); Daniel Roche et Michel Vovelle, «Bourgeois, rentiers, propriétaires: éléments pour la définition d'une catégotie sociale à la fin du XVIIIe siècle», in *Actes du Quatre-Vingt-Quatrième Congrès National des Sociétés Savantes* (Dijon, 1959), *Section d'Histoire Moderne et Contemporaine* (Paris, 1960), pp. 419–452; Maurice Garden, *Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle* (Paris, 1970); et Jean-Claude Perrot, *Genèse d'une ville moderne: Caen au XVIIIe siècle* (Paris et La Haye, 1975), 2 vols. Прочие отзывы о дворянстве см. в: Guy Chaussinand-Nogaret, *La noblesse au XVIIIe siècle: De la féodalite aux Lumières* (Paris, 1976), и Patrice Higonnet, *Class, Ideology, and the Rights of Nobles During the French Revolution* (Oxford, 1981).

7. Серия книг по отдельным городам, выпускаемая издательством «Прива», уже охватила Ле-Ман, Тулузу, Брест, Лион, Руан, Анже, Нант, Марсель, Ниццу, Тулон, Гренобль, Бордо и Нанси, и эти неустанно плодящиеся публикации отражаются в «Истории французских городов» (*Histoire de la France urbaine*). Даже Лилль, который всегда считался центром городской индустриализации, теперь предстает едва ли не архаичным по своему хозяйству, поскольку доказано, что он был центром «протоиндустриализации» и что в него стекалась продукция надомного производства из соседних деревень, см.: Pierre Deyon et al., *Aux origines de la révolution industrielle, industrie rurale et fabriques*, в спецвыпуске журнала *Revue du Nord* за январь–март 1979 г. Тезис об отсутствии экономического роста отстаивает Мишель Морино — в нескольких статьях и в книге: Michel Morineau, *Les Faux-Semblants d'un démarrage économique: Agriculture et démographie en France au XVIIIe siècle* (Paris, 1971).

8. Daniel Roche, *Le Siècle des Lumières en province: Académies et académiciens provinciaux, 1680–1789* (Paris et La Haye, 1978); Robert Darnton, *The Business of Enlightenment: A Publishing History of the* Encyclopédie, *1775–1800* (Cambridge, Mass., 1979); John Lough, *Paris Theatre Audiences in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (London, 1957), а также, как пример редукционистско-социологического подхода к интерпретации литературы: Lucien Goldman, «La pensée des Lumières,» *Annales: Economies, sociétés, civilisations*, XX (1967), 752–770.

9. Данные примеры заимствованы из словаря *Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux* (Paris, 1771), II, 11–12, но не менее наглядный иллюстративный материал можно обнаружить и в других словарях XVIII века; см., в частности, статьи «bourgeois» в: *Dictionnaire de l'Académie française* (Paris, 1762); Antoine Furetière, *Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts* (La Haye, 1727);

Jacques Savary des Bruslons et Philemon-Louis Savary, *Dictionnaire universel de commerce, d'histoire naturelle, et des arts et métiers* (Copenhague, 1759); и *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* (Paris, 1751–1772) под редакцией Дидро и Даламбера. В словарях даются и некоторые особые значения слова «буржуа», например, речь может идти о буржуа, не подсудных сеньориальным судам в Шампани и Бургундии, о буржуа, которые владеют торговым флотом, и о буржуа, использующих наемный труд. Последний вид буржуа, судя по определению из «Словаря Треву», в точности соответствует хозяину типографии у Конта: «Печатники называют хозяина, на которого они работают, *le bourgeois*. [Далее идут примеры. — *Р. Д.*] "Нужно служить буржуа", "Каменщики и ремесленники всегда стараются обдурить буржуа"». В словарных дефинициях также проступают социальные различия. В «Энциклопедии» Дидро и Даламбера подчеркивается связь между «буржуа» и «гражданином», причем это сделано в стиле Руссо, тогда как «Словарь Французской академии» отмечает ругательное употребление термина: «Нередко словом "буржуа" с презрением называют человека, который не принадлежит к благородному сословию и не знаком с правилами хорошего тона. "Он всего-навсего буржуа". "Это подозрительно напоминает буржуа"». Савари помещает буржуа между дворянством и простолюдинами, но отзывается о нем вполне доброжелательно: «Буржуа. Это слово обычно применяется к городскому жителю. Более конкретно можно сказать, что такой гражданин не принадлежит ни к духовенству, ни к дворянству; можно также уточнить, что такие граждане, не занимая высоких должностей в судах или других сановных мест, стоят, однако же, много выше ремесленников и простого люда благодаря своему богатству, своей почетной профессии или своим коммерческим делам. Так что когда человека в похвалу называют хорошим буржуа, слово употребляется именно в последнем смысле». Наконец, словари отражают и определенный стиль жизни, например, в «Словаре Треву» сказано: «Дом буржуа построен просто и без величественности, но удобно для обитания в нем. Он противоположен как дворцу или усадьбе аристократа, так и хибарке или домишку ремесленника или крестьянина... Вино буржуа пьет неразбавленное, и не из таверны, а из собственного подвала».

10. Приводимые далее сведения о Монпелье основаны на следующих источниках: Louis Thomas, *Montpellier ville marchande: Histoire économique et sociale de Montpellier des origines à 1870* (Montpellier, 1936); Albert Fabre, *Histoire de Montpellier depuis son origine jusqu'à la fin de la Révolution* (Montpellier, 1897); Philippe Wolff, éd., *Histoire du Languedoc* (Toulouse, 1967), а также на книгах, которые упоминаются в примеч. 1.

11. *Description*, p. 35.
12. Ibid., p. 35.
13. Ibid., p. 29.
14. Ibid., p. 52.
15. Ibid., p. 18.
16. Louis Dumont, *Homo hierarchicus: Essai sur le système des castes* (Paris, 1966).
17. *Description*, p. 157.
18. Ibid., p. 67.
19. Ibid., p. 67.
20. Ibid., p. 67.
21. Ibid., pp. 35 et 99.
22. Ibid., p. 99.
23. Ibid., p. 98.
24. Ibid., p. 70.
25. Ibid., p. 156.
26. Ibid., p. 38.
27. Ibid., p. 68.
28. Ibid., p. 110.
29. Ibid., p. 158.
30. Ibid., p. 110.
31. Ibid., p. 158.
32. Ibid., p. 151.
33. Ibid., p. 151.
34. Ibid., p. 154.
35. Ibid., p. 155.
36. Ibid., p. 154.
37. Ibid., p. 68.
38. Ibid., p. 54.
39. Ibid., p. 58.
40. Ibid., pp. 57–58.
41. Ibid., p. 69.
42. Ibid., p. 68.
43. Ibid., p. 150.
44. Ibid., p. 149.
45. Ibid., p. 54.
46. Подробности по данной теме см. в.: Roche, *Le siècle des Lumières en province.*
47. *Description*, p. 59.
48. Ibid., p. 27.
49. Ibid., p. 21.
50. Ibid., p. 150.

ГЛАВА 4

Более ранний вариант главы 4 появился под другим названием в сборнике докладов на семинаре, посвященном памяти Дэвида Николь Смита, который проходил в Канберре в 1980 году. См.: Robert Darnton, «Policing Writers in Paris circa 1750» in *Studies in the Eighteenth Century*, vol. 5, eds. J. P. Hardy and J. C. Eade (Oxford, 1983), pp. 143–155.

1. Материалом для данного исследования послужили рукописные рапорты Жозефа д'Эмри, хранящиеся в Париже, в Национальной библиотеке, под номером: nouv. acq. fr. 10781–10783. Все цитаты заимствованы из этого источника, и их легко отыскать в рукописи, поскольку донесения располагаются в алфавитном порядке, по именам писателей, которым они посвящены. Я собираюсь выпустить полный текст донесений отдельной книгой, отредактировав ее совместно с Робертом Шекстоном*, а впоследствии использовать их для работы о становлении «интеллектуалов» во Франции. Хотя отчеты д'Эмри никогда не изучались целиком, к ним время от времени обращались за биографическими сведениями, в частности, в книге Франко Вентури процитирован почти весь рапорт на Дидро, см.: Franco Venturi, *Jeunesse de Diderot 1715–1753* (Paris, 1939), p. 379.

2. Jacques Hébrail et Joseph de La Porte, *La France littéraire* (Paris, 1756). Сборнику предпослано обращение к читателям (*avertissement*), в котором авторы объясняют, каким они хотели бы видеть свой труд и какие ставили перед собой задачи, а также призывают всех, в особенности неизвестных писателей, присылать им библиографические сведения. Новая информация вошла в издание 1756 года в виде дополнений (*additions*), а в 1760, 1762, 1764 и 1784 годах были опубликованы «Приложения» (*Suppléments*) к основному тексту. В издании 1762 года авторы подсчитали, что к тому времени во Франции было свыше 1800 «живых» литераторов. С учетом того, что население, престиж писательской профессии и книгоиздание постоянно росли, можно предположить, что к 1750 году около полутора тысяч французов имели за плечами хотя бы одну изданную книгу или брошюру.

3. По вопросу о поколениях и других возрастных группах (который до сих пор вызывает жаркие споры) см.: Clifton Cherpack, «The Literary Periodization of Eighteenth-Century France,» *Publications of the Modern Language Association of America*, LXXXIV (1969), 321–328, and

---

* Полный текст донесений до сих пор не издан – возможно, в связи со смертью Р. Шекстона.

Alan B. Spitzer, «The Historical Problem of Generations», *The American Historical Review*, LXXVIII (1973), 1353–1383.

4. О линии, соединяющей Сен-Мало и Женеву, как демаркационной линии социокультурной истории см. в: Roger Chartier, «Les Deux France: Histoire d'une géographie,» *Cahiers d'histoire*, XXIV (1979), 393–415. Проблема отношений между Парижем и провинциями обсуждается в: Robert Escarpit, *Sociologie de la littérature* (Paris, 1968), 41–44. Поскольку Париж расположен на севере Франции, само собой разумеется, что в нем будут меньше представлены писатели, родившиеся в южных районах. Едва ли следует ожидать и тесной взаимосвязи между сведениями о том, откуда писатели родом, и достаточно грубыми показателями грамотности, которыми оперируют, например, Фюре и Озуф в: François Furet et Jacques Ozouf, *Lire et écrire: L'alphabétisation des Français de Calvin à Ferry* (Paris, 1977), 2 vols.

5. См. статью о Фаваре в: J.-F. et L.-G. Michaud, éd., *Biographie universelle* (Paris, 1811–1852), XIII, 440–442, а также труды о нем более научного характера: Georges Desnoireterres, *Epicuriens et lettrés* (Paris, 1879), и Auguste Font, *Favart, l'Opéra-Comique et la comédie-vaudeville aux XVIIe et XVIIIe siècles* (Paris, 1894).

6. Почти в половине случаев «заключение в тюрьму» происходило после написания д'Эмри основного текста рапорта. Но при всей бдительности, которую проявляла полиция к подозрительным элементам, ее надзор был ориентирован не столько на выявление преступников в литературной среде, сколько на то, чтобы охватить наблюдением возможно более широкий круг писателей.

7. Попытки упрочения власти за счет того, что систематически подсчитываются все ресурсы страны, восходят еще к Макиавелли и развитию «государственного интереса» как принципа правления. Хотя эта тенденция обычно рассматривается в рамках политологии, она также относится к истории чиновничества и распространения не столько Просвещения, сколько «рационализации» в понимании Макса Вебера. Относительно недавний обзор литературы по идеологической стороне этого вопроса см. в: Michael Stolleis, «*Arcana imperii* und *Ratio status*: Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts,» *Veröffentlichung der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften*, 39 (Göttingen, 1980), 5–34.

8. Например, в донесении о Жане-Франсуа де Бастиде сказано: «Он провансалец, остроумен, но недаровит, и совокупляется* с мадам де Валанс, любовницей г-на Ваноэ, голландского посла».

---

* На самом деле в тексте употреблено более грубое выражение.

9. См.: Robert Mandrou, *De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles: La Bibliothèque bleue de Troyes* (Paris, 1964).

10. Подробности всех этих интриг см. в источниках, указанных в примеч. 5.

11. Получить представление о поэзии Лореса, которая теперь заслуженно забыта, можно, заглянув в его опусы: Antoine de Laurès, *Epître à M. le comte de Bernis* (Paris, 1725), и *Epître à Madame la marquise de Pompadour* (место и дата публикации не указаны).

12. См.: d'Alembert, *Essai sur la société des gens de lettres et des grands, sur la réputation, sur les mécènes et sur les récompenses littéraires*, in d'Alembert, *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie* (Amsterdam, 1773; 1-е изд. 1752).

13. Эта тема особенно четко выражена в: d'Alembert, *Essai sur la société des gens de lettres*, Voltaire, *Lettres philosophiques* (1734), в анонимном трактате *Le philosophie* (1743), а также в статье «Философия» восьмого тома «Энциклопедии». Подробности см. в следующей главе.

14. Слова были опубликованы в: *Journal et mémoires du marquis d'Argenson*, E. J. B. Rathery, éd. (Paris, 1863), p. 402. В отчетах д'Эмри упоминается как эта песня, так и многие другие в том же роде, однако он ни разу не приводит их текст.

15. Я многократно прибегал к слову «интеллектуал», не давая ему определения, поскольку мне казалось, что его рамки становятся понятны при воссоздании контекста, в котором жили «писатели» д'Эмри. Однако мне хотелось бы оговориться, что я не отождествляю писателей с интеллектуалами и что мое понятие «интеллектуала» заимствовано у социологов вроде Карла Мангейма, Эдуарда Шилса и Пьера Бурдье. См., например, работу последнего: Pierre Bourdieu, *Questions de sociologie* (Paris, 1980).

ГЛАВА 5

Глава 5 была первоначально представлена в виде лекции, прочитанной в мае 1981 года в Библиотеке герцога Августа (Herzog August Bibliothek)* в Вольфенбюттеле.

1. John Lough, *The «Encyclopédie»* (New York, 1971), p. 61.

2. Michel Foucault, *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences* (New York, 1973), p. XV [*Фуко М.* Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 28].

---

* Знаменитая библиотека герцогов Брауншвейгских-Вольфенбюттельских, где библиотекарями были, в частности, Лейбниц и Лессинг.

3. См. Roger Shattuck, *The Forbidden Experiment: The Story of the Wild Boy of Aveyron* (New York, 1980).

4. Более подробно см.: E. R. Leach, «Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse» in *New Directions in the Study of Language*, ed. E. H. Lenneberg (Cambridge, Mass., 1964); Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London, 1966); R. N. H. Bulmer, «Why Is the Cassowary Not a Bird? A Problem of Zoological Taxonomy Among the Karam of the New Guinea Highlands,» *Man*, II (1967), 5–25; S. J. Tambiah, «Animals Are Good to Think and to Prohibit,» *Ethnology*, VIII (1969), 423–459.

5. О «методе» и истории упорядочения искусств и наук см.: Walter Ong, *Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason* (Cambridge, Mass., 1958); Neal W. Gilbert, *Renaissance Concepts of Method* (New York, 1960); Paul Oskar Kristeller, «The Modern System of the Arts» in Kristeller, *Renaissance Thought II: Papers on Humanism and the Arts* (New York, 1965), 163–227; Frances Yates, *The Art of Memory* (London, 1966); Leroy E. Loemker, *Struggle for Synthesis: The Seventeenth Century Background of Leibniz's Synthesis of Order and Freedom* (Cambridge, Mass., 1972); Paolo Rossi, *Philosophy, Technology and the Arts in the Early Modern Era* (New York, 1970). Об энциклопедиях до появления «Энциклопедии» Дидро см.: Robert Collison, *Encyclopedias: Their History throughout the Ages* (New York, 1964) и Frank A. Kafker, ed., *Notable Encyclopedias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Nine Predecessors of the Encyclopédie, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, CXCIV (Oxford, 1981). Относительно свежий, но довольно поверхностный обзор систем классификации знания см. в книге: Fritz Machlup, *Knowledge: The Branches of Learning* (Princeton, 1981). Я признателен Энтони Графтону за библиографические справки и критику моих попыток разобраться в этих материях.

6. *Discours préliminaire* в издании *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences; des arts et des métiers, par une société de gens des lettres* (Paris, 1751–1772) I, i. Все последующие ссылки на «Предварительное рассуждение» даются по первому изданию «Энциклопедии».

7. *Prospectus de l'Encyclopédie* в издании Denis Diderot, *Oeuvres complètes* (Paris, 1969), II, 281. О понятии энциклопедии как круга или цепи знаний см. также ключевую статью Дидро «Энциклопедия» в 5-м томе «Энциклопедии», переизданную в: Diderot, *Oeuvres complètes*, II, 365–463.

8. *Discours préliminaire*, p. XV [в русском издании «Предварительного рассуждения» с. 83].

9. *Prospectus*, pp. 285–286.

10. *Prospectus*, p. 285.

11. Ephraim Chambers, *Cyclopaedia: or An Universal Dictionary of Arts and Sciences*, 5th ed. (London, 1741), I, p. ii.

12. Ibid., p. iii.

13. *Discours préliminaire*, p. XXIV.

14. См. статьи в *Mémoires de Trévoux* за январь–февраль 1751 г., переизданные в: Diderot, *Oeuvres complètes*, II, 325–332 и 352–355.

15. Francis Bacon, *The Advancement of Learning*, ed. W.A. Wright (Oxford, 1876), p. 268 [Ф. Бэкон «О достоинстве и приумножении наук». Здесь и далее цит. по изд.: *Бэкон Ф.* Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1977. Т. 1 (2-е изд.). С. 521].

16. Ibid., p. 99 [с. 173].

17. Ibid., p. 86 [с. 158].

18. *Discours préliminaire*, p. XVII [с. 87].

19. Bacon, *Advancement of Learning*, p. 86 [с. 158].

20. Ibid., p. 85 [с. 158].

21. *Discours préliminaire*, p. XLVII.

22. *Lettre de M. Diderot au R. P. Berthier, jésuite* в книге: Diderot, *Oeuvres complètes*, II, 334.

23. *Discours préliminaire*, p. LI.

24. *Encyclopédie*, I, 498.

25. Bacon, *Advancement of Learning*, pp. 109–110 [с. 205]. Бэкон признавал силу индуктивных доказательств бытия Бога, но относился к ним настороженно: «...как мне кажется, весьма рискованно, опираясь на созерцание материального мира и принципы человеческого разума, рассуждать о таинствах веры, или убеждать кого-то более или менее настойчиво, или, наоборот, с любопытством исследовать все это и пытаться проникнуть в то, каким образом совершается это таинство» [с. 205].

26. *Discours préliminaire*, p. XVII.

27. Ibid., p. XLVIII. Локкову версию этой аргументации см. в: John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding* [«Опыт о человеческом разуме»], ed. A. S. Pringle-Pattison (Oxford, 1960), book II, chap. 23, 154–174.

28. *Discours préliminaire*, p. III [с. 60].

29. Ibid, p. IV [с. 61].

30. Ibid, p. IV [с. 61].

31. Ibid, p. III [с. 60].

32. Ibid, p. IX [с. 71].

33. Ibid, p. XIV [с. 82].

34. Ibid, p. IX [с. 71].

35. Ibid, p. XIV [с. 82].

36. Ibid, p. XVII [с. 87].

37. См. также «Введение» («Avertissement») Даламбера к третьему тому «Энциклопедии» (III, IV): «В этом труде ... нет завоевателей, опустошающих землю, а есть бессмертные гении, просвещающие ее. Нет здесь и толпы правителей, которых следовало бы изгнать из истории. Даже именам королей и государственных деятелей нет места в "Энциклопедии", разве только за попечение о науках, ибо "Энциклопедия" склоняется перед талантом, а не перед титулами. Это история человеческого духа, а не людского тщеславия».

38. *Discours préliminaire*, p. XXVI [с. 105].

39. Ibid, p. XXVI [с. 106].

40. Ibid, p. XXVII [с. 108].

41. Ibid, p. XXVI [с. 105].

42. D'Alembert, *Essai sur la société des gens de lettres et des grands, sur la réputation, sur les Mécènes, et sur les récompenses littéraires* в книге *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie* (Amsterdam, 1773; 1-е изд. — 1752), p. 330.

43. *Encyclopédie*, VII, 599.

44. О метаморфозах этого очерка, который Вольтер переиздал и в «Законах Миноса» (1773), см.: Herbert Dieckmann, *Le Philosophe: Texts and Interpretation* (Saint Louis, 1948).

45. Об источниках по данной теме, требующей дальнейшего исследования, см.: Ira Wade, *«The Philosophe» in the French Drama of the Eighteenth Century* (Princeton, 1926).

46. Характерное для XVIII века употребление терминов *philosophe* и *Encyclopédiste* как модных словечек предварительно рассматривается в книге: Ferdinand Brunot, *Histoire de la langue française des origines à nos jours* (Paris, 1966), VI, part 1, 3—27.

47. Даламбер и сам подчеркивал эту мысль во «Введении» (Avertissement) (*Encyclopédie*, III, IV): «Итак, мы постараемся, чтобы наш словарь выделялся главным образом философским духом».

ГЛАВА 6

1. В этом очерке делается попытка сочетания традиционной истории, основанной на архивных разысканиях, с тем видом интерпретации текста, который развивали такие литературные критики, как Вольфганг Изер, Ганс Роберт Яусс, Уэйн Бут, Стенли Фиш, Уолтер Онг, Джонатан Каллер, Луи Марен и другие. Обзор работ в этой области, а также подробную библиографию см. в: Susan R. Suleiman

and Inge Crosman, eds., *The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation* (Princeton, 1980). Среди трудов, посвященных Руссо, см., например: Robert J. Ellrich, *Rousseau and His Reader: The Rhetorical Situation of the Major Works* (Chapel Hill, 1969); Harald Weinrich, «Muss es Romanlektüre geben? Anmerkungen zu Rousseau und zu den Lesern der *Nouvelle Héloïse*,» in *Leser und Lesen im 18. Jahrhundert*, Hrsg. Rainer Gruenter (Heidelberg, 1977), S. 28–32; Roger Bauer, «Einführung in einige Texte von Jean-Jacques Rousseau,» in *Leser und Lesen*, S. 33–32; а также Hans Robert Jauss, *Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik* (Frankfurt-am-Mein, 1982, 1982), S. 585–653.

2. Этими сведениями я обязан А. Л. Беккеру, который много раз наблюдал балийские похороны в двойном качестве — лингвиста и этнографа.

3. Папка с материалами Рансона хранится в городской библиотеке Невшателя (Bibliothèque de la ville Neuchâtel, ms. 1204), и последующие ссылки на нее в примечаниях будут даваться после аббревиатуры STN (или, по-русски, TTH). Часть их опубликована Р. А. Ли (R. A. Leigh) в томах 40 и 41 полного собрания переписки Руссо (*Correspondance complète de Jean Jacques Rousseau*, Paris, 1982 et 1984). Сведения о Рансоне из Ларошели заимствованы из двух его брачных контрактов, от 24 июня 1777 года и 29 ноября 1788 года: Archives départementales de la Charente-Maritime — Crassous 3 E 776 et Roy 3 E 89, фотокопии которых любезно прислала мне мадемуазель О. де Сент-Аффрик.

4. Рансон сам подсчитал свое состояние для брачного контракта 29 ноября 1788 года. В письме в TTH от 16 марта 1779 года он отмечает, что война нанесла серьезный ущерб ларошельской торговле, однако его собственное дело не пострадало. Вычислить, чему может соответствовать туренский ливр в современной валюте, невозможно, но, чтобы дать читателям хотя бы примерное представление о том, чего он стоил в XVIII веке, достаточно сказать, что квалифицированный ремесленник нередко получал около пяти тысяч ливров годового дохода.

5. Обзор литературы, посвященной библиотекам и чтению в XVIII веке, см. в: Robert Darnton, «Reading, Writing, and Publishing in Eighteenth-Century France: A Case Study in the Sociology of Literature,» *Daedalus* (Winter 1971), 214–256. Более поздние сведения можно найти в: Michel Marion, *Recherches sur les bibliothèques privées à Paris au milieu du XVIIIe siècle (1750–1759)* (Paris, 1978).

6. Письмо Рансона в TTH, 29 апреля 1775 г.

7. Письмо Рансона в TTH, 27 сентября 1780 г.

8. Письмо Рансона в TTH, 17 октября 1775 г.

9. Письмо Рансона в ТТН, 8 марта 1777 г.

10. Письмо Рансона в ТТН, 27 декабря 1774 г.

11. Письмо Рансона в ТТН, 30 августа 1785 г.

12. Письмо Рансона в ТТН, 10 июня 1777 г.

13. Письмо Пави в ТТН, 4 марта 1772 г.

14. Например, следующее суждение из учебника Виара: «Ложные верования. Тех, кто не верит во все догматы, в которые нам повелевает верить католичество, называют еретиками. К ним относятся лютеране, кальвинисты и многие другие» (N.-A. Viard, *Les vrais principes de la lecture...* [Paris, 1763], p. 76).

15. Письмо Рансона в ТТН, 9 августа 1775 г.

16. Письмо Рансона в ТТН, 17 октября 1775 г.

17. Viard, *Les vrais principes de la lecture*, p. i.

18. Ibid., p. xi.

19. Ibid., p. 26.

20. Ibid., p. x.

21. J.-J. Rousseau, *Emile ou de l'éducation* in *Oeuvres complètes*, Bibliothèque de la Pléiade (Paris, 1969), IV, 358.

22. J.-J. Rousseau, *Les confessions de J.-J. Rousseau* in *Oeuvres complètes* (Paris, 1959), I, 8 [Здесь и далее цит. по изданию: *Руссо Ж.-Ж.* Избранные сочинения: В 3 т. / Перевод Д.А. Горбова и М.Н. Розанова. М., 1961. Т. 3. С. 12].

23. Ibid., pp. 8–9 [с. 13].

24. J.-J. Rousseau, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse* in *Oeuvres complètes* (Paris, 1961), II, 57–58 [Здесь и далее цитаты из «Новой Элоизы» в переводе А. Худадовой по изданию: *Руссо Ж.-Ж.* Юлия, или Новая Элоиза. М.: Худож. лит., 1967. С. 51].

25. Ibid., II, 56–57 [с. 51–52].

26. Rousseau, *Confessions*, I, 111–112 [«Исповедь», с. 102–103].

27. Rousseau, *La Nouvelle Héloïse*, II, 5 [«Новая Элоиза», с. 25].

28. Ibid., II, 12 [с. 723. Цитаты из «Второго предисловия» к «Новой Элоизе» здесь и далее в переводе И. Немчиновой. См. русское издание в примеч. 24, с. 721–746].

29. Ibid., II, 5 [с. 25].

30. Ibid., II, 5 [с. 25–26].

31. Ibid., II, 6 [с. 26].

32. Руссо с вызовом поместил свое звание «гражданина Женевы» на титульном листе некоторых сочинений этого периода — в частности, открытых писем к Даламберу и Кристофу де Бомону. Весьма дерзко звучит противопоставление простого швейцарского республиканца влиятельному архиепископу Парижскому, см. название второго из писем: *Jean-Jacque Rousseau, citoyen de Genève, à Christophe de*

Beaumont, archevêque de Paris, duc de S. Cloud, pair de France, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, etc. Руссо не поставил «гражданина Женевы» на титул «Новой Элоизы», поскольку не хотел «осквернять» родной город ассоциацией с романом, см.: *La Nouvelle Hélonse*, II, 27. В XVIII веке романы считались низким или, во всяком случае, подозрительным с точки зрения нравственности жанром, а потому романисты, как правило, не ставили на обложке своих имен. Назвавшись Жан-Жаком, Руссо приглашал читателей к необычным, особо близким отношениям с автором.

33. Rousseau, *La Nouvelle Héloïse*, II, 18–19 [«Новая Элоиза», с. 728].

34. О разрыве с Дидро и обстоятельствах, при которых Руссо сочинял «Новую Элоизу», см. критическую статью Бернара Гюйона (Bernard Guyon) в собрании сочинений Руссо: *Oevres complètes*, II, xviii–lxx.

35. Rousseau, *La Nouvelle Héloïse*, II, 16 [«Новая Элоиза», с. 725–726].

36. Ibid., II, 16 [с. 725].

37. Ibid., II, 15 [с. 727].

38. Ibid., II, 11 [с. 721].

39. Ibid., II, 29 [с. 737].

40. Ibid., II, 26–27 [с. 735].

41. Ibid., II, 27 [стр. 735].

42. Rousseau, *Emile*, IV, 357.

43. Письмо Рансона в TTH, 9 августа 1775 г.

44. Письмо Рансона в TTH, 25 января 1777 г.

45. Письмо Рансона в TTH, 8 марта 1777 г.

46. Письмо Рансона в TTH, 10 июня 1777 г.

47. Письмо Рансона в TTH, 12 июля 1777 г.

48. Письмо Рансона в TTH, 27 сентября 1777 г.

49. Письмо Рансона в TTH, 29 ноября 1777 г.

50. Письмо Рансона в TTH, 16 мая 1778 г.

51. Письмо Рансона в TTH, 1 августа 1778 г.

52. Письмо Рансона в TTH, 12 сентября 1778 г.

53. Дочь Рансоны назвали Элизабет в честь матери мужа. Сведения о рождении детей и принятых в семье именах основываются в первую очередь на втором брачном контракте Рансона, от 29 ноября 1788 г. Его первая супруга, Мадлен Работо, скончалась примерно за три года до этого, и Рансон женился на ее двоюродной сестре, Жанне Франсуазе Работо.

54. Письмо Рансона в TTH, 27 декабря 1778 г.

55. Письмо Рансона в TTH, 16 марта 1779 г.

56. См.: Philippe Ariès, *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime* (Paris, 1960) [*Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999].

57. Rousseau, *La Nouvelle Hélonse*, II, 23 [«Новая Элоиза», с. 732].

58. Письмо Рансона в ТТН, 16 сентября 1780 г.

59. Последнее письмо из архива Рансона датировано 30 августа 1785 г. Рансон почти наверняка продолжал писать Остервальду и после этого, но его писем нет среди бумаг ТТН, поскольку в 1784/85 гг. Остервальд удалился от руководства товариществом. Из-за этого мы не можем проследить за последующей деловой и семейной жизнью Рансона — как умерла его первая жена, как он вступил в брак второй раз, как потом участвовал в революции. Впрочем, в революционных событиях Рансон играл скромную роль, а умер он 5 августа 1823 г. в возрасте 75 лет, пережив и вторую жену.

60. Обзор откликов на «Новую Элоизу», куда входит и краткий анализ полученных Руссо писем, см. в: Daniel Mornet, *La Nouvelle Héloïse*, (Paris, 1925), I, 247–267. Находки Морне подробно разбираются в более систематичном (с уклоном в социологию) исследовании Даниэля Роша: Daniel Roche, «Les primitifs du Rousseauisme: une analyse socilologique et quantitative de la correspondance de J.-J. Rousseau,» *Annales: économies, sociétés, civilisations* (январь–февраль 1971 г.), xxvi, pp. 151–172. Тексты писем, полученных Руссо, можно найти в замечательном издании его корреспонденции Ли (R.A. Leigh): *Correspondance complète de Jean Jacques Rousseau* (Genève, 1969), vols. VIII–X.

61. Цитаты и прочие упоминания откликов, в порядке их появления в тексте, взяты из «Переписки» Руссо (*Correspondance complète*): письмо Ш.-Ж. Панкука к Руссо, февраль 1761 г. (VIII, 77–78); письмо Ж.-Л. Бюиссона к Руссо, 11 февраля 1761 г. (VIII, 88); письмо А.-Ж. Луазо де Молеона к Руссо, 18 февраля 1761 г. (VIII, 130); письмо Шарлотты Буретт к Руссо, 21 февраля 1761 г. (VIII, 148); письмо Ж.-Ж.-П. Фромаже к Руссо, 5 июня 1761 г. (IX, 3); письмо аббата Кааня к Руссо, 27 февраля 1761 г. (VIII, 187, 191); письмо Ж.-Ф. Бастида к Руссо, 12 февраля 1761 г. (VIII, 91–92); письмо Даниэля Рогена к Руссо, 27 февраля 1761 г. (VIII, 181); письмо А.-П. де Женжена, барона де Ла Сарра, к Руссо, март (?) 1761 г. (VIII, 263); письма Жака Пернетти и Жана-Венсана Каппронье де Гофкура к Руссо, 26 февраля 1761 г. (VIII, 178); письмо Д.-М.-З.-А. Мазарини-Мансини, маркизы де Полиньяк, к М.-М. де Бремон д'Ар, маркизе де Верделен, 3 февраля 1761 г. (VIII, 56); письмо Шарлотты де Ла Тай к Руссо, 10 марта 1761 г. (VIII, 239–40); письмо Луи Франсуа к Руссо, 24 марта 1761 г. (VIII, 278–279); а также февральский номер

Journal helvétique за 1761 г., рецензия из которого цитируется в той же «Переписке»: VIII, 73.

62. Письмо Д.-М.-З.-А. Мазарини-Мансини, маркизы де Полиньяк, к М.-М. де Бремон д'Ар, маркизе де Верделен, 3 февраля 1761 г. (ibid., VIII, 56–57).

63. Письмо Луи Франсуа к Руссо, 24 марта 1761 г. (ibid., VIII, 278–279); письмо Поля-Клода Мульту к Руссо, 7 марта 1761 г. (VIII, 225–226).

64. Письмо г-жи Дю Верже к Руссо, 22 января 1762 г. (ibid., X, 47).

65. О начале этой переписки см.: *Correspondance complète*, IX, 132–155.

66. Rousseau, *Confessions*, I, 545–547.

67. Письмо Фромаже к Руссо, 5 июня 1761 г. (*Correspondance complète*, IX, 3).

68. Письмо анонимного читателя к Руссо, 6 апреля 1761 г. (ibid., VIII, 296); письмо анонимной молодой женщины, март 1761 (?) г. (VIII, 258–259); письмо Пьера де Ла Роша к Руссо, 16 октября 1761 г. (IX, 168); письмо Ш.-Ж. Панкука к Руссо, февраль 1761 г. (VIII, 77–78).

69. Письмо М. Руссло к Руссо, 15 марта 1761 г. (ibid., VIII, 252); письмо Б.-Л. де Ланфана де ла Патриера, барона де Борма, к Руссо, 27 марта 1761 г. (VIII, 280–281); письмо А.-Л. Лалива де Жюлли к Руссо, 31 января 1761 г. (VIII, 43); письмо Ф.-К. Констан де Ребек к Ф.-М.-С. Констану де Ребеку, 9 февраля 1761 (?) г. (VIII, 72); письмо Ж.-Л. Ле Куэнта к Руссо, 5 апреля 1761 г. (VIII, 292–293).

70. Письмо А.-Ж. Луазо де Молеона к Руссо, 18 февраля 1761 г. (ibid., VIII, 131); письмо анонимного читателя к Руссо, 6 апреля 1761 г. (VIII, 296); письмо анонимного читателя к Руссо, март 1761 г. (VIII, 256–257); письмо анонимного читателя к Руссо, март 1761 г. (VIII, 257–258). Как эти фразы, так и многие другие из писем к Руссо почти дословно повторяли то, что он сам говорил в предисловиях.

71. Rolf Engelsing, *Der Bürger als Leser: Lesergeschichte in Deutschland 1500–1800* (Stuttgart, 1974). Критический разбор теории Энгельзинга см. в: Reinhart Siegert, *Aufklärung und Volkslektüre exemplarisch dargestellt an Rudolph Zacharias Becker und seinem «Noth- und Hülfsbüchlein» mit einer Bibliographie zum Gesamtthema* (Frankfurt-am-Mein, 1978); Martin Welke, «Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18. Jahrhundert: Zeitungslesen in Deutschland,» in *Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation: Ein europäischer Vergleich*, Hrsg. Otto Dann (München, 1981).

72. Письмо Рансона в ТТН, 27 декабря 1774 г.

73. Письмо Рансона в ТТН, май 1781 г.

74. Письмо Рансона в ТТН, 12 июня 1785 г.

75. Johann Adam Bergk, *Die Kunst Bücher zu lesen* (Jena, 1799), 411.

76. В частности, на с. 302 своего «Искусства чтения» Берк подчеркивал: «Руссо со своим пылким творческим воображением и взглядом, проникающим в самую суть вещей, захватывает нас и тем дарует блаженство, которое достигает самых дальних уголков нашей души. Он обнажает перед нами тайны природы, а бурный поток его описаний, можно сказать, сбивает нас с ног».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Pierre Chaunu, «Un nouveau champ pour l'histoire sérielle: Le quantitatif au troisième niveau» in Pierre Chaunu, *Histoire quantitative, histoire sérielle* (Paris, 1978), pp. 216–230. Под словом *sérielle* Шоню подразумевает нечто более специфичное, чем просто «количественный» или «статистический», но его нельзя передать и через прилагательное «серийный». Кроме того, Шоню не анализирует, как именно явления двух первых уровней воздействуют на третий. Для более подробного ознакомления с этой темой см.: *Histoire économique et sociale de la France*, éd. Ernest Labrousse et Fernand Braudel (Paris, 1970), II, 693–740; и Albert Soboul, *La civilisation et la Révolution française* (Paris, 1970), pp. 459–480. Об истории ментальностей как жанре см. эссе Люсьена Февра (Lucien Febvre), перепечатанные в: *Combats pour l'histoire* (Paris, 1965), pp. 207–239 [*Февр Л.* Бои за историю. М.: Наука, 1991]; Georges Duby, «Histoire des mentalitées» in *L'histoire et ses méthods (Encyclopédie de la Pléiade*, Paris, 1961), pp. 937–966; Alphonse Dupront, «Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective», *Annales: économiques, sociétés, civilisations*, XVI (1961), 3–11; Louis Trénard, «Histoire des mentalités collectives: Les livres, bilans et perspectives», *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, XV (1968), 691–703; Robert Mandrou, «Histoire sociale et histoire des mentalités», *La nouvelle critique* (1972), pp. 3–11; Jacque Le Goff, «Les mentalités: Une histoire ambiguë», in *Faire de l'histoire*, éd. Jacques Le Goff et Pierre Nora (Paris, 1974), III, 76–94; Philippe Ariès, «L'histoire des mentalités», in *La nouvelle histoire*, éd. Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel (Paris, 1978), pp. 402–422; Michel Vovelle, Histoire des mentalités — Histoire des résistances de où les prisons de la longue durée,» *History of European Ideas* II (1981), 1–18. В «Новой истории» есть обзор историографических течений, которые относят к «школе "Анналов"». Среди замечательных докторских диссертаций, построенных по той же

модели, см., например: F. G. Dreyfus, *Sociétés et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du dix-huitième siècle* (Paris, 1968): часть I, «Economie»; часть II, «Structure sociale», часть III, «Mentalités et culture»; Maurice Garden, *Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle* (Paris, 1970): часть I, «Démographie», часть II, «Société», часть III, «Structures mentales et comportements collectifs»; а также: François Lebrun, *Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles* (Paris, 1971): часть I, «Structures économiques et sociogéographiques», часть II, «Structure démographique», часть III, «Mentalités».

2. Ernest Labrousse, *La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution* (Paris, 1944), I, xxix; Pierre Chaunu, «Dynamique conjoncturelle et histoire sérielle: Point de vue d'historien,» in Chaunu, «*Histoire quantitative, histoire sérielle*, p. 17. Я сам попытался сделать обзор французской литературы в серии статей в *The New York Review of Books*, часть из которых была перепечатана под названием «The History of *Mentalités*: Recent Writings on Revolution, Criminality and Death in France,» in *Structure, Consciousness, and History*, ed. Richard H. Brown and Stanford M. Lyman (Cambridge, 1978), pp. 106–13[illegible]. Следует добавить, что некоторые историки, связанные с «Анналами», а именно Жак Ле Гофф и Жан-Клод Шмитт, теперь уходят от количественного анализа и обращают свои взгляды к антропологии. См.: Roger Chartier, «Intellectual or socio-cultural history? The French trajectories,» in *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives*, ed. Dominick La Capra and Steven L. Kaplan (Ithaca, 1982), pp. 13–46; and André Burguière, «The Fate of the History of *Mentalités* in the *Annales*,» *Comparative Studies in Society and History*, XXXIX (1982), 424–437. Впрочем, эта антропология обычно остается в рамках структуралистской системы Клода Леви-Строса или функционализма в духе Эмиля Дюркгейма. На нее не повлияло ни символистское направление в американской антропологии, развившееся под влиянием Эдуарда Б. Тайлора и Франца Боаса, ни веберианство, которым, в частности, отмечены работы Клиффорда Гирца. Если американцы склонны игнорировать системы отношений, то французы обычно не интересуют системы смыслов.

3. William Langer, *Political and Social Upheaval, 1832–1852* (New York, 1969); Keith Thomas, *Religion and the Decline of Magic* (New York, 1971); Hildred Geertz and Keith Thomas, «An Anthropology of Religion and Magic,» *Journal of Interdisciplinary History*, VI (1975), 71–109; Lawrence Stone, *The Family, Sex and Marriage in England, 1500–1800* (New York, 1977); Philippe Ariès, *L'homme devant la mort* (Paris,, 1977) [Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 1992]; а также Michel

Vovelle, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle: Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments* (Paris, 1973).

4. Keith Thomas, «History and Anthropology,» *Past and Present*, no. 24 (1963), 3–24; E. E. Evans-Pritchard, «Anthropology and History,» in E. E. Evans-Pritchard, *Essays in Social Anthropology* (London, 1962). Невозможно перечислить все труды по антропологии и истории, где пересекаются эти две науки. Читателя, который захочет поглубже изучить эту тему, я отсылаю к работам Клиффорда Гирца, Виктора Тэрнера, Ренато Розальдо, Шелли Эррингтон, Луи Дюмона, Маршалла Салинза, Б. С. Кона, Джеймса Фернандеса, Жака Ле Гоффа, Эммануэля Ле Руа Ладюри, Жан-Клода Шмитта, Натали Дэвис, Уильяма Сьюелла, Лоренса Левина, Грега Денинга, Риса Айзака и др. (я назвал лишь нескольких из наиболее талантливых ученых).

5. Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* (Paris, 1974, издание труда 1941–1942 годов), p. 35.

ИСТОРИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА

Интервью с Робертом Дарнтоном *

*В книгах «Великое кошачье побоище» и «Поцелуй Ламуретта»** Вы выступаете за установление «добрососедских отношений» между антропологией и историей, однако переговоры о пограничных территориях всегда дело нелегкое. Не кажется ли Вам, что, поскольку эти дисциплины изучают сходные предметы, граница между ними несколько размыта?*

Р. Д. Прежде всего я хотел бы уточнить, что статья, в которой я впервые прибег к этому выражению, была написана в 1973 году для «Нью-Йорк ревю оф букс» с целью представить американскому читателю новый жанр, известный во Франции как «история ментальностей». Будь моя воля, я бы сегодня переписал эту статью, которая по сути представляла собой рецензию на работу Мишеля Вовеля «Барочное благочестие и дехристианизация» («Piété baroque et déchristianisation»), посвященную отношению к смерти и загробной жизни в Провансе XVIII века. Собрав и изучив все сохранивши

---

*На самом деле в этом тексте совмещены два интервью: одно было дано 17 августа 1996 года Лилии Мориц Шварц и Педро Пунтонни в Сан-Паулу (Бразилия) для «Журнала Бразильской ассоциации антропологии», второе взяла Мария Люсия Пальярес-Берк для книги «Многоликая история» («As muitas faces da história»), которую она редактировала и которая вышла в 2000 году в издательстве Университета штата Сан-Паулу. В некоторых случаях интервью были слегка подкорректированы. (*Примеч. автора.*)

**Ламуретт, Адриен (1742–1794) – французский прелат, во время революции член Законодательного собрания; прославился своей страстной речью от 7 июля 1792 г., в которой призывал все партии закончить распри братским поцелуем. Растроганные депутаты бросились друг к другу в объятия, но на другой же день примирение было забыто. Казнен в период террора.

еся завещания, Вовель обнаружил тенденцию к секуляризации мировоззрения (или *mentalité*), которая ускользала от традиционных научных методов. Французскому ученому помогло то, что он подверг исследованию невидимое коллективное сознание простого народа, крайне редко попадающее в поле зрения историков. Вовель и его сторонники (например, Пьер Шоню) считали, что отношения можно измерить статистически и в конечном счете объяснить постепенными изменениями общественного устройства, которые, в свою очередь, обусловлены переменами экономического и демографического характера. Они исходили из трехуровневой модели истории, и та же модель налицо во многих диссертациях, опубликованных в 60-х и 70-х годах историками школы «Анналов»: «Часть I: Экономика и демография; Часть II: Социальное устройство; Часть III: Коллективное сознание». Меня восхищала их работа, но, при всем моем восхищении, я не был уверен в том, что историю следует делить на уровни или что культуру можно выводить из состояния общества.

В 1968 году я начал преподавать в Принстоне и вскоре познакомился с Клиффордом Гирцем, который работал в том же городе в Институте перспективных исследований. Его потрясающие работы в области антропологии привлекли мое внимание, и, обсудив их с автором, мы пришли к выводу, что нас интересует одна и та же проблема: восприятие людьми окружающего мира. Изучением ее занимался и Вовель, но Гирц предпочитал исследовать культуру не столько количественно, сколько с помощью методологии Вебера. Такой подход показался мне продуктивным и для моей работы, ведь я пытался понять инаковость в мировоззрении людей, а потому я пригласил Клиффа вести вместе со мной семинар по истории ментальностей, который вскоре превратился в семинар по истории и антропологии. К настоящему времени мы более или менее тесно сотрудничаем с Клиффом уже 25 лет, и у меня выработался антропологический взгляд на культуру, но это не просто «Гирцев» взгляд, как считают многие; в его формирование внесли свой весомый вклад Эванс-Причард, Виктор Тэрнер, Мэри Дуглас, Кит Бассо, Ренато Розальдо и многие другие исследователи, занимающиеся знаковыми системами.

Получается, что инаковость изучают и история, и антропология?

Р. Д. Да, но не всё так просто. Раньше принято было говорить, что история – категория временная, тогда как антропология – пространственная. Теперь же антропологи нередко работают в архивах, а историки собирают материал на местах. Возникли антропологическая история и историческая антропология, в рамках которых, например, трудятся Маршалл Салинз и Грег Денинг. Мне очень нравятся их исследования, однако этих ученых вовсе не ценит молодое поколение, для которого *maîtres à penser* (властителями дум) стали Фуко и Деррида. Молодые антропологи (которых я бы назвал постмодернистами) считают, что старшее поколение сделало культуру слишком непротиворечивой и позволило себе слишком много вольностей в ее трактовке. Они обвиняют это поколение в навязывании инаковости своим «информантам», то есть в том, что ученые приписывали им овеществленную ментальность, когда надо было бы просто прислушиваться к ним и сотрудничать с ними. В своем стремлении к «диалогичности» постмодернисты надеялись «договориться» об общей платформе, однако это им редко удавалось. Зато они обычно отказывались от попытки сколько-нибудь общего толкования конкретной культуры и обвиняли в подобных прегрешениях историков вроде меня – если, конечно, заглядывали по ту сторону границы, отделяющей антропологию от истории.

Я не имею ничего против теоретических позиций таких молодых антропологов, как Джеймс Клиффорд или Джейм Бун. Но когда дело доходит до интерпретации конкретного материала, у них возникает столько осложнений, что эти ученые просто не приходят ни к каким выводам. По выражению Маршалла Салинза, на них нападает «эпистемологическая трясучка», которая сводит на нет все их усилия. Впрочем, оставим жаргон и признаемся: их теория тоже вызывает у меня сомнения. С ее помощью можно обрести новый взгляд и найти новый подход к анализу материала, но историк прежде всего ремесленник. Работая в архивах, он пытается так стачать несовершенный материал, чтобы у него получилась приличная пара обуви. Если она получается, ее можно

носить. Я ратую вовсе не за бездумный эмпиризм, а за теоретически подкованный прагматизм и безжалостные споры. Толкование, которое не поддается применению на практике, можно, как мы выражаемся в своем профессиональном кругу, отправлять на «свалку истории».

Считаете ли Вы себя специалистом по так называемой «новой истории»? Как Вы связаны со школой «Анналов»?

Р. Д. Представители школы «Анналов», можно сказать, запатентовали фразу «новая история». Поскольку я уже 30 лет сотрудничаю с ними, то считаю себя их попутчиком и, вероятно, меня можно назвать «новым историком». Так как представители этого направления тоже в основном отказались от структурно-статистического подхода к истории ментальностей и отдают предпочтение антропологическому взгляду на нее, мне вполне уютно у них на бульваре Распай. Впрочем, должен признаться, что меня еще раньше, в оксфордской аспирантуре, заразили английским эмпиризмом. Не акцентируя этого словесно, мои тамошние педагоги внушили мне идею истории как бесконечного спора, в основе которого лежит накопление свидетельского материала. Они поощряли меня к работе в архивах и учили уважать факты. Теперь я знаю, что фактов не существует — по крайней мере, в виде независимых друг от друга частиц реальности. И все же описанный мною ремесленнический способ исторического исследования во многом хорош. Вы идете в архивы, выкапываете из документов некие сведения и пытаетесь сложить их в правдоподобную картину. Представители же школы «Анналов» иногда начинают с общих понятий типа структуры и конъюнктуры — во всяком случае, это было типично для них в эпоху Фернана Броделя. Их история оказывается на таком абстрактном уровне, что напрочь упускает из виду реальных людей с их страстями и непредсказуемостью. По-моему, книги типа «Постижение Французской революции» Франсуа Фюре сводят историю к рассуждениям, тогда как труды Ричарда Кобба служат прекрасным противоядием против такого подхода.

Тогда следующим будет вопрос о том, какие книги и какие авторы оказали наибольшее влияние на Ваше интеллектуальное развитие.

Р. Д. Трудно сказать. Разумеется, у меня, как и у каждого из нас, есть свои герои, и, если начать перечислять их, первыми мне приходят на ум Буркхардт и Хёйзинга. Оба писали об одном и том же предмете одинаковым способом — с учетом того, что Рут Бенедикт называет «моделями культуры», — и обоих мало интересовала теория. Они до такой степени погружались в источники, что развили в себе интуитивное чутье к восприятию жизни в изучаемых ими сообществах. Это может показаться волшебством или мистикой, но я имею в виду чувство предмета, приобретаемое «пропитыванием» архивами. Я где-то читал, что Флобер, когда его спросили, что он делал в период, когда издавал мало книг, ответил: «Мариновался». Буркхардт и Хёйзинга знали толк в мариновании.

И все же героем из героев для всех специалистов по истории Франции должен быть Марк Блок — не только благодаря мужеству, проявленному им в борьбе с фашизмом, но и потому, что его труды до сих пор остаются источником вдохновения. Перечитывая их сегодня, я обнаруживаю там еще больше интересных мыслей, чем раньше (особенно в «Королях-чудотворцах»). Эти трое историков по праву возглавляют мой список. Менее очевидны в нем имена научных руководителей в Оксфорде, которые, однако, сыграли очень важную роль в моем становлении как ученого: Харри Питт, Роберт Шеклтон и Ричард Кобб. Я хотел бы также упомянуть Лоренса Стоуна, моего коллегу и наставника по Принстону.

Вы могли бы сопоставить свою работу с работой другого видного историка книги – Роже Шартье?

Р. Д. Меня часто спрашивают, почему мы с ним вечно схватываемся, и этот вопрос кажется мне забавным, ведь на самом деле мы с Роже большие друзья. Правда, мы любим спорить, поэтому Роже не раз критиковал меня и я платил ему той же монетой. И все же несогласия между нами гораз-

до меньше, чем согласия. Мы даже нашли способ плодотворного сотрудничества, поскольку оба преданы основной цели: рассматривать печатное слово не как средство проявления эрудиции, а как историческую силу, как разновидность социокультурной истории в широком смысле. Если кто-то хочет проследить руку наборщика К. в изданном ин-кварто томе «Антония и Клеопатры», пускай занимается этим, нас же куда больше интересуют вопросы вроде: какова роль книги в повседневной жизни простых людей? Несмотря на приверженность одним идеям, мы с Роже работаем совершенно по-разному. Он любит размышлять — и делает это замечательно, с необыкновенной скоростью, за которой мне стоит большого труда угнаться. Зато он терпеть не может архивы, в которых я чувствую себя как рыба в воде. Вот почему мы нередко распределяем обязанности следующим образом: я собираю материал, а он обрабатывает его в теоретическом плане и соотносит со сведениями, добытыми другими историками. Это хорошее разделение труда, которое дает нам возможность для споров и всестороннего обсуждения проблем.

Ваш отец был журналистом, да и Вы, насколько мне известно, начинали с занятий журналистикой.

Р. Д. Это верно.

Вы ушли из журналистики, чтобы стать ученым, преподавать в университете. И все же можно сказать, что Вы остались связаны с писательством, о чем свидетельствует Ваш интерес к печати, к типографскому делу и сочинениям второстепенных авторов. Как Вы считаете, этот интерес обусловлен Вашей первой работой? Наложила ли журналистика отпечаток на Вашу жизнь?

Р. Д. Конечно, наложила, хотя мне трудно понять и объяснить, какой именно. Отчасти эта трудность может быть чисто психологического свойства, поскольку мой отец погиб на войне. Он был корреспондентом «Нью-Йорк таймс», и предполагалось, что я продолжу его дело, то есть тоже буду работать репортером в этой газете. Я с детства мечтал о том, чтобы стать репортером — не редактором, не обозревателем, а

рядовым хроникером из тех, что ходят в плаще, с папироской в зубах, в шляпе и с засунутой за шляпную ленту карточкой «Пресса», то есть газетчиком, который работает на улице и следит за событиями на уровне простого народа. Оглядываясь назад, я вижу, что этот образ окрашен романтикой. Но ведь у нас дома все были корреспондентами: отец, мать, брат...

Неужели у Вас и мать работала в газете?

Р. Д. Да. После смерти отца она поступила в «Нью-Йорк таймс» и сделала неплохую карьеру: от простого репортера до заведующего отделом информации для женщин. Затем она основала и возглавила телеграфное агентство — Центральное агентство новостей для женщин.

Она жива?

Р. Д. Нет, она умерла в 1968 году.

А что было с братом?

Р. Д. Я имел в виду своего младшего брата, Джона, который стал великолепным репортером в той же газете. Мы все четверо работали в «Таймс». Моя подпись впервые появилась там, когда мне было четыре года. Разумеется, сам я сочинять еще не мог, просто в 1943 году меня взял в поездку по Вашингтону Майк Берджер, корреспондент «Таймс» и друг нашей семьи, который и записал мой детский лепет. Идея заключалась в том, чтобы посмотреть на Вашингтон военного времени глазами ребенка... можно сказать, создать современный вариант «Нового платья короля». Я вырос с мыслью о том, что мне предначертана карьера репортера, и нелегко пережил свой уход из «Нью-Йорк таймс». Я стал выродком своего семейства. Преподаватель колледжа! Кому взбредет в голову поменять журналистику на преподавание? Меня часто спрашивают, почему я ушел из газеты. Ответ крайне прост: я люблю заниматься историей. Это нелегкая работа, и мне трудно даются печатные труды, но я получаю от этого

удовольствие. Мои прошлые занятия журналистикой и мои теперешние занятия историей, несомненно, связаны между собой. Во-первых, я изучаю историю журналистики, хотя не опубликовал почти ничего из своих исследований. Во-вторых, я начинал стажером в газете для массового читателя, в бульварном листке, освещавшем грабежи и убийства...

Что это была за газета?

Р. Д. «Ньюарк стар леджер» в городе Ньюарке (штат Нью-Джерси), где было полно бандитов. Там-то я в 1959 году и проходил боевое репортерское крещение, в основном при полицейском участке. Потом мне пришлось работать с полицейскими участками Манхэттена, Куинса и Бруклина, так что из-под моего пера вышли десятки, если не сотни, историй о преступлениях и...

Это было уже в 1960 году?

Р. Д. Понимаете, официально я стал репортером во время учебы в колледже, но я всегда занимался какой-то работой для газеты, еще в школе, когда мне было лет двенадцать-тринадцать. В 1952—1953 годах я вел рубрику «Новости из Бедфордской средней школы» — вероятно, для еженедельной газеты провинциального городка Уэстпорт (штат Коннектикут), в котором провел почти все детство. Затем, пройдя начальную боевую подготовку в Ньюарке, я летом работал в воскресном отделе «Нью-Йорк таймс». Получив степень бакалавра в Гарвардском университете и стипендию для учебы в Оксфорде, я был в Англии внештатным корреспондентом той же «Таймс», а в каникулы замещал репортеров в ее лондонском представительстве и...

Это было в начале 60-х?

Р. Д. Совершенно верно, в 1964 году я защитил в Оксфорде диссертацию на степень доктора философии и приступил к постоянной работе в «Нью-Йорк таймс», то есть опять стал освещать убийства и вооруженные ограбления. К этому вре-

мени я хотя бы научился писать быстро и правильно — и, как мне кажется, приобрел качество, оставшееся со мной навсегда: уважительное отношение к читателю. Разумеется, читатели бывают разные, однако они могут быть и гораздо умнее, чем их считает большинство университетских преподавателей. На мой взгляд, с ними нельзя обращаться снисходительно, писать для них кое-как. Мы должны излагать свои мысли четко, не прибегать к жаргонизмам и уж, во всяком случае, верно передавать факты. Факты эти, как я уже сказал, могут быть сколь угодно сложными, но в газете прежде всего нужно точно знать фамилию убитого, знать, сколько ему было лет, знать его адрес. Кроме того, у всякой информации должен быть источник, и на него иногда приходится ссылаться. Нельзя ничего перепутать — иначе вам достанется на орехи, когда вас вызовет к себе ночью дежурный редактор. Большинству аспирантов не мешало бы несколько месяцев поработать в криминальном отделе. В моем случае этот опыт привил мне восхищение перед средствами массовой информации и общественным мнением. Начав с интереса к философии и традиционной истории идей, я постепенно отклонился в своих исследованиях в другую сторону, поскольку меня увлекло распространение идей в низах общества. Мне захотелось создать «социальную историю идей» (выражение Альфонса Дюпрона), написать историю мысли «снизу», как это было принято называть в 60-х годах. Меня мало волнует передача философских систем от одного мыслителя к другому. Мне интереснее разбираться в том, как понимают мир простые люди, какие они привносят в него чувства, откуда черпают информацию и как воплощают ее в стратегию выживания при создавшихся обстоятельствах. Для меня простые люди умны, хотя они не интеллектуалы. И я подумал: почему бы не создать интеллектуальную историю неинтеллектуалов... или, если угодно, историю мировоззрений, историю ментальностей, которая бы сосредоточила свое внимание не столько на определяющей роли общественного устройства, сколько на том, как люди постигают смысл окружающей действительности?

Возможно, такой подход к истории обусловлен моим опытом газетного репортера, человека, берущего интервью, излагающего события и задающего себе главный вопрос, который

неизменно встает перед дежурными редакторами и корреспондентами, когда они сочиняют вступительный абзац к статье или заметке: в чем суть данной истории? Газеты все-таки предлагают нам не само происшествие, а историю о нем. Повествовательный аспект журналистики едва ли подвергался серьезному изучению, а ведь через него можно постичь сущность распространения информации. Как нормы газетного изложения воздействуют на передачу фактов, как они формируют общественное мнение, а в известной степени — и мировоззрение?

Репортерский опыт, вероятно, сказался на моем восприятии истории и благодаря полиции. Я провел столько времени в разных полицейских участках, что невольно, сам того не замечая, пристрастился к работе в полицейских архивах. Теперь оказывается, что я постоянно обращаюсь к собранным в них материалам для понимания некоторых аспектов истории литературы — например, социального положения писателей, профессиональной принадлежности тех, кто составлял Литературную республику, тиражей книг и даже влияния литературы на то, что полиция называла *l'esprit public* (настроением общества). Это отнюдь не значит, что я доверяю всем архивным находкам. Напротив, проведя массу времени среди полицейских инспекторов и сыскных агентов, я привык не верить им. И все же собранные ими сведения (при всей их предвзятости) можно использовать для того, чтобы разобраться в правилах литературной игры и в том, как в нее играли цензоры; с их помощью можно выявить комиссионеров от культуры и узнать принципы их действий в издательском деле и при распределении покровительства; можно проследить за распространением информации изустно и через печатное слово; можно выяснить, сколько всего было писателей, где они жили, как выглядели и с кем спали. Возможности безграничны, а историки пока только начинают ими пользоваться.

Больше всего Вы занимаетесь Францией XVIII века. Как возник такой интерес?

Р. Д. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Вероятно, кажется странным, что американец конца XX века

может быть увлечен Францией восемнадцатого, но, хотя я очень люблю эту страну и ее народ, меня интересует не столько Франция, сколько темы и проблемы, которые лучше всего изучать на ее примере — прежде всего благодаря обширным архивам и историографии. Франция была первым полицейским государством (если понимать слово «полиция» в его тогдашнем значении — как современный, рациональный способ оказания государственных услуг). Чтобы справиться со своей задачей, полиция развела очень много писанины. И эти бумаги, исписанные корявым почерком соглядатаев, полицейских инспекторов и их начальства, можно прочитать до сих пор: в бесконечных коробках архивов хранится неисчислимое множество бумаг. Открыть такую коробку в Национальном архиве или в Библиотеке Арсенала значит попасть в совершенно иной мир, причем никогда не известно, что вас там ожидает. В одной из них я обнаружил отчеты полицейских осведомителей о том, какие разговоры велись в 1726–1729 годах в 29 парижских кафе. Это было равносильно возможности пройтись по французской столице почти трехсотлетней давности и подслушать разговоры горожан. Конечно, подобные отчеты нельзя воспринимать буквально, поскольку осведомители искажали факты в угоду собственным интересам. Тем не менее французские архивы напоминают огромную лабораторию, в которой можно исследовать такие вроде бы не поддающиеся изучению проблемы, как состояние общественного мнения. И я больше заинтересован в решении этих проблем, чем в истории самой Франции.

Вы не раз упоминали о том, что Вам повезло напасть на мечту историка – собрание никем не исследованных документов. Это был архив Типографического товарищества Невшателя, единственного издательства XVIII века, чьи бумаги дошли до нашего времени. С помощью этого архива Вы написали захватывающую историю «Энциклопедии», которая лишь теперь выходит в переводе на португальский. Вы когда-нибудь думали о том, что было бы, если бы Вам не улыбнулась удача? Каков был бы Ваш удел? Какую роль сыграло ТТН в формировании Роберта Дарнтона сегодняшнего дня?

Р. Д. Очень трудно рассуждать о «если бы да кабы». Разумеется, я многим в своей научной карьере обязан знакомству

с этим невероятно богатым собранием: 50 тысяч писем, бухгалтерских книг и разнообразных документов. Все мое ощущение XVIII века складывалось под влиянием долгих лет кропотливой работы с этим источником. Если бы у меня не было такой возможности, моя жизнь могла бы пойти в другом направлении...

Вы напали на архив в самом начале научной карьеры...

Р. Д. Не совсем. К тому времени я уже опубликовал одну книгу. Это была книга о гипнотизме.

Докторскую диссертацию?

Р. Д. Нет, диссертация осталась неизданной. Первая книга была посвящена истории науки, в частности, ее популяризации, и представляла собой попытку сочинения в духе «истории ментальностей», которая как раз разрабатывалась во Франции, хотя мое сотрудничество с французскими друзьями началось позднее. В книге рассматривались способы видения мира накануне Французской революции. Я исследовал моду на «животный магнетизм», или гипнотизм, в качестве примера мировоззрения, которым очень увлекались в предреволюционном Париже и которое было окрашено своеобразным политическим радикализмом. Весьма вероятно, что я продолжил бы работу по изучению мировоззрений. Кстати, «Великое кошачье побоище» следует примерно в том же направлении, какое я скорее всего избрал бы для себя, если бы не отвлекся на Невшатель.

Как Вы нашли этот архив?

Р. Д. В 1963 году, когда я работал в Оксфорде над докторской диссертацией, в одной швейцарской книге мне попалась сноска с предположением о том, что в Невшательской библиотеке сохранились оригиналы писем Жака-Пьера Бриссо, возглавлявшего в период Французской революции партию «бриссотинцев», или жирондистов. Он интересовал меня, потому что был из числа французов, поддавшихся в 80-х го-

дах XVIII века моде на всё американское. В 1962 году я написал небольшую работу о нем и других членах радикального клуба под названием «Галло-американское общество» и хотел побольше разузнать о Бриссо для диссертации. Тогда я обратился в Невшательскую библиотеку с вопросом: «Нет ли у вас писем Жака-Пьера Бриссо?» — рассчитывая, что этот вопрос обойдется мне в стоимость почтовой марки. Директор библиотеки прислал мне ответ со следующей же почтой: писем оказалось 119, и он приложил фотокопию одного из них. Бриссо написал это письмо в 1784 году, после освобождения из Бастилии. В нем он поведал издателям, то есть ТТН, печальную историю своей литературной карьеры — в качестве оправдания, что не может заплатить по счетам. Тюремное заключение разорило его, а он остался должен швейцарцам крупную сумму за издание нескольких книг. Столь яркое свидетельство из истории писательского дела потрясло меня, и я решил при первой же возможности съездить в Невшатель, чтобы прочитать эти письма.

И они все там сохранились?

Р. Д. Не просто сохранились, но в изумительном порядке. Все 50 тысяч документов были безукоризненно рассортированы удалившимся от дел аптекарем, Жаном Жанпретром, который посвятил этому последние годы своей жизни. Впрочем, сначала мне предстояло вернуться к убийствам и изнасилованиям в «Нью-Йорк таймс». Затем, по рекомендации моего бывшего руководителя, Артура Шлезингера Младшего, мне предложили в Гарвардском университете должность младшего научного сотрудника. Я ушел из газеты, перебрался в Гарвард и как можно скорее поехал в Швейцарию, в Невшатель. И вот они передо мной: все 119 писем Бриссо в окружении 50 тысяч прочих бумаг, в том числе писем от людей, о которых я никогда не слышал, людей из мира книг: отливщиков шрифтов, типографов, изготовителей бумаги, контрабандистов, коробейников, писателей, читателей — это был целый мир, неведомый историкам и ждущий своего часа. Верный своим планам, я начал с биографии Бриссо; точнее, я написал 500 страниц чернового текста, который до сих пор

лежит у меня в столе — неопубликованный. Работа была прервана, потому что я решил, что биография книги важнее биографии Бриссо. Так родилось исследование об «Энциклопедии». По ходу работы мне попадалось множество материалов о пиратстве, торговых войнах, промышленном шпионаже, всяческих интригах и заговорах. Они сплелись в детективный сюжет о реальном преступлении, о грандиозном мошенничестве (если угодно, я снова вел репортаж о криминальном расследовании). Я постарался рассказать эту чисто человеческую историю в рамках научного текста, посвященного созданию и распространению самой значительной книги эпохи Просвещения.

Из этой истории, которую Вы поведали в «Бизнесе эпохи Просвещения», явствует, что «Энциклопедии», считавшейся книгой опасной и запрещенной, было позволено распространиться по Франции. В живой и убедительной манере Вы продемонстрировали, как сочинение, ранее обвинявшееся в подрыве религиозных и государственных устоев, стало бестселлером – официально осуждаемым и в то же время допускаемым властями. Был ли это исключительный случай, или такое можно считать характерным для эпохи с ее парадоксами и двойственностью?

Р. Д. Разумеется, я согласен с вами насчет парадоксов и двойственности эпохи, однако не стоит преувеличивать легальность «Энциклопедии». Она была квазилегальна, фактически вне закона. По нашим меркам это кажется невозможным: всё должно быть либо законным, либо незаконным. Но при старом режиме, с его расплывчатостью границ, подобные случаи были в порядке вещей. Я мог бы привести длинный список технических терминов («молчаливое согласие», «в виде уступки» и т.д.), которыми обозначались разные варианты существования так называемого «серого», относящегося к области полулегального. После скандала, который вызвала «Энциклопедия» в 50-х годах XVIII века, она тихо и тайно перешла в эту «серую» зону. Международные издательские консорциумы пользовались таким положением дел для выпуска все новых ее изданий, сначала ин-фолио, затем ин-кварто и, наконец, ин-октаво. По мере уменьшения размера снижа-

лась цена, однако подписка продолжалась, и со временем книга дошла до широкой публики, после чего началась настоящая драка за прибыли от удачного издания, свара, породившая пиратство и торговые войны. Эти конфликты очень много говорят нам об экономической и политической стороне издательского дела, однако основной сюжет связан с попытками профессионалов издательского дела удовлетворить нескончаемый спрос на труд, ставший библией эпохи Просвещения.

Как Вы думаете, такая судьба ждала многие труды?

Р. Д. Можно сказать, что многие, но это были совершенно определенные книги. Закончив работу об «Энциклопедии», я написал исследование под названием «Запрещенные бестселлеры предреволюционной Франции» («The Forbidden Bestsellers of Pre-Revolutionary France»), которое вышло вместе с дополняющим его томом «Свод подпольной французской литературы, 1769–1789» («The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769–1789»). В них я попытался измерить спрос на нелегальную литературу и составить ретроспективный список бестселлеров, то есть книг, получивших наибольшее распространение в течение двух десятилетий накануне революции. Это было сопряжено со многими трудностями и потребовало нескольких лет дополнительной работы, и все же в конце концов мне удалось сделать обзор литературы из самого противозаконного сектора книготорговли, а именно произведений, бросавших вызов религиозным, политическим и нравственным традициям. В некоторых бестселлерах (например, в «Частной жизни Людовика XV» или «Тайных историях про графиню Дюбарри») оскорбление властей происходило по всем направлениям сразу, зато они давали необыкновенно яркую картину современной истории. Мне кажется, они сильно повлияли на восприятие событий французами, особенно в критические периоды 1770–1774 и 1787–1789 годов. Тем не менее я признаю, что мне нелегко отвечать на вопросы типа: «Каким образом Вы на основе данных о продаже книги делаете выводы о ее влиянии на общественное мнение, а затем и на поступки граждан?» На данном эта-

пе я бы сказал, что мы можем достаточно точно определить лишь круг чтения читающей публики, хотя и это немало, тем более что тут намечаются кое-какие неожиданности по сравнению с общепринятыми суждениями. Французы, несомненно, ценили Вольтера и Руссо, однако они также с жадностью поглощали клеветнические рассказы о приватной жизни короля, его фавориток и министров. Сегодня «Частная жизнь Людовика XV» безвозвратно забыта, и все же, если вы хотите реконструировать литературную культуру в том виде, в каком она была в то время, эта книга заслуживает внимания. И, право, с ней не соскучишься.

Можно ли рассматривать связь Просвещения с бизнесом и подпольным книгоизданием как оборотную, темную сторону этой Эпохи Света? Существует ли миф о Lumières (Просвещении)?

Р. Д. Разумеется, о Просвещении ходили мифы. В их создании участвовали «философы», которые мнили себя воинами, самоотверженно сражающимися с силами тьмы на благо человечества. Впрочем, мифы — это не обязательно вымысел. По-моему, в этом мифе как раз есть изрядная доля правды. Вольтер уж несомненно посвятил себя борьбе против *l'infâme* (гадины), под которой подразумевались нетерпимость и несправедливость вообще и католическая церковь в частности. Во второй половине жизни он и не пытался получать какие-либо доходы от книг, хотя заработал кучу денег другими способами. Он даже сотрудничал с пиратами, которые перепечатывали его сочинения втайне от первоначальных издателей. Это был способ более широкого распространения света. Так что утверждать, что в основе эпохи Просвещения была преданность общему делу, разумеется, можно.

Куда бы Вы отнесли Руссо?

Р. Д. По-моему, и Руссо, и Дидро тоже руководствовались желанием освободить человечество — освободить от предрассудков, от тирании церкви, от репрессивной власти государства. Я вовсе не хотел бы преуменьшать идеалистическую сторону их участия в общем деле. Они, наряду с Вольтером,

способствовали появлению в обществе нового его представителя: интеллигента-интеллектуала — в противовес ученому или священнослужителю. Однако даже интеллектуалу нужно чем-то питаться, а как быть, если рядом с ним еще и Супруга Интеллектуала? Хотя «философам» и рекомендовали воздерживаться от брака, некоторым из них приходилось кормить жен и детей.

А предполагалось, что они будут миссионерами, миссионерами гуманизма?

Р. Д. Да, но откуда они должны были добывать свой хлеб? Хорошо, если ты богат и родовит, Руссо же был сыном часовщика, а Дидро — сыном ножовщика. Им надо было зарабатывать деньги и иногда приходилось браться за литературную поденщину. Меня всегда привлекала тема такого поденщика — писателя, который пытается собственным пером выбиться из нищеты и на этом пути сталкивается с экономическими и социальными проблемами, усложнявшими жизнь многих его современников. Мы склонны забывать о том, что для человека прошлого нищета была едва ли не основной реальностью. Даже издатели и книгопродавцы постоянно боролись с тем, чтобы не впасть в бедность, — за исключением разве что немногих баловней книжного дела вроде Панкука, Перисса дю Люка или Крамера, которые жили в относительной роскоши. Я вовсе не хочу сказать, что этим людям недоставало чувства призвания или преданности идеалам (в том числе идеалам Просвещения, как это было в случае с Панкуком и Крамером), но они обязаны были добиваться прибыли. В XVIII веке еще не существовало ограниченной ответственности, поэтому если ты становился банкротом, то терял все. Я прочитал много досье с историей о том, как книготорговец лезет из кожи вон, предпринимает отчаянные попытки отсрочить час расплаты и все же разоряется, не сумев оплатить переводный вексель. В конце концов взыскатель долгов или сосед сообщали, что человек исчез: «оставил ключи под дверью», поступил на военную службу, отправился в Америку сражаться за ее независимость, уехал в Россию или на Карибское море — обычно бросив жену и детей попрошайничать на

паперти. Меня критиковали за то, что я изобразил книготорговлю слишком прагматичной и заинтересованной в прибыли, но я исходил из свидетельств самих торговцев, которые говорят: «Для книгопродавца лучшая книга та, что хорошо продается,» — и называют деньги «движущей силой всего на свете».

Неужели не существовало положения, среднего между нищетой и зажиточностью?

Р. Д. Существовало, однако конкуренция была настолько сильной, что речь зачастую шла о выживании сильнейших. Как я уже сказал, издание «Энциклопедии» сопровождалось пиратством и торговыми войнами. И все же сам этот труд воплощает собой эпоху Просвещения. В «Предварительном рассуждении» вкратце сформулированы ее основные идеи, а по всему тексту, даже в перекрестных ссылках, рассыпаны потрясающе смелые замечания и наблюдения. Мое самое любимое находится в первом томе, на букву «А», в статье о людоедстве, которое по-французски звучит как *anthropophagie*. Там совершенно правильно объяснено, что такое людоедство, и в конце приводится скромная отсылка: «См. Евхаристия». А в томе с «Е», на слово «Евхаристия», вас ожидает вполне традиционное описание святого причастия с отсылкой: «См. Антропофагия». Во многих отношениях «Энциклопедия» была радикальным трудом, но радикализм ее спрятан между строк, во второстепенных статьях или в перекрестных ссылках. В основном же это сочинение представляло собой просто свод знаний обо всем на свете, от А до Я. Для меня крайне интересно наблюдение о том, что заложенное в тексте современное, рациональное мировоззрение совпало с капиталистической сварой за рынки сбыта, благодаря которой «Энциклопедия» дошла до читателя. Я отнюдь не утверждаю, что такое мировоззрение может быть сведено к этой борьбе — скорее, что, занимаясь историей книги, постоянно приходится соотносить текст с контекстом.

То же справедливо и в отношении истории писателей, то есть попытки разобраться в том, как в XVIII веке возникает интеллектуал. Никто не станет отрицать гениальности Дид-

ро, который в основном и разработал само понятие гениальности, но мне кажется, нам следует соотносить его идеи и жизненный опыт. В 40-х годах, когда они с Руссо рассуждали о положении человека в мансардах и кафе, оба были литераторами-поденщиками. Я даже согласен с теми, кто видит в Руссо живую модель племянника Рамо, первого богемного интеллектуала, хотя относительно недавно обнаружен и изучен его настоящий прототип. От «Племянника Рамо» до «Письма к Даламберу о зрелищах» просветительская мысль шла непростым путем, в том числе не раз заглядывая на Граб-стрит, и привела она к постановке некоторых сложных вопросов о том, как воздействует культура на формирование духовного мира человека и на политическую жизнь общества.

В одном месте, где Вы очень удачно и ярко рассуждаете о труде историка, сказано, что лучше всего можно понять чужую культуру, если начинать с самых загадочных вещей. Пословица, шутка, обряд или другое свидетельство прошлого, которое кажется нам бессмысленным, как раз и способно подвести к пониманию иного способа видения мира. В «Великом кошачьем побоище», уже переведенном на португальский язык, Вы пробуете разобраться, что же было смешного в резне кошек, которая отвратительна нам, но которую так весело воспринимала компания печатников XVIII века. В Вашей более поздней работе, о запрещенной литературе, отмечена тенденция относить к одной категории сочинения философского и порнографического характера. Это тоже одна из тех несмешных шуток, разгадывание которой позволило бы нам глубже проникнуть в мировоззрение того времени?

Р. Д. Да, хотя в данном случае наблюдается обратный процесс: нам кажется забавным, что в XVIII веке путали философию с порнографией, тогда как жившие в ту эпоху люди считали совершенно естественным объединять их под одной рубрикой, для них в этом не было ничего смешного. Я обнаружил, что выражение «философская литература» использовалось постоянно — не только издателями и книгопродавцами, но и полицией, и самими писателями. Это было своеобразное кодовое наименование; вопрос в том, что именно оно охватывало. Как выясняется, категории, которыми опе-

рировали в XVIII веке, не совпадают с нашими. Мы отделяем эротику от метафизики, а французы эпохи Просвещения этого не делали. Нельзя сказать, чтобы они путали секс с чем-то еще, просто когда читаешь эротическую книгу XVIII века...

Что, секс может быть столь же опасен, как философия?

Р. Д. Совершенно верно. В XVIII веке считалось, что в сексе есть нечто, провоцирующее мысль. Я фактически позаимствовал страницу из «Первобытного мышления» Клода Леви-Строса, где он доказывает, что большинство людей не пользуется в мыслительных процессах абстрактными понятиями: люди «думают вещами», вещами *bonnes à penser* (то есть теми, с помощью которых «хорошо думается»). Как руками люди манипулируют предметами, так и в голове они приспосабливают друг к другу конкретный материал: мысленно сопоставляют разные вещи, выстраивают параллели и системы отношений между ними. Почти для всех мышление — нечто вроде интеллектуального бриколажа, и оно относится к *science du concret* (искусству конкретного). Мне кажется, для людей XVIII века секс тоже служил орудием мысли: с его помощью «хорошо думалось». Эротические сцены романов подталкивали читателей к размышлениям о природе удовольствия, о власти, о многом другом, в том числе, разумеется, об отношениях между мужчиной и женщиной. Собирая материал о заказах на запрещенные книги, я обнаружил, что одно из первых мест в списке бестселлеров занимает роман «Тереза-философ». В нем масса откровенной порнографии (да позволено мне будет так выразиться), но после непристойных описаний любовной близости автора заносит в философию. Восстанавливая силы перед очередной порцией наслаждения, любовники рассуждают об этических обязательствах, о существовании Бога, о прочих метафизических вопросах, которые поднимаются в философских трактатах того времени. Я даже нашел несколько отрывков, где автор слово в слово повторяет один из таких трактатов. Все это служит примером того, как история книги может, помимо всего прочего, обострять наше чутье на восприятие инаковости других эпох. Во Франции XVIII века взаимопроникновение порнографии,

философии и политики было столь же естественным для читателей, как убийство кошек — для ремесленников.

В Ваших трудах почти нет женщин. Почему?

Р. Д. Я практически не занимался историей женщин, так что они у меня действительно почти не встречаются. Отчасти я пытался восполнить этот пробел, рассматривая в «Запрещенных бестселлерах» «Терезу-философа», поскольку эту ныне забытую книгу можно воспринимать как манифест женского движения за равноправие. В нем отстаивается идея о том, что женщины имеет право на наслаждение, на счастье, на самореализацию и что условия осуществления этого права должны определяться самими женщинами, а не быть навязаны мужчинами или общепринятыми нормами. Женщины имеют право распоряжаться своим телом и принимать решения относительно своей жизни. Текст был весьма радикальным — как из-за откровенного атеизма (или, по выражению того времени, «спинозианства»), так и благодаря взглядам на женщин. Героиня книги, Тереза, и впрямь много философствует и может при этом заявить, что не хочет выходить замуж и иметь детей. Она отвергает роль жены и матери, утверждая свое право жить по собственному усмотрению, получая как можно больше удовольствия и оберегая себя от мук. История ее жизни представляет собой весьма радикальный эксперимент. Разумеется, для большинства женщин дореволюционной Франции он не был сколько-нибудь реальной возможностью — и все же мог подтолкнуть их к обдумыванию своей судьбы.

Теперь давайте обратимся к «Революции в печати» («Revolution in Print») – коллективному труду о французской прессе конца XVIII века, который Вы редактировали. Там сказано, что эта книга призвана не столько прославлять идеалы 1789 года или удовлетворять любопытство к старине, сколько заново оценить могущество печати и таким образом включиться в дискуссию о роли средств массовой информации в жизни современного общества. Какой Вы видите роль печатного станка в наш век разнообразных средств коммуникации?

Р. Д. Среди грустных явлений я бы хотел отметить упадок не столько книги, сколько газеты. Меня приглашали на такое количество конференций, посвященных кончине книги, что похоже, она очень даже жива. А вот газеты повсеместно умирают. Им наносит смертельный удар телевидение (в Бразилии это наверняка заметно не меньше, чем в Соединенных Штатах), хотя телевидение, при всей его наглядности и яркости, — плохая замена газетам. В свое время у меня была мысль написать работу о нью-йоркских газетах и газетчиках 20-х–30-х годов XX века. Начав знакомиться с источниками, я обнаружил, что в 1920 году в Нью-Йорке выходило 27 ежедневных газет только на английском языке, а ведь были еще на иностранных, в том числе три на идише. Сегодня их осталось меньше полудюжины. Если правда, что большинство американцев смотрит телевизор по пять-шесть часов в день, значит, мы живем в мире, до неузнаваемости преображенном этим новым средством информации. Ежедневная газета больше не оказывает решающего воздействия на то, как люди понимают окружающий мир. Разумеется, она еще имеет значение, но теперь газета лишь одно из средств массовой информации, изливающих на публику поток сведений, чаще всего устно и в виде визуальных образов. Люди в основном воспринимают новости с экрана телевизора — подобно тому, как воспринимали их двести лет назад при публичном чтении газет. Я убежден, что при изучении масс-медиа в любую эпоху важно выяснить место печатного слова в ряду других средств информации. Недавно мне довелось заняться парижскими уличными песенками XVIII века. Они представляли собой нечто вроде устных выпусков газет, поскольку парижане сочиняли новые слова к старым мелодиям, отзываясь на текущие события. В городе пели на каждом углу, но это были перепевы сплетен, подслушанных в кафе; потом все эти «городские толки» попадали в продававшиеся «из-под полы» рукописные листки, а в конце концов — и в печать. Необходимо изучить, как дополнялись и искажались новости при переходе от одного средства оповещения к другому, тем более что эффект «испорченного телефона» присутствует и в наше время, будь то в устном общении или в Интернете. Не стану утверждать, что понимаю этот механизм. Кстати, вы спрашивали о сегодняшнем дне, а

я снова углубился в XVIII век. Дело в том, что история средств массовой информации способна высветить тот факт, что сейчас они функционируют не как независимые каналы, а как пересекающиеся и частично совпадающие сети в общей системе передачи информации. И уж во всяком случае история должна развеять нашу уверенность в том, что именно мы создали информационное общество.

Напоследок хочу задать личный вопрос. Если помните, в первом номере журнала «Зритель», вышедшем в марте 1711 года, Аддисон писал, что читателям чрезвычайно интересно знать, как живут авторы книг, которые они читают. Биографические сведения не только усиливают впечатление от книги, но и помогают понять замыслы автора. Не могли бы Вы последовать примеру Аддисона и удовлетворить любопытство бразильских читателей, рассказав о своем образе жизни, семье, повседневной работе, интересах – словом, обо всем, что сочтете нужным.

Р. Д. Думаю, меня прежде всего можно назвать примерным семьянином. У нас с женой Сьюзен трое детей, и все они уже вступили во взрослую жизнь. Как раз в этом году из дома уехала, поступив в университет, наша младшая дочь, Маргарет, а двое старших, Кейт и Ник, уже окончили его и начали работать. Теперь меня волнует, найдут ли они себе место в этом взрослом мире. Поскольку они росли в очень благоприятной обстановке, у них есть определенные преимущества, и я не сомневаюсь в том, что они сумеют заработать на кусок хлеба, но будут ли они получать удовлетворение от жизни, смогут ли прожить ее достаточно полнокровно и так, как хотелось бы им, а не мне? Сам же я по полгода провожу в Англии, занимаясь научной работой в оксфордском Колледже всех душ, а вторую половину года профессорствую в Принстоне. Моя жена согласна разрываться со мной между этими университетами, поэтому мы научились быстро укладывать и распаковывать чемоданы. Мы довольно много времени проводим во Франции и Германии. Это придает нашей жизни международный колорит, хотя я не хочу становиться, по выражению французов, «турбопрофессором». И все же мне очень нравится международный характер моей научной

жизни: будучи американцем и не претендуя ни на что другое, я ощущаю принадлежность не только к своей родине. Я ненавижу национализм и разрушения, вызванные им на земном шаре за последние двести лет. Мне хочется быть гражданином Литературной республики — республики, в которой нет границ и полицейских, которая впускает всякого, кто ходатайствует о получении ее гражданства, и прислушивается к любому, кому есть что сказать. Тем не менее в глубине души я остаюсь американцем. Как вам должно известно, университетская жизнь в Америке несколько иная, чем в Европе. Мы живем в университетских городках-кампусах, и эти кампусы зачастую напоминают оазисы посреди культурной пустыни. У нас есть библиотеки, художественные музеи, театры, кинотеатры, концертные залы и разнообразные спортивные сооружения. Такая обстановка стимулирует, она хороша и для воспитания детей, и для научных занятий, однако время от времени у тебя возникает ощущение оторванности от остального народа. Не знаю, как в Бразилии, но в Соединенных Штатах университетский профессор нередко существует в совершенно ином духовном мире, чем большинство его сограждан; во всяком случае, такая опасность весьма реальна. Из-за этого мне иногда гораздо уютнее во Франции, чем в Америке...

Чем в Америке?

Р. Д. Да, в Америке за пределами университета, в Америке супермаркетов и универмагов. Принстон по преимуществу университетский город, но всего в нескольких милях к северу и к югу от него расположены крупные города с ужасающими трущобами и расовыми проблемами. Я познакомился с такими районами в Ньюарке в пору своей репортерской работы и проезжаю мимо них по дороге в аэропорт; а проезжая, каждый раз спрашиваю себя: что я сделал, чтобы облегчить страдания тамошних обитателей? На борт самолета, вылетающего в Париж, я поднимаюсь с чувством вины. В то время как сам я живу интеллектуально насыщенной жизнью, тысячи моих соотечественников, многие из которых неграмотны, влачат жалкое существование в этих трущобах. Неудивительно, что я не всегда путешествую с чистой совестью.

Зато я с удовольствием участвую в жизни общества еще в одном качестве. С годами ко мне пришло некоторое научное признание, и теперь меня приглашают быть членом правления или совета различных учреждений, так что я довольно много времени провожу вне университета. Особенно мне нравится входить в попечительский совет Нью-Йоркской публичной библиотеки; на мой взгляд, это удивительное книгохранилище — лучшее и самое демократичное во всей стране. Туда может зайти и заказать книгу любой человек с улицы — и едва ли не любую книгу на свете. В этом огромном мраморном читальном зале не надо предъявлять документов, не надо платить ни единого цента, не надо иметь рекомендаций или разрешений. Достаточно попросить книгу под определенным названием, и через несколько минут она будет у вас в руках. Двери этого дома знаний открыты для всех, поэтому туда любят приходить иммигранты — заниматься самообразованием и читать книги на родном языке. Невзирая на название, эта *публичная* библиотека является частным учреждением, и попечительскому совету приходится тратить немало усилий, чтобы добыть средства на ее содержание, тем более что в круг ее деятельности входит организация лекций и выставок, оказание помощи писателям и многое другое. Мои занятия историей книги привели меня также в попечительский совет издательства «Оксфорд юниверсити пресс» (американский филиал) и в советы Фонда Вольтера, Трудов Бенджамина Франклина и Трудов Томаса Джефферсона. Участие в работах советов уводило меня и еще дальше от Принстона — в Центр специальных исследований по поведенческим наукам в Стэнфорде (штат Калифорния), в Берлинскую научную коллегию или в Центр по изучению европейской эпохи Просвещения в Потсдаме. Все эти учреждения можно назвать аванпостами Литературной республики, которые делают доброе дело и потому заслуживают поддержки.

Разве они как-то связаны с Принстоном?

Р. Д. Нет, но университет великодушно разрешает мне посвящать много времени внеаудиторной работе за его пределами. Семь лет подряд он позволял мне организовывать

летом Восточно-западный семинар по истории XVIII века. На этот семинар, спонсором которого выступал Фонд Меллона, приглашались молодые ученые не только из Америки и Западной Европы, но и из стран Восточной Европы: мы хотели наладить диалог между поколениями, разделенными холодной войной. Первый семинар состоялся в Берлине всего за четыре месяца до падения Берлинской стены. Последующие встречи было легче организовывать в дипломатическом плане, зато труднее в финансовом, поскольку представители Восточной Европы столкнулись с невероятными материальными трудностями и им стало еще сложнее поддерживать связь с Западом. После недельного семинара, посвященного докладам и обсуждению интересующих их проблем с западными коллегами, ученые из Восточной Европы имели возможность остаться еще на месяц в городе, где он проводился, — после Берлина такими городами стали Париж, Оксфорд, Неаполь и голландский Вассенар (он находится между Гаагой и Лейденом). Они могли использовать культурный потенциал города, как им заблагорассудится, но главной задачей семинара было наладить контакты, создать круг людей, которых бы связывали дружба и обмен идеями. Думаю, это удалось, хотя и не в глобальном масштабе. Кстати, Просвещение, на мой взгляд, тоже можно понимать как ранний вариант того, что сегодня называется использованием Сети. Призыв Вольтера «раздавить гадину» и попытка Дидро изменить способ видения мира нашли отклик, потому что эти «философы» постоянно завязывали и поддерживали отношения с коллегами-литераторами: они писали письма, сочиняли памфлеты, навещали и принимали друзей, обсуждали профессиональные темы. Они подали нам всем замечательный пример. Разумеется, мы не можем соперничать с ними в уме и познаниях, но каждый из нас может по мере своих сил способствовать возрождению одного института XVIII века, который бы очень украсил и нашу эпоху: Литературной республики. Я считаю себя подданным этой республики и не думаю, что моя приверженность ей несовместима с профессурой в Принстоне и гражданством Соединенных Штатов.

УКАЗАТЕЛЬ

Аарне, Антти 1, 20, 25, 27, 308 (1), 310 (7)
Айенский, герцог 197
«Академия дам» (порнографическая книга) 115
Академия музыки (Монпелье) 136, 159, 165
Академия наук (Париж) 165
академия, Французская 188, 195, 196, 199
Аккампо, Элинор 318 (16)
«Аладдин» 309
американская Война за независимость 49
Англия: детские стишки и сказки 48–55, 59, 70; издевательство над кошками 110; жизнь в деревне 302
«Анналы: Экономика, общества, цивилизации» (журнал) 300
Анри, Луи 34
Ансом, Луи 204
антиклерикализм 66, 187
антисемитизм 66
антропологическая история 6–7, 306
«Апельсин» (AT 325) 38–39
Аретино 115
Аржанс, маркиз д' 211, 223
Аржансон, граф д' 183, 199, 210, 216, 221, 222
Аристотель 228, 240, 241
Арьес, Филипп 301, 302, 335 (56), 337 (1), 338 (3)
атеизм 214–218
Ахенский мир 174, 200

Базиль, семейство 136
Бальзак, Оноре де 168, 208
Барбер, Джайлз 95, 316 (1), 322 (34)
Барбер, Элинор 322 (6)
Баррюэль, аббат 216
Баски дю Кайла, дворянский род 168
Бастид, Жан-Франсуа де 282, 327 (8), 335 (61)
Бастилия, заключение в нее писателей 176, 185, 186, 189, 209–212, 215, 218
Батте, Шарль 199
Бахтин, Михаил 109, 118, 320 (27)
Беккер А. Л. 332 (2)
«Белая птица, небылица в лицах» (Дидро) 220
Белльваль, семейство 169
Берк, Иоганн Адам 291, 337 (76)

*Цифра в скобках после страницы означает номер примечания.

Берк, Питер 316 (71)
Бернар, Жан-Пьер 187
Бернардони, Мари-Мадлен 286
Бернис, Франсуа-Жоашен де Пьер, аббат 195–198
Беррье, Никола-Рене 189, 190, 210, 211, 223
Бертеле, Жозеф 321 (1)
Бертен де Фрато, Луи-Матье 211, 216
Бертье, Гийом-Франсуа 234
«Бесподобный корабль» (AT 283) 46, 67
Беттельгейм, Бруно 14, 17–18, 309 (5)
Бланьи, Бертен де 201
Блок, Марк 307
Боас, Франц 338 (2)
Бове Ж.-Б.-Ш.-М. де 179
Бодлер, Шарль 109, 319
Боко, семейство 169–170
Болте, Иоганнес 308 (3), 310 (7), 314 (48), 315 (48)
Бомон, Кристоф де 333 (32)
Бон, семейство 169–170
Бонневаль, Рене де 202
Борхес, Хорхе Луис 225
Боссюэ, Жак-Бенинь 179, 265
«Браслет» (AT 590) 47
Бре, Антуан 212
Бриггз, Кэтрин 314 (48, 51)
«Брижитта, мать, которая меня не родила, но выкормила» (AT 713) 40
Бриньяк де Монтарно, род 168
Бродель, Фернан 31, 312 (25), 313 (27), 322 (4), 337 (1)
Буа, Поль 29
Буасси, Луи де 193, 204, 209
Будо, Пьер-Жан 198
Бурдье, Пьер-Жан 328 (15)
Буретт, Шарлотта 184, 282, 335 (61)
буржуазия: в смысле слова XVIII в. 133–134; наем и увольнение работников 98–101; в историческом аспекте 130–133; ее лицемерие 108; условия существования 101; термин «буржуа» 130; в Монпелье 148–167; пристрастие к кошкам 91–93; суеверие 114; символические протесты против нее 115–120; писатели в ее среде 179
Бут, Уэйн 331
Бэкон, Франсис 228–236, 241–242, 245, 330 (15, 25)
Бюиссон Ж.-Л. 282, 335 (61)
Бюффон, Жорж Луи Леклерк 174, 242

Валантен (полицейский осведомитель) 217–218
Ван Геннеп, Арнольд 317 (14), 318 (21)
Ваньон, Вьолле де 184
Вебер, Макс 327 (7)
«Век Людовика XIV» (Вольтер) 244
Велли, Поль-Франсуа 187
«Верный слуга» (AT 516) 68
Верьер, м-ль (актриса) 203
Виар, Никола-Антуан 261–265, 291, 333 (14)
Вобан, маркиз де 189, 208
Вовель, Мишель 131, 301, 302, 323 (6), 337 (1)
Возрождения, эпоха 193, 228, 234, 290; энциклопедисты о ней 241–242, 244

«Волк и семеро козлят» (AT 123) 16
«Волшебницы» (AT 480) 64
Вольтер 136, 178, 207, 244, 267, 269, 277, 282, 288, 328 (13), 331 (44); его вклад в «Энциклопедию» 244; об образовании 162; полицейские рапорты о нем 187, 192, 208, 214, 217; в качестве покровителя 200
«Воспоминания г-на де Майе об описании Египта» 188
«Вошь» (AT 621) 21
Вьемезон (писатель) 193
Вьемезон, г-жа 212

Гайар, Габриэль-Анри 200
Галилей 242
Гарвей, Уильям 242
Гардан, Морис 132, 323 (6), 338 (1)
«Гензель и Гретель» (AT 327) 17, 19, 27, 38, 46
«Генриада наизнанку» (Фужере де Монброн) 222
Герардини, Фабио 210
Германия: сказки 15, 27–28, 49, 52, 56–72, 76; шаривари 103
Геру, Луи-Никола 216
«Гигантский зуб» (AT 562) 74
Гирц, Клиффорд 5, 338 (2), 339 (4)
Гоббс, Томас 230, 237
голод: в английских стишках 49–50; как тема сказок 39–42; среди крестьян 30
«Голубая библиотека» (серия) 80
Гольбах, барон 214
Гомер 26, 79
«Госпожа Метелица» (Гримм 24) 65
Грассе, семейство 169
Граффиньи, г-жа де 184
Грёз, Жан-Батист 164
Грессе Ж.-Б.-Л. 202
Гримм, Якоб и Вильгельм 15–18, 27, 56, 58–62, 64–66, 72, 76, 83, 308 (3), 314 (51), 315 (52)
Гролло, Луи 21
Губер, Пьер 29, 34, 312 (24, 27)
гугеноты 11–12
Гуди, Джек 26, 311 (18)
Гурне, Пьер-Матиас де 209, 212
«Густав Ваза» (Пирон) 188
Гюго, Виктор 208
Гюйгенс, Христиан 242
Гюйон, Бернар 334 (34)

Дуглас, Мэри 109, 329 (4)
Даламбер (Д'Аламбер), Жан Лерон 188, 202, 205, 228–245, 324 (9), 328 (13), 331 (37, 47), 333 (32); полицейские рапорты на него 178, 214; разрыв с ним Руссо 267
«Два горбуна» (AT 503) 67
«Два странника» (AT 613) 47
дворянство: писатели из этого круга 179; происхождение 168–169; предприниматели 132; в Монпелье 147–148, 152–154, 164–165
де ла Круа де Кандильярг, род 168
де ла Шапель, Жан-Батист 215
«Девушки выходят замуж за животных» (AT 552) 44–45
Дежарден, Мишель 179
деизм 217

Дейде, семейство 169
Декарт, Рене 237–239, 241–243
Деларю, Поль 21, 26, 308 (1, 3), 310 (8), 312 (20), 314 (50, 51)
Делепин (издатель) 201
демографические кризисы 30
детская литература 256–257, 280, 297–299
детский труд: в деревенской жизни 35; в сказках 36, 38
Джеймисон, Реймонд 26
«Джек – Победитель Великанов» 53–54
«Джек и бобовый стебель» 309 (5)
Джент, Томас 95, 318 (21)
Дидро, Дени 10, 136, 164, 174, 186, 224, 228–235, 245, 324 (9), 329 (5, 7), 334 (34); женитьба 204; гонорар за «Энциклопедию» 201; полицейские рапорты на него 178, 205–206, 214–216, 218–220; разрыв с Руссо 268–270
«Дикарь» (AT 502) 72
Диккенс, Чарльз 128–129
«Дом, который построил Джек» 52–53
«Дон Кихот» (Сервантес) 109, 319 (26)
Дона, Доминик 321 (1)
Дре де Радье Ж.-Ф. 202, 212
древо знания 228, 230–236, 240–241, 245–249
Дромгольд, Жан 199
Друйе, Жан 20
Дубле, г-жа 212
духовенство: в Монпелье 137–138, 142–144; сочинители в его среде 179
«Дьявол и кузнец» (AT 330) 41, 75–76
Дэвис, Натали З. 337 (69), 339 (4)
Дю Верже, г-жа 286, 336 (64)
дю Деффан, мадам 214
Дю Перу, Александр 278
дю Фай, Ноэль 22
Дюби, Жорж 321 (1), 337 (1)
Дюбуа, мадам 209–210, 213
Дюкло, Шарль Пино 188, 196, 214
Дюлимон, Пуатевен 202
Дюпакье, Жак 34, 312 (25, 27)
Дюран, Лоран 215
Дюран, семейство 136
Дюранлон, Антуан 199
Дюркгейм, Эмиль 338 (2)
Дюфур, Пьер 198
Дюше, семейство 169

евреи (иудеи): запрет на свинину 109; терпимость по отношению к ним 166
«Еврей в терновнике» (Гримм 110) 66, 83–88
«Естественная история» (Бюффон) 174

Жаме, Пьер-Шарль 206, 210
«Жан Бесстрашный» (AT 326) 46
«Жан-Дуралей» (AT 675) 28
Жанлис, г-жа де 258, 280
желания, их исполнение в крестьянских сказках 41–43
женщины-писательницы 184–185
«Жерминаль» 109, 319–320 (26)
животные: их классификация 225, 227; онтологическая

позиция 109; их истязание как развлечение 109; *см. также:* кошки
Жид, Андре 79
Жирарден, маркиз де 278
Жофрен, г-жа 214
Жубер, семейство 169
Жуэн, Никола 210

«Золотой гусь» (Гримм 64) 72
«Золушка» 19, 22, 23, 34, 36, 40; китайский вариант 26
Золя, Эмиль 208, 319 (26)
зуньи, их сказки 25, 311 (17)

Ивон, аббат 179, 215–216
игры 156–157
идеология: буржуазная 130–131; эпохи Просвещения 174, 214, 216; реакция на нее полиции 208–210; соотношение между ней и информацией 225
иезуиты 145, 166, 174, 188, 221
Изанкьен, маршал д' 207
Изер, Вольфганг 331 (1)
индоевропейские сказки 26–27
индустриализация 130–132
интеллектуалы 173, 178; *см. также:* писатели
Иоанн Богослов 104
Иоанн Креститель 103, 15, 217
ирландские сказки 44
«Исповедь» (Руссо) 265, 274, 277, 278, 286, 287
историография, современная французская 300–302
«История княгини Таивен, мексиканской королевы» (Ламбер) 222
«История Монпелье» (Эгрефей) 169
итальянские сказки 52, 55–58

Каань, аббат 282, 335 (61)
«Как Жан Киот женился на Жаклин» (AT 593) 73, 195
календарные обряды 102–108
Каллер, Джонатан 331 (1)
Кальвин, Жан 269
Кальвино, Итало 314 (51), 315 (52)
Камю, Альбер 79, 292
«Канапе» (Фужере де Монброн) 223
Каппронье де Гофкур, Жан-Венсан 282, 335 (61)
карнавал 102–103; в Монпелье 158
«картезианство» (интриганство) 28, 36, 82
«Картины Парижа» (Мерсье) 258, 291
Кастр, род 168
Каюзак, Луи де 209–211
Кенсона, Ф.-З. де Лоберивьер, шевалье де 212
классификационные схемы 225, 227–228
Клермонский, граф 197–199, 207, 210
«Книдский храм» (Монтескье) 208
Коголен, шевалье де 192
«Козерог» (AT 571) 72
Кокле де Шосспьер Ш.-Ж. 202
«Колдун о трех кушаках» (AT 329) 67
Кольбер, Жан Батист 79, 189
Коменский, Ян Амос 228
Кондильяк, аббат 179, 242
Констан де Ребек Ф.-К. и Констан де Ребек Ф.-М.С. 288, 336 (69)
конфуцианство 241
«Корзина со смоквами» (AT 570) 62, 74

Королевская академия наук (Монпелье) 136
«Королевство вальдаров» (AT 400) 42
«Король-лягушонок» 309 (5)
«Космополит, гражданин мира» (Фужере де Монброн) 211, 223
«Косынка» (Фужере де Монброн) 223
«Кот в сапогах» 15, 36, 71, 83, 112; итальянский вариант 56; вариант Перро 82
кошки: обряды с их участием 102–103; онтологическая позиция 108–109; массовое избиение 91–96, 114–125; в сексуальных метафорах 112–114; издевательства над ними как развлечение 109–112; злые чары 110–113
«Крампуэ» (AT 569) 71
«Красавица и чудовище» (AT 433) 19
«Красная Шапочка» 13–14, 16–18, 21–23, 68, 71, 308–309 (3); итальянский вариант 56; вариант Перро 79
«Краткая история Франции» (Эно) 198
Кребийон-отец 176, 188
Кребийон-сын 176
Креки, маркиза де 187, 214
крестьянство 13–14, 81–83; его повседневная жизнь 29–35; домашнее хозяйство 43–45; бродяжничество 45–48; устное творчество 22–23; суеверия, связанные с кошками 111–112; *см. также* сказки, народные
Крон, Каарле 310 (7)
«Крошка Жан» (AT 328)
Куайе, Габриэль-Франсуа 197
«Кукла» (AT 571C) 69
«Кукольный дом» (Ибсен) 227
Кушинг, Фрэнк Хэмилтон 25, 311 (17)

л'Эклюз-де-Лож, аббат де 205
Ла Барр (памфлетист) 176, 200
ла Кост, Эммануэль-Жан де 185–186, 217
Ла Морльер, шевалье де 192
Ла Порт, Жозеф де 201, 326 (2)
«Ла Раме» (AT 559) 41, 70, 73
Ла Рош, Пьер де 336 (68)
Ла Сарра, А.-П. де Генген, барон де 282, 335 (61)
Ла Тай, Шарлотта де 284, 335 (61)
Ла Тур, Мари-Анн Алиссан де 286
ла Шез, род 170
Лабрусс, Эрнест 131–133, 301, 313 (27), 322 (4–6), 337 (1), 338 (2)
Лабрюйер 265, 266
Лаверн де Монбазен, род 168
Лажар, семейство 136
Лалив де Жюлли А.-Л. 288, 336 (69)
Ламбер, Клод-Франсуа, аббат 221–222
Лангер, Уильям 302
Лангле дю Френуа, Никола 210, 212
Ланфан де ла Патриер Б.-Л., барон де Борм 288, 336 (69)
Ле Блан де Вилльнев (писатель) 192
ле Блан, Жак 217–218
Ле Гофф, Жак 322 (5), 327 (1), 328 (2), 329 (4)

ле Кайла, род 170
Ле Куэнт Ж.-Л. 288, 336 (69)
Ле Маскрие, Жан-Батист 188
Ле Руа Ладюри, Эммануэль 29, 31, 312 (25), 312 (1), 339 (4)
Левассер, Тереза 221
Левек, Ханнетта 21
Леви-Строс, Клод 7, 26, 109, 311 (12), 319 (24), 338 (2)
Лейбниц, барон Готфрид Вильгельм 228, 242
Лепренс де Бомон, г-жа 258
Лесаж, Ален-Рене 164
Леспинасс, м-ль де 214
Лессинг, Готхольд 284
Лесюэр, Жан-Луи 201
Ли Р. А. 332 (3), 335 (60)
«Лиса» (AT 460)
«Литературная история правления Людовика XIV» (Ламбер) 222
Лич, Эдмунд Р. 109, 329 (4)
«Ловкий охотник» (AT 304) 72
Ложон, Пьер 196–197
Локк, Джон 230, 232, 237–242, 244, 330 (27)
Лондон, его описание у Диккенса 127, 129
Лорд, Элберт 24
Лорес, Антуан де 197, 328 (11)
Лоуи, Роберт 25, 311 (15, 16)
Луазо де Молеон А.-Ж. 282, 289, 335 (61), 336 (70)
Луллий, Порфирий и Раймунд 230
Людовик XIV, французский король 15, 76, 79, 163, 178, 208, 244
Людовик XV, французский король 164, 211
Люлли, Жан-Батист 80
Мабли, аббат 179
Майбуа, граф де 217
Макиавелли, Никколо 327 (4)
«Маленькая Аннетта» (AT 511) 40
«Маленький кузнец» (AT 317) 28, 72, 195
Малле, Эдме, аббат 215
Мальбранш, Никола де 239
Мальзерб, Ламуаньон де 216
«Мальчик с пальчик» (AT 327) 20, 23, 27, 35–36, 38, 46, 49, 53, 70–71, 314 (47)
Мангейм, Карл 328 (15)
Мандру, Робер 322 (4), 337 (1)
Мане, Эдуард 109, 319 (24)
Маннори, Луи 205
Мансар, Франсуа 222
Марен, Луи 331 (1)
Мариво, Пьер Карле де Шамблен де 164
Мариньи, Франсуа Ожье де 199
Маркс, Карл 168
марксистская историография 130–133, 301–302
Мармонтель (писатель) 203, 207
Масленица 111, 115; шабаши ведьм 111, 113–114
Массанн, семейство 169
«Матушка Гусыня»: английская 49–52; французская 18–19, 28, 79–81
мачехи 19, 34–35, 40, 65
Машо, граф де 211
«Медвежий Жан» (AT 301B) 22–23, 45–46, 67, 71
Меллен де Сент-Илэр Ф.-П. 212
Менье де Керлон А.-Ж. 204

Мерсье (писатель) 258, 282, 291
«Метромания» (Пирон) 188
Меэган, Гийом-Александр, аббат 215–217
Милон (поэт) 204
«Милый Роланд» (Гримм 56) 64
Моксон, Джозеф 318 (21)
молинисты 166
Мольер 167, 258, 265
монахи 141, 144, 145, 166, 185, 187
Монкальм, род 168, 170
Монкриф, Франсуа-Огюстен Паради де 183, 199, 320 (27)
Монпелье 126–172; производство в нем 134–135; рост населения 134; «главная процессия» 137–147; социально-экономические условия 147–168; зажиточные семейства 135–136
Монтескье, барон де 174, 178–179, 208, 214, 242
Морабен, Жак 206
Морино, Мишель 132, 323 (7)
Мориц Саксонский, маршал 193–194, 203
Морне, Даниэль 335 (60)
«Моя матушка меня убила, а батюшка съел» (AT 720) 19
Муи, Шарль де Фье, шевалье де 189, 202
Мульту, Поль-Клод 285, 336 (63)
Мунье, Ролан 131, 312 (24)
Мюллер, Мария 309 (3)
Мюрат, г-жи де 79
Мюшамбле, Робер 316 (71)
налоги: поборы с крестьян 32–33; налоговые льготы дворян 142, 153

«Народная французская сказка» (Деларю и Тенез) 26, 27, 64, 308 (1)
Национальная библиотека 174, 190, 261, 326 (1)
«Неблагодарные сыновья» (Пирон) 188
«Неверная сестра» (AT 315) 72
Неккер, Жак 189
«Нескромные сокровища» (Дидро) 214, 220
Нивелль де Ла Шоссе П.-К. 209
Ниверне, герцог де 196
Ницше, Фридрих 10, 292
нищие: в английских стишках 50–52; сказки о них 47–48
«Новая Элоиза» (Руссо) 266–274, 280–289, 291, 334 (32, 34), 335 (60)
«Новое поле деятельности для статистической истории: Подсчеты на третьем уровне» (Шоню) 300
«Норуа-Северяк» (AT 563) 47–48
«Нравы» (Туссен) 174, 201
Ньютон, Исаак 241–242, 244

«О достоинстве и приумножении наук» (Бэкон) 234, 245, 330 (15)
«О духе законов» (Монтескье) 174, 208
«Обжора» (AT 333 и AT 366) 42, 308 (1)
образование: отношение к его демократизации 161–162; педагогическая литература 256–257, 280

Овидий 265
одежда как отражение классовых различий 156, 159–161, 163
Озуф, Жак 327 (4)
Оливье (поэт) 209, 217
Онг, Уолтер 329 (5), 331 (1)
Онуа, Мари Катрин д' 15, 79
«Осада Бель-Иля» 49
Остервальд, Фредерик-Самюэль 254, 259, 261, 275, 276, 281, 290, 335 (59)
Оупи, Айона и Питер 49, 313 (46), 314 (47)

Пави, Гийом 255, 260, 278, 295, 333 (13)
Панкук Ш.-Ж. 282, 288, 335 (61), 336 (68)
Паскаль, Блез 242
Пернетти, Жак, аббат 282, 335 (61)
Перро, Жан-Клод 132, 323 (6)
Перро, Шарль 15–18, 20, 21, 26–28, 36–38, 40, 48, 58, 68, 79–82, 312 (20)
«Персидские письма» (Монтескье) 208
«Персинетта» (AT 310) 65
Перье, семейство 136
Песселье, Шарль-Этьенн 206
Пестре, аббат 179, 215–216
Пети, Антуан 206
«Петух и мышь» (AT 2032) 25
Пиданса де Меробер, Матье-Франсуа 189, 193, 212
Пирон, Алексис 188, 217
писатели 173–223; атеизм среди них 214–218; демографические характеристики 177–184; выявление как опасных 208–214; словесные портреты 192–193; описания их жизни в досье 193–195; литературный рынок 200–201; браки 201–204; поиски покровительства 196–200; общественное положение 205–208; превратности их судеб 185–186
«Письма голландского вельможи» (Ламбер) 221
«Письмо Даламберу о зрелищах» (Руссо) 267–268
«Письмо о слепых в назидание зрячим» (Дидро) 174, 214–215, 220
«Пичен-Пичо» 27–28, 70
Платтер, Томас 95
«Племянник Рамо» (Дидро) 219
Плонжерон, Бернар 301
Плутарх 265
подмастерья в типографиях 96–98; их обряды 103–108
Поливка, Георг 308–309 (3), 310 (7), 314 (48), 315 (52)
Полиньяк, Д.-М.-З.-А. Мазарини-Мансини, маркиза де 282, 284, 335 (6), 336 (62)
Польми, маркиз де 179, 222
Помпадур, мадам де 185, 189, 195–196; устные и печатные нападки на нее 211–212
Портланс, Мишель 208
пословицы и поговорки 8, 76–77; о кошках 112–113
«Потешные желания» 36, 41
Прад, Жан-Мартен де, аббат 174, 179, 215, 216
Прево, аббат 183
«Прекрасная Евлалия» (AT 313) 28, 64

Прето, Этьенн-Андре Филипп де 190
причинность, трехуровневая модель 130–131
«Прогулка скептика, или Аллеи» (Дидро) 220
пролетаризация 122
Пропп, Владимир 20, 24, 310 (7), 311 (12)
Просвещения, эпоха 82, 130, 166, 228, 233–234, 236, 243–245, 258; и крестьянство 13; и буржуазия 130; и дворянство 133; аббаты 179; «высокая» культура 165–166; интеллектуалы 173–174, 178; идеология 208, 214, 216
протестанты 110, 253–254, 258, 279; в Монпелье 146; терпимость к ним 166; протестантская этика 79
Пуллен де Сен-Фуа Ж.-Ф. 207
«Путешествие адмирала Бинка» (Фужере де Монброн) 223
Пэрри, Милман 24

Рабле, Франсуа 109, 118, 320 (26)
«Размышления о пристрастиях и склонностях» (Бернис) 195, 196
Рансон, Жан 253–261, 271, 275–281, 290–295, 332 (3, 4), 334 (53), 335 (59)
«Рапунцель» (Гримм 12) 65
Расин, Франсуа 80, 208, 291
«Рассуждение о науках и искусствах» (Руссо) 174, 242–243, 268
«революция в чтении» 290–291
«Реестр и описание города Монпелье, составленное в 1768 году» 126–127, 134, 136–137, 144–172, 190
Рей, Марк Мишель 277, 278
Рейналь, Гийом-Тома-Франсуа, аббат 179, 205, 215, 258
религия: писательские нападки на нее 214–218; *см. также* духовенство, теология *и отдельные конфессии*
ремесленники: как писатели 183–184; их идеализация историками 98; в Монпелье 149–150, 154–159, 169; *см. также* типографии
Ретиф де ла Бретонн, Никола 95, 184, 258
Риккобони, Антуан-Франсуа 194
Ричардсон, Сэмюэл 272, 284
Ришелье, герцог 194
Роббе де Бовезе 176
Роган, семейство 199
Роган, шевалье де 207
Роган-Гемене, аббат де 199
Роген, Даниэль 282, 335 (61)
Рош, Даниэль 131, 301, 323 (6, 8), 335 (60)
Руа, Пьер-Шарль 207
«Румпельштильцхен» (AT 500) 43–44
«Русалка и ястреб» (AT 316) 40
русские сказки 24
Руссло М. 288, 336 (69)
Руссо, Жан-Жак 10, 136, 174, 178, 237, 242–243, 291–294, 324 (9), 332 (1), 333–334 (32), 335 (60, 61), 336 (63, 64, 67–70), 337 (76); разрыв с энциклопедистами 8, 267–270; и простой народ 154; женитьба 204; поли-

цейские рапорты на него 178, 201, 214; популярность его произведений 281–289; о чтении 253, 264–275; отклик на его творчество Рансона 258–259, 275–281
Руссо, Пьер 204
Рюбанпре, граф де 198

«Сборник наблюдений» (Ламбер) 221
св. Мартина, день 104, 115
Селлиус, Годфруа 215
«Сельские беседы» (дю Фай) 22
Семилетняя война 49
«Семирамида» (Кребийон) 176
семья и дом: крестьянские 32–35; буржуазные 164
Седен (драматург) 164
Сен-Веран, род 168
Сен-Жакоб, Пьер 29
Сен-Жюльен, род 168
Сен-Ламбер, маркиз де 206
Сен-Севрен, граф де 210
Сен-Фалье, м-ль де 184
Сен-Флорантен, граф де 207, 210
Сен-Фуа, граф де 179
сеньориальная система 30–33
Сервантес, Мигель де (26) 258, 319
Сери, Роже де 210
Сигорнь, Пьер 205
символизм, психоаналитический 14–17
«Синяя борода» (AT 312) 15, 18, 59; немецкий вариант 58; итальянский вариант 56
«Система природы» 260
«Сказка о Парле» (AT 328) 71
«Сказка о том, кто ходил страху учиться» (Гримм 4) 56
«Сказки матушки Гусыни» (Перро) 16, 36, 79–80
сказки, народные 13–90; и устная традиция 20–26; сравнительные исследования 26–29; отражение реального опыта 36–43; английские 52–54, 59, 70; немецкие 58–64; итальянские 55–58; французская специфика 78–79; о скитаниях по свету 45–47; трикстеры 69–76; психоаналитические интерпретации 14–18; и Перро 79–81
«Слова и вещи» (Фуко) 225
смертность, высокий уровень 34–35; в том числе детская 30, 34
«Смерть-кума» (AT 332) 59–60
Смит, Чарлз Мэнби 95
Сориано, Марк 80
«Сочинитель-лакей» (Ваньон) 184
«Спящая красавица» (AT 410) 18, 22, 80
стоицизм 241
Стоун, Лоренс 302
структурализм 19, 302, 311 (12), 338 (2)
Сулас д'Алленваль Л.-Ж.-К. 185, 216
«Сумма теологии» (Фома Аквинский) 229, 241
«Сын дровосечихи» (AT 461) 46, 74

Тайлор, Эдуард 311 (10), 338 (2)
«Тайные воспоминания об истории литературной республики» (Башомон) 258
Тансен, мадам де 214

Твен, Марк 42
Тенез, Мари-Луиз 21, 26, 308 (1, 3), 310 (8), 312 (20), 314 (50, 51)
теология (богословие): отсутствие интереса у буржуа 166; отношение к ней энциклопедистов 231–232, 234–236, 241
типографии: их обряды 103–108; условия для учеников 91–93; олигархия мастеров 97; наем работников 100–101; присущий им жаргон 94, 98–100
Томас, Кит 302, 304
Томпсон, Стит 1, 20, 25, 27, 308 (1), 310 (7)
«Три дара» (AT 592) 65–66, 88–90
«Три поросенка» (AT 124) 309 (3)
«Три пряхи» (AT 501) 43, 74
«Три собаки» (AT 315) 19
Туссен, Франсуа-Венсан 174, 201, 202, 206, 214, 216, 220
Тэрнер, Виктор 318 (21), 339 (4)
Тюрбен, Франсуа 217
Тюрго, Анн Робер Жак 189
Тюренн, князь де 197
Тюрпен Ф.-А. 204

Урсель Ж.-А. 179
устное народное творчество 19–25; связь с национальным характером 59; и Перро 79–80
ученики ремесленников: на карнавале 102; условия их существования 91, 93, 96; издевательства над ними 107
«Ученик чародея» 38–39

Фавар, Шарль-Симон 184, 193–195, 198, 203, 327 (5)
Февр, Люсьен 337 (1)
Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот 208
«Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (Рейналь) 215, 258
«Философские мысли» (Дидро) 214, 220
«Философские письма» (Вольтер) 242, 244
Фиш, Стенли 331 (1)
Фок де ла Сепед, м-ль 209
Фома Аквинский 229, 240–242
Фонтанель, Абраам 136
Фонтенель, Бернар де 177, 188, 208, 214, 242
Фоше, Самюэль 258
Франклин, Бенджамин 95, 318 (21)
Франсуа, Луи 284, 285, 336 (63)
Французская революция 116, 130, 131, 186, 253
Фрейд, Зигмунд 309 (5)
Фридрих II, прусский король 216
Фромаже, Жан-Жозеф-Пьер 282, 287, 335 (61)
Фромаже, Никола 179
Фромм, Эрих 14–18
Фрэзер, Джеймс 26
Фужере де Монброн, Луи-Шарль 211, 222–223
Фуко, Мишель 225
Фюре, Франсуа 131, 323 (6), 327 (4)

Хассенпфлуг, Жаннетта 15–16
«Холодный дом» (Диккенс) 128–129
Хогарт, Уильям 109

Цедлер, Иоганн Генрих 224
«Циклопедия» (Чэмберс) 230
«Цыпленок Половинка» (AT 563) 46

«Человек, который не хотел умирать» (AT 470B) 68
«черная смерть» 30, 68
читательские клубы 135, 290
чтение 250–253, 292–294; и книги как материальные предметы 259–261; в балийских посмертных ритуалах 250–251; интенсивное и экстенсивное 290–292; методы обучения ему 261–265; Руссо о нем 265–275
«Чумазый братец черта» (AT 475) 61, 68
Чэмберс, Эфраим 228, 230–232, 245

Шарден, Жан Батист Симеон 164
шаривари 102–103, 109, 114, 115, 119, 120, 158
Шартье, Роже 301, 321 (1), 322 (5), 327 (4), 337 (1), 338 (2)
Шеврье, Франсуа-Антуан 185–186
«Шелудивый Жан» (AT 314) 28, 70, 73
Шено Дю Марсе, Сезар 217
Шмитт, Жан-Клод 338 (2), 339 (4)
Шомекс А.-Ж. 203, 204
Шоню, Пьер 300, 301, 322 (4), 337 (1), 338 (2)

Эванс-Причард Э. Э. 304
Эвре, граф д' 197
Эгрефей, Шарль д' 169, 321 (1)
Эду, Марк-Антуан 214–215
«Эмиль» (Руссо) 201, 258, 264, 275, 280
Эмри, Жозеф д' 173–223, 326 (1), 327 (6), 328 (14)
Энгельзинг, Рольф 290, 336 (71)
Эно, председатель суда 198, 206
«Энциклопедия» 207, 225–249, 269, 324 (9), 328 (13), 329 (5,6), 331 (37); участие в ее создании аббатов 179; влияние Бэкона 228–233; гонорар Дидро 201; «Предварительное рассуждение» 8, 16, 232–234, 236–241, 243–244; полицейские рапорты 174, 213–216, 219–220; «Проспект» к ней 229–232, 239; ее читатели 258; вклад Руссо 242–243; древо знания 228–231, 233–236, 240–241, 248–249; вклад Вольтера 242
эпистолярные романы 272
«Эссе об обществе ученых и великих» (Даламбер) 243–244
Эстев, Пьер 216
югославские эпосы 24

Юнг, Карл 26

«Язык зверей» (AT 670) 45
«Янки Дудль» 49
янсенисты 166, 174, 210, 271
Яусс, Ганс Роберт 331 (1)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слова признательности 5
Введение 6

1. Крестьяне рассказывают сказки:
Сокровенный смысл «Сказок матушки Гусыни» 13
2. Рабочие бунтуют:
Кошачье побоище на улице Сен-Севрен 91
3. Буржуа наводит порядок в окружающем мире:
Город как текст 126
4. Инспектор полиции разбирает свои досье:
Анатомия литературной республики 173
5. Философы подстригают древо знания:
Эпистемологическая стратегия «Энциклопедии» 224
6. Читатели Руссо откликаются:
Сотворение романтической чувствительности 250
Заключение 300

Примечания 308
История, антропология и журналистика.
Интервью с Робертом Дарнтоном 340
Указатель 366

Роберт Дарнтон

ВЕЛИКОЕ КОШАЧЬЕ ПОБОИЩЕ И ДРУГИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Редактор
И. Прохорова
Дизайнер серии
Д. Черногаев
Корректор
Л. Морозова
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.

Подписано в печать 09.08.2002. Формат 60x90$^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Печ. л. 24.
Тираж 3000 экз. Заказ № 390.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Новое литературное обозрение
Теория и история литературы, критика и библиография
Периодичность: 6 раз в год

Первый российский независимый филологический журнал, выходящий с конца 1992 года. «НЛО» ставит своей задачей максимально полное и объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, пересмотр устаревших категорий и клише отечественного литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте. В «НЛО» читатель может познакомиться с материалами по следующей проблематике:
— статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные исследования; важнейшие классические работы западных и отечественных теоретиков литературы;
— историко-литературные труды, посвященные различным аспектам литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных текстов, эпистолярия, мемуаров и т.д.);
— статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской литературной жизни, ретроспективной библиографии.
«НЛО» уделяет большое внимание информационным жанрам: обзорам и тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации новых трудов по теории и истории литературы.

Подписка по России:

«Сегодня-пресс»
(в объединенном каталоге «Почта России»):
подписной индекс 39356

«Роспечать»:
подписной индекс 47147 (на полугодие)
48947 (на весь год)